



ЮЖНОЕ СИЯНИЕ

ОДЕССКИЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ЖУРНАЛ

2(4)' 2012

Главный редактор
Станислав АЙДИНЯН

Выпускающий редактор
Сергей ГЛАВАЦКИЙ

Редколлегия:

Евгения КРАСНОЯРОВА	зав. отделом поэзии
Ольга ИЛЬНИЦКАЯ	зав. отделом прозы и драматургии
Алексей ТОРХОВ	зав. отделом критики
Алёна ЯВОРСКАЯ	зав. отделом литературоведения и краеведения
Людмила ШАРГА	отдел поэзии
Александр ЛЕОНТЬЕВ	отдел прозы и драматургии

Общественный совет:

Валерий Басыров (Симферополь), Евгения Бильченко (Киев),
Евгений Голубовский (Одесса), Владимир Гутковский (Киев),
Олег Дрямин (Одесса), Олег Зайцев (Минск), Кирилл Ковальджи (Москва),
Александр Корж (Киев), Татьяна Липтуга (Одесса),
Виктор Петров (Ростов-на-Дону), Александр Петрушкин (Кыштым),
Илья Рейдерман (Одесса), Анна Стреминская (Одесса),
Евгений Черноиваненко (Одесса).

Издание журнала осуществляется при поддержке Одесского городского совета

Свидетельство о регистрации: серия ОД № 1563-434-Р от 16.11.2011 г.
Учредитель – Общественная организация «Южнорусский Союз Писателей»

Е-mail редакции: auroga_australis@lenta.ru
Интернет-версия журнала: ursp.org

© «Южное Сияние», 2012

В НОМЕРЕ

ПОЭЗИЯ

Одесса: Алёна Щербакова. Пустыня сжимается в точку. <i>Стихи</i>	4
Одесса: Тина Арсеньева. Дульсинья. <i>Стихи</i>	8
Одесса: Марк Эпштейн. «Если эта вода повстречала камень...». <i>Стихи</i>	12
Одесса: Юлия Петрусевичюте. «Я зачерпну из Млечного Пути...». <i>Стихи</i>	15
Одесса: Анна Стреминская. Не прилетайте за нами. <i>Стихи</i>	18

ПРОЗА

Одесса: Юлия Мельник. Капризный день. <i>Рассказы</i>	22
Одесса: Евгений Деменок. Настоящая история происхождения некоторых слов, имён и названий.	31
Одесса: Леонид Якубовский. Провинциальный Дон Гуан. <i>Рассказ</i>	35
Одесса: Анна Рафаилова. Feuille Mortes. <i>Рассказ</i>	37

ПОЭЗИЯ

Киев: Дмитрий Бурого. На птичьем остроклювом языке. <i>Стихи</i>	41
Киев: Евгения Бильченко. Ветер, который умер. <i>Стихи</i>	46

ПРОЗА

Москва: Илья Криштул. Ледоруб Троцкого. <i>Рассказы</i>	51
Днепропетровск – Чикаго: Семён Каминский. Мама Пасюка. <i>Рассказ</i>	57

«МЕГАФОН»

«Поэт и Париж...» (интервью Евгения Чигрина с Юрием Кублановским).....	61
---	----

ПРОЗА

Майкоп: Кирилл Анкудинов. Резаная лапша. <i>Размышления</i>	65
Москва: Алла Рахманина. Аллея классиков. <i>Эссе</i>	72

ПОЭЗИЯ

Одесса: Евгений Мучник. «А свадьбы нет и нет...». <i>Стихи</i>	75
Одесса: Тася Алек. Дихотомия. <i>Стихи</i>	77
Одесса: Елена Росовская. Жить вечно. <i>Стихи</i>	79
Одесса: Богдана Бондарь. «В Тайланде сейчас семь ноль три...». <i>Стихи</i>	82

ПРОЗА

Одесса – Нью-Йорк: Инна Богачинская. «Одна среди сияющих листов...». <i>Эссе</i>	85
Одесса: Валерий Кузнецов. Путешествие из Москвы в Одессу. <i>Очерк</i>	88
Одесса: Алёна Яковлева. На лошадке покатайся. <i>Очерк</i>	92
Одесса: Вероника Коваль. Стено-кардия. <i>Рассказ</i>	95
Одесса: Анатолий Михайленко. Однажды в Каменце над Смотричем... Ретро-новелла	101
Одесса – Москва: Ольга Ильницкая. Когда Одесса не мама, а мачеха. <i>Эссе</i>	104

ПЕРЕВОДЫ

Федерико Гарсиа Лорка. О, полночь, зелёная полночь! (переводы с испанского Анатолия Яни).....	107
Из русской поэзии (переводы Семёна Вайнблата на язык эсперанто).....	113

«ДРУЖБА ЖУРНАЛОВ»

Одесса: Сергей Главацкий. От редакции	121
Ростов-на-Дону: Виктор Петров. Заветный тихий дон. Вступительное слово	122
Воронеж: Александр Нестругин. Крутояр. Стихи	123
Москва: Марина Струкова. Засечная черта. Стихи	126
Ростов-на-Дону: Геннадий Колесов. Прощальные звоны. Казачьи рассказы	128
Ростов-на-Дону: Виктор Петров. Крест-накрест. Стихи	134
Ростов-на-Дону: Валерия Салтанова. За створками боли. Стихи	137
Харьков: Мария Парфёнова. Ростя. Рассказ	140
Волгодонск: Анна Ковалёва. На Святой Земле. Стихи	147
Минск: Анатолий Аврутин. Белые ангелы в чёрной ночи. Стихи	151
Москва: Рой Медведев. Роман «Тихий Дон»: взгляд по-новому. Статья	154
Токио: Александр Хрулёв. Врата Басё. Эссе	162

«ФОНОГРАФ»

Одесса: Вениамин Бабаджан. «Сидишь и куришь натошак...» Стихи (вступительная статья Алёны Яворской).....	172
Одесса: Генрих Грохольский. Ломаной линией. Стихи	177

«ЛИТМУЗЕЙ»

Евгения Самойлова. «Только детские книги читать...». Очерк	181
Классики литературы – об Одессе (Иван Долгорукий, Марк Твен, Пётр Пильский, Илья Ильф, Аркадий Аверченко, Семён Гехт, Зинаида Шишова, Владимир Жаботинский).....	182

«ОКОЁМ»

Николаев: Алексей Торхов. Слово о ста словах (о международном литературном конкурсе короткой прозы «Стословие»).....	191
Победители конкурса. Стословия	192

«ШКАФ»

Одесса: Евгений Голубовский. «Много званных, но мало избранных...» (о книге Ефима Зозули «Избранное»).....	198
Киев: Владимир Гутковский. «Вечный ворон кружит, слишком вещая птица...» (рецензия на книгу Василя Шкляра «Чёрный ворон»).....	201

«ВЕСТИ С ПОЛЕЙ»

Одесские литературные новости.....	203
------------------------------------	-----

АЛЁНА ЩЕРБАКОВА

ПУСТЫНЯ СЖИМАЕТСЯ В ТОЧКУ

Я была здесь, мастер, когда вы обронули сон,
Без перчаток и чая перед выходом, Пикассо
По Вашей щеке стекал, но число часов
Никогда не совпадало со временем всех молчаний.

Я ходила без платьев, когда тротуар за окном пылил
За беспамятством обезглавленных ртов Дали,
С сотней лиц, сквозь помосты размолотых веком линз,
От себя собой отличаясь.

Я вдыхала дым – выдыхала огонь из рук,
За арканы Таро, синхронные створы рун
Исчезала, но возвращалась уже к утру,
Как всегда совпадая с внутривенной Вашей тоской.

Я любила здесь, мастер, когда Вы отстегнули ворот
Ледяной пощады необратимых войн,
За какие, как утверждали Ваш Волк и Ворон,
Ни один эшафот не поручится головой.

Одень меня наспех в тень твоего тела
И палец к губам плотнее,
Что может быть ненадёжней, чем молчание тех, кто
Самим себе не казался, не снился, не...

Оберни меня в дрожь памяти о твоём дыхании,
С такой походкой гулок женский мой позвоночник
Тела, сбивчиво гнушегося на канжи
Под утро – татуировка на каждой фаланге ночи.

ЖАЖДА

Большие камни теней как ворота в город,
Где был сокрушён Голиаф, где закат раствором
Загустевает, течёт в разверстое горло
Гор и колодцев, на миражи расколотых.
Здесь выживает засуха или сырость,
Жажда сменяет жажду –
То некрасиво, то великолепно,
Кругами ходит бессильно.
Камни теней встают на дыбы, но осыплются,
Крепости валки – если тебя касаюсь.



Лунный кадык входит в облака ворот по самый
Глоток – и тростник выгибается, как Виравия
При виде Давида. Дождём осыпается сад,
Пустыня сжимается в точку и – падает в море.

ВСЕ ПИСЬМА ОБ ИНДИИ

Все письма об Индии, если когда-то окончится этот блюз,
И с неба бронзовый пепел будет идти вместо снега,
Я стану считать с проступившим следом
На спящем камне,
Где под трепещущим лоскутом облака – лепестка
Пёстрое развешивают бельё
Жители хрустких хижин,
И колокольчик в пальцах дороги льёт:
«Ом намах шивайа»...
И вихри песка всё ближе
Вслед танцующей силе Шакти – ветер взмывает.

Я буду прочитывать неторопливо,
Как заваривают кофейные зерна, перебирая косточки ритмов,
Как рыбаки у моря берут своё, взамен оставляя лиловый
Шелест ветровок,
Где женщины над маисовым озером подолы несут – паруса.
В краю, где возможно копить только цвета, не прикасаясь,
Но вращая в равновесную полосу горизонта,
Я научусь пересыпать песок сквозь соль и муссон,
Где клёкот сов басовит и вращающиеся их головы
На толстых листьях – овалы идолки, комья,
Насажённые на струну бамбука, аукают,
Когда в сон больших глиняных голов дуют звери и духи.

Я буду идти за водой – с той стороны воды,
Раскачиваясь в лёгкой пиале лагуны,
Между снегом и снегом, как берегут,
Растворяя дыхание, губы
Горизонта, запоминать, как ведут по ним сонные
Кисти тумана,
Все вести об Индии, все ароматы магий –
До тонкосводной, до хрупкой кожи письма.

НА КИНБУРНСКОЙ ПОЛОСЕ

Приподнимаясь на руках Очакова,
В глаза смотрела – морю,
Там заручаться волчьим, как причастьем,
Мог крик,
Взяв невесомость, медленный крен амфоры –
Есть потрясенье,
Но в шлемах лодок откуп спящих армий,
И свет рассеян.

Тогда и мягкий натиск равновесье
Затронуть в силах.
И то, что представлялось здесь уместней,
Чем объяснимей,
Скорее невозможно обещать –
Дорогой лучше
От всех моторов отвязать рычание,
Чтоб не прослушать.



Ничего кроме песен ты не возьмёшь с собой,
 Оттого, что всё остальное отпустишь раньше.
 Ледяная вода собой заменяет свод,
 Снег твердеет за кадром тающей мостовой,
 Хоть благословен его собиравший.
 Даже если сложить слова, остаётся – три...
 Птичий табор стянул горизонт, но не держит тверди.
 Невозможна ошибка: опыт неповторим.
 В сердце каждой империи свёрнут рим,
 И на ножнах каждого воина – «помни о смерти»,
 Но и это, как видно, проходит, поскольку сам
 Не узнал бы себя ни разу, сколько б ни медлил,
 Но подходит третье, развязывает глаза...
 Потому и встречать восход на краю колеса,
 Никого кроме этих холмов позвать не умея.

СОЛО ДЛЯ ВЕТРА И ХОЛМОВ

Пограничного солнца встречать ледник,
 Радость гибнуть пред собственным возрождением.
 Из путей, существующих не отдельно
 Или врозь – всё одно в расстоянье вник.

Вовлекаешь вполне неразменный титр
 В окоём – маяков соляных вещанье,
 И любить иных – как уметь прощаться
 Даже в самой нежной из аргентин

Амнезия времени на просвет –
 Образ местности навзничь пересечённой.
 Зуммер башен, знающий всё, о чём мы,
 До взаимных снов тишиной задет

Как шедевр, на котором твой ритм запал,
 Где одно отсутствие только вправе
 Перебрать шагов твоих послепад
 Вместо правд просроченных фотографий.

И кому усталость свою.., шутя
 Обращая в театр, чтоб не откололась.
 После всех разлук остаётся голос
 У тебя, и наверное всё.
 Хотя...

АЛЁННАЯ ВЕСНА

Холодно и горячо, и не время бесед.
 Я ещё здесь, познающая вкус «насовсем».
 Ход раздвигаемых голосом стен знает впредь –
 Даже пространство способно тебя захотеть.
 Впору срывать все пейзажи, покровы с миров,
 Ни целомудрия не возвращавший, ни слов
 Арфам и торсам в прохладной лавровой лени,
 Ставя пытливость на цыпочки и колени,
 Высадить известь отсутствий из басмы потерь.
 Только большие дары изошрённой смертей.
 Так интригует Солярис – нет яви и сна.
 Между двух наших свобод верно дышит волна,
 И продолжаешь чувствовать в себе волю –
 Всё это не отменяло боли,
 Не отменяет более.

ARISTOS¹

Напиши, напиши письмо мне на гладком камне,
Здесь из всех языков можно верить в один – наскальный,
Потому что чернил не отличить от крови,
Опасаясь не сломаться на вводном слове,
Я играю в игру, не зная её условий.
Потому-то всегда пуста предпоследняя руна,
Ты нашёл вопросы, ты продолжаешь игру, но
Всё уже существует, и верным или неверным
Не бывает выбор, хоть может свести с ответом.
У ходов превосходный срез запасных отверстий.
Здесь непрочные рамы, опять отвлеклась на неважном,
А в окно затекает Нил и за ним Нева.
Как закроешь книгу – сон тебя открывает
С предпоследней страницы, и продолжается жажда.

Знаешь, не представлять можно двумя путями:
Либо не знать, либо знать нечто слишком явно,
Оба – провальные методы, с Севера тянет
Свежей прохладой, а там на крови – Спас.
И понимаешь уже – всё всегда иное.
Мы подошли вплотную – над амфитеатром
Звук замолкал, чтоб сойтись в предпоследней ноте.
Здесь в развалинах звёзд, как в декартовых величинах,
Над стадами камней и кипрея, одетых в числа
И триумф отражений, что рай или ад сволок,
Где ремни равнин прочернили строкой отсутствий,
И морочащих дней замес, как в неубранную посуду,
Сходит в снежные глыбы, в лог алавастровых их голов,
Это – бал в лабиринте, где каждый – и нить, и карта,
Где ответственность кожи на зыбкое пиццикато
Начинается узнаванием – наугад,
А под кожей уже золотая идёт река.

¹ *aristos* (лат.) – наилучший в данный момент

ТИНА АРСЕНЬЕВА

ДУЛЬСИНЕЯ

Как-бы-поток-сознания между...

1.

Вспомнишь в липкости млечной незрелые смоквы,
Зимний сплин обезболишь дисплексивой сплетней...
Что ни море, на пляже такая же мокредь
И хватило бы на зиму выручки летней.

Но инжир не усох, и река не иссякла,
Окружная меж сосенок жмёт на педали,
А в людском обиходе случается всяко,
И везде благодать, где меня не видали.

Вот возьму и, неважно с какого помина,
Нарисуюсь в дверях полуночной невежей,
Брошу мокрый чулок в безделушки камина
И глинтвейна дождусь на подстилке медвежьей,

А с рассветом, уйдя по ручьёвому ложу,
Распишусь бахромою подаренной шали
В том, что даже и памяти впредь не встревожу:
Опыт – грош на помин, да и стоит гроша ли.

Эх, куда повело. Примощусь на диване,
В складках пледа по-дружески кот заскучает.
Напуская туману из всех Трансильваний,
Над огнем синепёрым забуйствует чайник.

Сколь ни плющит бесснежную нашу марину
Эта морось, глядишь, да и выйдет проруха,
Что придушенный ангел прокусит перину
И затем отплюётся липучками пуха.

Утром будут белеть снеговые остатки
На опрелостях осени детской присыпкой,
И покажутся благом домашние тапки,
А гнетущие зимы – гуманною ссылкой

С попушением, благословясь в непогоду
То ли манной небесной, то ль снежной крупую,
Свысока поглядеть на смятенную воду,
Нерушимую твердь попирая стопою.

Есть налог на свободу, и он – отлученье;
Есть закон тяготенья, зовётся – разлука;
И мечта – и покрова её совлечение;
И, по слову: «стучите», – входящий без стука:



Что ни в хор, то не в лад, что ни в строй – без ранжира;
 Что ни дай, то не впрок, – вожделеет иное;
 Что ни сев, то и взлом: словно семя инжира
 Ломит скрепу веков, обогрето стеною.

Неуёмность смоковниц на камушке голом,
 Беспардонные отпрыски в буйстве дочернем:
 Да потрафь вам случайный прожорливый голубь,
 Запустили бы щупальца в храмовый череп.

Как вы там без меня на реке тридевятой?
 В этот примерк, где я – как на Севере диком,
 Ваш несбыточный город, и крепкий, и святой,
 Входит – мёртвого рыцаря мраморным ликом:

Увлекаема мига лукавой обраткой
 В петушинный сигнал на опасном рассвете,
 Стылой матрицы лба я касалась украдкой,
 Отогнав помышленье о скверной примете.

Спи, надгробие. Смерть за поэта ходатай.
 Спи, латники, соизволением калики.
 Где я прежде жила? И жила ли когда-то
 Анаграмма моя на твоём сердолике?

Но уже и морозец, присвистнув моряной,
 Хрустнув гирлом, затеял в картофеле рыться.
 А у кирхи в кафе прямо гофманский, пряный,
 Для сугреву глинтвейн, это к сведенью, рыцарь.

Да хранит нам тепло этот блочный домина,
 Хоть земля костеней, хоть сугробами вспухни.
 Зимний вечер. Пахучие зерна comino.
 Как я, вечная странница, счастлива в кухне.

Кто я – патиной крытых словес накопитель,
 Всё затем, что неймётся мне в собственной коже.
 Глянь в окошко: к Луне подкатился Юпитер, –
 Где-то там, над зубчатую башнею, тоже...

Здесь ли, там, – кто умён, заправляет торгами,
 Только я над уловом моим без почина:
 Как всегда, оттого, что раздор с берегами
 У реки, но эпоха тому не причина.

Зимний вечер, пастушка. Пряди свою нитку.
 И компьютер жужжит, словно те веретёна.
 Если вдруг невзначай на пороге возникну,
 Это будет двойник, да к тому же сластёна.

Ибо ссыльной душе в человеческом тесте
 Не сидеть без потачки её маскараду,
 И размах моих крыл – в отстраняющем жесте,
 Что во имя любви учреждает преграду.

2.

В той земле чернобривцы горячие, дикие мальвы
 На откосе, а степь взгромоздила бесплодные гряды.
 Мы в бесплодном порыве к инакому, в общем, нормальны,
 Если нам по природе не свойственно вжиться в обряды.



Старики же твердят, что, сбываясь, предстанет инако
 Всё, что, ум горяча, безоглядно душа вождедела,
 Испарится кипучая страсть, и отложится накипь, —
 Впрочем, бренный сосуд, я о том никогда не жалела.

Глаз ли клал на чужие край славянин бесшабашный
 Или нечто с прибором, с раздолий своих и покутий, —
 Пробрало костяную слоновость надышанной башни
 Мировым сквозняком возбранённых ему перепутий.

Ни имения, ни имени: семя в чужом огороде, —
 Принесёт ли сам-сто, светлы очи потушь и не зарься.
 Голод — божеский пёс и, как псовой пристало породе,
 В гурт вгоняет овцу, гонит взапуски волка и зайца.

Здесь и там, и доселе и присно — и жарко, и росно,
 А в солёной начальной росе мои радуги пляшут,
 И бросают горбатый мосток колоколенке рослой,
 И витражную святость наводят на плоские пляжи.

Я в пастушеской финке¹ лохматые гладила морды,
 Сыр вином запивала, вникала в значенье сигнала
 И следила в пыли большака легионы и орды,
 Отсебятиной века зайдя в полосу маргинала.

Всем пределам чужак, собираю дорожную сумку:
 Что сокровищем сердце сочтёт, то и будет родное, —
 И несую по земле мою жизнь, как чужую придумку,
 На дорожной пыли оставляя тавро именное.

Где те дворики в бархатцах, где те откосы в бурьяне?
 Хошь — на Склон Королевы? А хочешь — со Склона Собаки?..
 Кто я? Чадо земли, что её разменяли по пьяни.
 Что там? Гиблого места звезда — упреждающий бакен.

Ох, не верь: всё — душа-медонос, ядовитое жало!
 Мне же — хлеба насущный ломоть да тепла комнатушку.
 В иберийском ли бархатце мечется отсвет пожара —
 То на скифских равнинах тоска обуяла пастушку.

¹ finca (исп.) — имение

3.

Жмурки солнца, пепельную змять, остовы дерев
 Изъясни впопад, но не витийствуй, перехожий бард:
 Без того, карминными глазами юно озверев,
 Из охапок иглицы понтийской колко фыркнул март.

Наверху ворочается ветер в смятых облаках, —
 Погоди, всплыву, лишь только скину жёрнов меховой:
 Вознесусь беспамятной криветкой в пенных пузырьках,
 Отрешусь, как беззащитных скиний спящий часовой.

Что колом несвежая сорочка — пыльная весна:
 Обряжаясь, иволгою всхлипнул сонный палисад,
 Но уже любая оболочка сделалась тесна,
 И трава расталкивает плиты, впору и впросак.

Урываи из рыбьих трепыханий парусный лоскут,
 Посолонь солёною тоскою песне попусти
 Пльть в посад, где отгулы дыханий медью потекут,
 Где почуешь камень под рукою — плотью на кости.



Где клинок притих в атласе ночи, ангел под стрехой,
Ведьма – в дымоходе, изваянье – в нише, ключ – в замке,
Знаешь, там, по Склону Одиночеств, к Площади Сухой,
Ходит Некто, просит подаянья, с дыркою в руке.

Может быть, отсыплют горстку зёрен с многотрудных жатв
И нальют в подставленные горсти влаги ключевой;
Но ладоням, напролет пронзённым, – что им удержать?
Канет семя, звякнув, словно гвоздик, в щёлку мостовой...

Некто, вскользь по галечному руслу уличных теснин,
Расточится в мозаичной кладке стародавних стен.
Вслед Ему, невытравимо русской горечью равнин
Мой гранат подпитывая сладкий, я отброшу тень.

Я выросла дичком огненноцветным в каменный разлом,
Иволги заплачкой восковые теплятся уста;
Вызревая зёрнышком несметным под её крылом,
Прозреваю, может быть, впервые, как печаль проста.

Так, меж двух Иберий разнородных внатуг натянув
Общий кров, живу, и мне незнамо, где моё крыльцо;
И танцует на раздольях ровных, лёгкая, как ноль,
Шар-трава, пустот моих динамо, Сирина яйцо.

Так меж двух Галиций, волчьим воем оплывая в дол,
Напрягает корду притяженья пленная луна;
Маков цвет, к светёлке приневолен, так в отрясе гол, –
Лишь во рву забытого сраженья жизнь его красна.

Так и сад мой в ливень громогласный пеною удил
Отлетает, оперев на сошки черен привитой.
Кто меня, свой вымысел атласный, в пестрядь нарядил,
Я прочту на бронзовой ладошке Авильской святой.

У меня тут в глины запрессован парусный залив
Так, чтоб сберегать у баяниста в выгертом чехле;
Слышишь – свищет иволга спросонок в скрытности олив
Там, где рвёт фонарные мониста город на скале.

И когда фантазия постится, взяв на поводок
Всё, что в праздном сердце горевало, шло рапою вежд, –
В колких бусах иглицы понтийской дышит холодок
Из ненасытного провала сбывшихся надежд.

МАРК ЭПШТЕЙН

«ЕСЛИ ЭТА ВОДА ПОВСТРЕЧАЛА КАМЕНЬ...»

Никого не слышать наверху,
и задумалась на полуфразе,
на стене написав who is who
выпускница училища связи.

Жил легко накануне войны
или нет – вечерок одинаков:
в зююю пьян, царь прилёт у стены,
украшением огненных знаков.

Утром встанет и выпьет кефир.
До изжоги и до перегара
вижу то, чем закончится пир
для овцы на пиру Валтасара.

С неба зимнего сыплет крупа
и шагренью уменьшилась жалость.
У оврага редееет толпа,
вот уже никого не осталось...

Не слишком толст, но грация слоновья,
Конфет или пирожных не проси –
так шелестела папина болонья
и било током мамино джерси.

Был вечер накануне Первомая,
я сказку дочитал до девяти.
В ней, ножками тряпичными болтая,
на пузырях летела кукла злая
и воробьёв дразнила по пути,

как будто в небесах искала пару,
но все, вокруг парившие, – не те.
И сам я зря присматривался к шару,
Как средству раствориться в высоте.

Как ни худей, он не поднимет груза...

.....
А из окон нахальничал Кобзон...
Украсть бы флаг Советского Союза
и поутру с ним выйти на балкон!



Ему хорошо вне закона,
С ним звёзды – Стрелец, Волопас,
И с грустью глядит Персефона
На этот орфический пляс,

когда, присосавшийся к фляжке,
он кроет в пути всех подряд
и правит собачьей упряжкой,
бескрайнему Северу рад.

В фабричную слякоть и копоть
уйдёт, наступая в говно,
и важные вести прохлопать
такому ему не дано.

Он вечером встретит знакомых,
расскажет какой анекдот...
Что эльф, записавшийся в гномы,
он жизнь непростую ведёт.

Всегда его Иры и Ленки
готовы на лица упасть,
когда, отвернувшись от стенки,
он ссыт на проезжую часть.

Упавший с небесного воза,
по лестнице вверх – вертиго...
Зачем слюдяные стрекозы
летать научили его?

Вокруг человеки простые –
карась, краснопёрка, осётр,
где сети закинул пустые
сердито вытаскивать Пётр.

Sic transit земное, и славно,
что лапы висят на гвозде:
кто в небе парил или плавал,
не станет ходить по воде.

Зачем же в квартире убогой
он был в ночь на среду зачат?
Не помнят Пафосские боги.
Кто спросит о нём – промолчат...

КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Чёрной ночью январской такая тишь –
Мышь не пискнет за шкафом, не скрипнет рама...
Засыпай, улыбайся во сне, малыш,
твой отец богат и красива мама.

По сезону твой ангел в пальто, в кашне,
на любое «зачем?» отвечает кашлем...
Засыпай, улыбайся, малыш во сне –
ничего не случится с тобой, вчерашним.

Будет август, когда задохнуться страх
наступает. И слышно порой с балкона,
как трещит растянутый на свечах
тополей потушенных – флаг Ниппона.



Но, худой, как гайдаровский Кибальчиш –
в горле – крупный песок, на губах – изве́стка –
ты над крышами так высоко летишь,
словно в крылья Дедал не добавил воска.

А когда будет ночь, полетишь туда,
на балконе два раза взмахнув руками,
где, взрываясь, искрит голубым вода,
если эта вода повстречала камень.

Хлеб, отпущенный по воде,
вымок. Город – собачьей будкой.
Полно, Ржевский, трясти [...] и орать перелётной уткой.
Без тебя здесь небытия
хватит всем. Это очень плохо.
Возвратись на круги своя,
это что там у вас, Солоха,
скажешь. Сядешь лечить катар –
легче дышится,
мало-мальски
над картошкой клубится пар,
запотела бутылка кастильской.
В мае вылезешь на карниз
говорить, как Иван Предгеча.
Всюду белой сирени рис
и лиловой сирени греча.
Да гляди, не сорвись на крик,
ты ведь наш – так останься с нами...
Я пошёл, говорит мужик,
поднимаясь над гаражами.

ЮЛИЯ ПЕТРУСЕВИЧЮТЕ

«Я ЗАЧЕРПНУ ИЗ МЛЕЧНОГО ПУТИ...»

Мы смотрели в холодную тёмную воду колодца,
А оттуда таращился кто-то, безмолвный и скользкий,
На осколки дробясь влажным плеском о мокрые доски,
Тихо ахало эхо, свиваясь в змеинные кольца.

Там в колодце, на дне, в глубине, среди рыб и созвездий,
Обитала вода, её тёмные звуки и песни,
Сгусток памяти, яркий и неуловимый до рези,
Был – как отблеск луны на железе мелькающих лезвий.

Мимо окон высотки мы падали над городами
В волчью ночь, в ледяной океан, в лабиринты Эреба
И никак не могли долететь до поверхности неба,
Чтоб коснуться зеркальной воды неживыми губами.

Помнишь: закат отражался в разбитых окнах,
Пахло горелыми листьями и железом,
Мёртвый крыжовник у края небо порезал
И подтекало красным на серый порох?

Грелся, как чёрная ласточка на ладони.
Пропуск в один конец с запасной обоймой.
Было паршиво видно и очень больно,
И никак не верилось, что вот уже сегодня.

Выпусти ласточку, милый, в голову веку:
Время больших перелётов, чистого поля,
В синей воде колосья глаза кололи,
В тесном колодце лодка плыла за реку.

А этот был полон до самого горла, до глаз
Осенней ночной немотой, беспросветной, беззвёздной,
Бесслёзной со вкусом железа, колючей и острой,
Царапнувшей где-то внутри, когда голос угас.

Мы падали в тёмный колодец, во влажную жуть
И глохли, глотнув ледяного безмолвия снега
До самого неба, до дна, вместо сна и ночлега
До мёртвого крика царапали пальцами грудь.



I

Заворожённый плясками стихий
 Я заблудился в полдень в дымном поле.
 Горели травы. Пыль и пепел в горле,
 И в небе чиркали стрижиные штрихи.

Шифрованные строчки, тушь, перо,
 Стрижиного крыла летящий почерк,
 Пророчество, где вместо даты – прочерк,
 И в месте действия – зияющий зеро.

Разорванного неба серый клочок
 Свисал прозрачной сетью над полями,
 И ветер дул на угли в мокрой яме,
 И я из сети рыбой выбраться не мог.

II

В моей ладони – властный блеск планет,
 Лучей скрещённых режущие грани,
 Как ножницы, кроящие по ткани,
 Я время раскрою гирляндой лет.

Балет светил. В небесных зеркалах
 Лик века отражён и неприкрашен
 И небо, опрокинутое чашей,
 Заплещется в протянутых горстях.

Я зачерпну из Млечного Пути
 Холодной вечности, и звёздам брызну в лица –
 Не серебром из лунного копытца,
 А молоком из собственной груди.

XIV

И мудрый архитектор, хитрый фраер
 Не знает, как изменится рельеф
 Земной коры, неторопливый гнев
 В щебёнку обратит элитный мрамор

И башня рухнет. Вычурный нарост,
 Взбесившаяся яма наизнанку,
 Надёжная, как безопасность банка,
 Провалится в свой собственный навоз.

И тот, кто думал дать щелчка луне,
 И время взять за бороду, разбился
 О камни вечности, и воды Стикса
 Над куполом сомкнулись в тишине.

Но никто никуда не уйдёт. Это – сладкая ложь
 О свободе от самой свободы. Дороги закрыты,
 Закольцованы, скручены, заплетены в лабиринты,
 И над ними сучит бесконечную ниточку дождь.



Мы застѣгнуты в городе, в доме, в одежде, в себе,
В паутине, во времени и в виртуальном пространстве.
Ни малейшего шанса сбежать или спрятаться. Разве
Пробивать головой ежедневно дыру в скорлупе...

Там – снаружи – светила на тонких цепочках орбит,
Шестерёнки созвездий, пружины галактик. На взводе
Часовой механизм, и торжественно маятник ходит
Между рёбрами слева, и эхо по венам гудит.

Оторопь серой воды в эти серые дни
Дрожи озябших ладоней и листьев сродни.
В шаре хрустальном дерева стоят не дыша,
Ветра не видно, и капает время с ножа.
Капля за каплей стекает в прибрежный песок.
Что-то меняется исподтишка между строк.
Что-то растёт изнутри, шевелится в земле,
И содрогается мир, отражённый в стекле.
Так поднимается кит из подводных глубин,
Так неуклюжий и страшный растёт цепелин,
Так вырастает из впадины горный хребет,
Так с корабля видят новый невиданный свет.
С дрожью и ужасом, и упоением глядят,
Жизнь иступлённо влагая в единственный взгляд,
Жадно глядят и не слышат свой собственный крик,
Как из-под тёмной воды восстаёт материк.
Шар замедляет на краткие доли разбег.
Мир изменяется. Это рождается век.

Пахнет землёй, разрытой, влажной, несътой.
Мокрых полей окраина, неведомая страна.
Кто-то бродил под дождём у самого дна.
Чьи-то следы ещё различимы, хоть и размыты.

Гул голосов, оглохшая кровь рвёт травы.
Видит осеннее небо, я этого не хотел.
Поле летит в облака, у истлевших тел –
С жертвами октября неприветливые забавы.

Тёмной жертвенной кровью меня напоили,
Я захлебнулся ужасом, криком, водой солёной,
Горлом память пошла, потекла со стоном
По остывшим губам, и слова на ветру остыли.

Сумерки времени. Кромка померкшего века.
Умер великий в руинах забытого храма.
Кровотечение реки – открывается рана,
Гнойный нарыв под обрывками липкого снега.

Ткань разрывается с треском, в рогоже прореха,
Лопнул трухлявый мешок, унесло за три леса.
Встретимся завтра, ты знаешь условное место –
Два поворота на счастье до первого эха.

АННА СТРЕМИНСКАЯ

НЕ ПРИЛЕТАЙТЕ ЗА НАМИ

Синий трамвай, и глаза его грустны не в меру...
Осень бодря и подтянута по-офицерски –
дым от костров, как дымок сигарет кавалера
в форме. Разыграны старые, глупые пьески.
Все о любви, но сюжеты избиты и вялы,
ну а подмостками – улицы, бары, квартиры.
Всё безнадежно, и кружится лист ярко-алый –
то алый парус – смешной в этом сумрачном мире.
Всё слишком проза, мой друг, – так наверно и надо,
нет ничего – только дождь и облезлые стены.
Уши свои наострили дома и к вселенной
тайно прислушались: будет за веру награда!
Ветер подует, и ливнем стихи вдруг польются
на опустевшие улицы, площадь, аптеку.
Только дома и поэты, их слыша, смеются!
Только дома и поэты, и так век от века!
Я только стебель, лишь стебель, от ветра дрожащий.
Провод, гудящий меж небом и хмурой землёю.
Мне на ладони стихи прилетают всё чаще:
ливнем, листвою, небесною тёплой золою!

Не прилетайте за нами,
не зовите в иные сферы!
Мы там нужны, как цунами,
или как над Парижем фанера.

Вот мокрый снег, и грязь,
И Манька на остановке.
Она там живёт, смеясь,
А вокруг селёдочные головки.

У неё там постель на скамейке,
Она там поёт и пьёт, иногда она плачет.
К ней приходят гости – одна всё ж семейка!
А вам кажется – всё могло быть иначе?

Не прилетайте за нами! У наших домов
Слепые глаза и глухие уши.
Не зовите нас! У наших умов
Есть Верка Сердючка – не тронуть вам наши души!

У нас альтфатеры, полные ёлок –
Новый год уже отгуляли.
У нас есть бары, полные тёлок,
И вам нас соблазнить едва ли.



У нас на углу наливают:
И Вовчик стоит, и Коля – друг друга
мы уважаем!
И чем плоха наша жизнь такая –
Совершенно не понимаем.

И в общем, не нужно нам этих бед!
Народ мы простой, но ловкий.
Но что там, испуская нездешний свет,
Зависло над остановкой?!

*Чтобы создать скульптуру, нужно взять кусок мрамора
и отсечь от него всё лишнее...*

Микеланджело Буонаротти

И резче проступают все черты
со временем, ваятеля работа
привычна для него. Горят мосты
меж будущим и прошлым с неохотой.
Мы те же, но другие. Суть видней
с годами: наши лица – это судьбы.
Меняются узоры прежних дней:
в калейдоскопе Бога – краски буден.
Отсечено всё лишнее резцом,
что мастера зажат рукой – то время
нас создаёт в согласьи с образцом,
придуманым не нами и не теми,
кто правит миром. Хроноса рука
уверена, точна и беспристрастна,
но как волна – могуча и легка,
свободна, трепетна, в себе не властна!

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Я родилась в день Весеннего равноденствия,
Когда всё равно,
Равновелико,
Уравновешенно.
В этот день бывает солнце и ветер,
Бывает дождь и серое небо.
В этот день телефон звонит не переставая,
И это меня радует.
В этот день придумали чудный праздник –
Всемирный день поэзии.
Я до сих пор думаю: это знак судьбы
Ещё это день Навруза,
Начала сезона роста и процветания,
То есть первый день иранского календаря.
По-персидски день Ормазд, месяца Фарвардин.
Также двадцать первое марта – это Всемирный день сна.
Не зря я чувствую, что живу как во сне,
И всё кругом – сновиденье.
Ещё это день актера – кукловода.
Возможно, я тоже кукла, которую водит
Мне не известный актёр.
Я с ним незнакома, но всей кожей его ощущаю.
И, наконец, совсем недавно узнала,
Что это День человека с синдромом Дауна.
Наверное, такие люди – немного поэты,
И все поэты – немного с этим синдромом.



Да здравствует содружество поэтов и даунов!
 Поэтов и сновидений!
 Поэтов и кукловодов!
 Поэтов и весеннего равноденствия!

Когда пространство ограничено судьбою,
 то это не случайно — значит, вещи
 хотят вниманья нашего, обои
 предстанут картой мира в сетке трещин.
 Трубочка хмельной по улице моей
 бредёт, шатаясь, с похорон, играя
 песню Утёсова; лицо его красней
 заката над домами, яблок рая.
 И вот невольный он соавтор мой;
 в судьбе моей всё чаще так и будет.
 Едино всё. И мыслей пёстрый рой,
 и вспышки образов беру из царства буден.
 Я в рабстве у событий и вещей
 больна стихами, что приходят градом.
 Терпи, Агарь, — изгнание тяжелей;
 терпи, Иов, болезнь — тебе награда.

ПИСЬМО

Пишу из Кракова, живу на Францисканской,
 флажками праздника листва повисла
 или несётся в быстром польском танце,
 а я гуляю каждый день вдоль Вислы,
 зелёной, серебристой и холодной,
 глотающей облатку солнца тихо,
 вино тумана пьющей... Ветер. Лодки.
 Театр — осень... Где здесь вход, где выход?
 А пани Бомбелевска поит чаем,
 глядит на музыкальную открытку
 от сына, Бомбелевска всё скучает
 и рада госте: «Жить одной — вот пытка...»
 Бормочет пани: «Матка, Матка Боска...»
 Мария со стены на нас взирает...
 Ты за меня совсем не беспокойся,
 здесь тихо, здесь любая боль стихает.
 Ну что ещё? Стоит все так же Вавель,
 сон королей храня достойно, строго
 в костёлах мессы утром славят Бога,
 ко мне влетает пеньё из-за ставен.
 Дух католичества так холоден, и ближе
 к народу церковь, проще все, эстрадной,
 да вот орган приподнимает над ней
 всё выше... там уж запредельность дышит.
 А человеческой любви большой дыханье
 покажется и сбивчивым, и слабым,
 и можно дальше жить...

ПАВЛИН

В польской деревне павлин сидит на оградке
 влажного сада. Сидит, распускает перья —
 дервиш в чужом наряде из сказок Шехерезады,
 князь из покрытого глиной курганов и лет поверья...



Как по стене крепостной, по ограде из камня ходит
в вечной своей, беспробудной своей идее.
И какой-нибудь Лешек, холопа княжьего вроде,
кормит его зерном, как пузатых кур и индеек.

Это всё моя жизнь – дороги, дожди, уклады,
нарушение их и синь бытия спросонок...
Глядь – и павлин на ограде майского сада.
«Польский польвин», – как сказал знакомый ребёнок.

Ехать к тебе, в твой морозный Краков,
купить билет и сесть на варшавский поезд.
Пива купить, быть свободной от всяких страхов
и сохранить лишь любви беспокойный поиск.

Не позвонить тебе и не сказать, что еду
снегом на голову в твой заснеженный город,
как в ледяной океан мне нырнуть с разбегу,
вовсе не зная как выплыть, – бездонен холод.

Ехать в купе с поляком, чьё имя – Ежи.
(Читал Галчинского мне по-польски, а я – переводы
ему). А пейзаж за окном донельзя заснежен.
Ну а у нас беседа и пиво от непогоды.

В поезде свет потушили, и только лишь тьма и лик
снега. И каждый один в утробе ночной вагона.
Но вот «Пани, Краков!», – мне кричит проводник.
И словно выстрел в глаза жёлтый свет перрона!

Танцовщице Кароле фон Херлер

Как много танца в этом мире шалом!
Танцует всё: деревья, дождь и ветер,
и листья опалённые, в опале,
танцуют осенью, как уличные дети.

Танцуют все торговки на базаре,
в такт холоду чечётку отбивая.
И рыбу на весы они бросают,
капусту достают из бочкотары.

И это тоже пляска серых будней,
чей смысл в заботе о насущном хлебе.
А дворник двор метёт, сопя простудно.
и море дышит в такт ему, и небо.

Как весел танец пламени на спичке!
Как яростен пожара танец древний!
Всё движется на свете по привычке.
Движение – язык наш ежедневный.

А танец – это слово без излишеств.
Танцовщица, чтоб быть всегда собою,
безудержно свою поэму пишет
всем телом, всей душою, всей судьбою!

ЮЛИЯ МЕЛЬНИК

КАПРИЗНЫЙ ДЕНЬ рассказы

ХУЛИГАНКА НЮРОЧКА

Утром Нюрочка проснулась ни свет ни заря и мир показался ей удивительным и таинственным. На стенах ещё лежали голубые ночные тени, похожие на крылья спящих мотыльков, а в окне качалась голая ветка ореха.

«Никто меня не любит», – решила Нюрочка, зевая и спуская ноги в пушистые тапочки.

Она подошла к кошке, свернувшейся в прихожей калачиком.

– Ты меня любишь? – спросила она у кошки. Кошка хотела ответить, но Нюрочка стукнула её по носу пальцем и поплелась в кухню. В кухне она открыла кран и сунула под него ухо. В ухо радостной струёй потекла вода. «Наберу полное ухо воды и умру от разрыва уха», – решила Нюрочка.

Вскоре эта затея надоела Нюрочке. Она принесла краски и кисточку и стала разрисовывать обои. Она нарисовала двух инопланетян, зелёный автобус с крыльями и тощего слона в очках и на роликах.

Потом она принесла кошку и провела для неё экскурсию по выставке. Кошка оказалась равнодушной к искусству. Она упиралась и пыталась улизнуть.

«Надо её оштрафовать», – решила Нюрочка. В виде штрафа она покрасила кошку зелёной краской, а её хвост – оранжевой. Довольная своей работой, Нюрочка отпустила кошку и пошла кормить рыбок.

Она сварила им манной каши, нарезала колбасы и солёных огурцов и бросила всё это в аквариум. Одну рыбку она пересадил в маленькую банку и вынесла во двор.

Посреди двора стоял послушный мальчик Савва и меланхолично стучал палкой по дереву.

– Хочешь рыбку? – спросила Нюрочка.

– Хочу, – сказал Савва.

– Я тебе её подарю, если ты поможешь мне напугать Светочку, – сказала Нюрочка.

– А Светочка испугается? – спросил Савва.

– Испугается, – уверила Нюрочка.

– Ну пошли, – сказал Савва.

Они подошли к Светочкиному подъезду и стали ждать, когда она выйдет.

– А чем мы будем пугать Светочку? – спросил мальчик Савва.

– Тобой, – сказала Нюрочка.

Она всучила Савве рыбку в банке и побежала домой за краской и кисточкой.

Разрисовывать Савву было сплошным удовольствием. Особенно хорошо получились усы и борода, а также огромный синяк под глазом.

– А вдруг Светочка не испугается, – засомневался Савва.

– Тогда придётся пугать кого-нибудь другого, – вздохнула Нюрочка.

В этот миг раздались шаги на лестнице. Нюрочка спряталась за Савву, а Савва остался стоять возле парадного с банкой в руках. Из банки в полумглу подъезда таращилась рыбка.

Светочка испугалась. Она так испугалась, что проснулись все соседи и тоже испугались. Даже те, которые жили на пятом этаже и вообще ничего не боялись.

Но больше всех испугалась Нюрочкина бабушка. Она вышла из Нюрочкиного подъезда, а за ней следом вышла Нюрочкина оранжево-зелёная кошка. Они увели Нюрочку домой и три дня не выпускали гулять.

И так как пугать Нюрочке было некого, она сидела дома и пугала сама себя. А когда становилось совсем страшно, она залезала под подушку и считала до ста. Или до тысячи.

ЗАБЛУЖДЕНИЕ САШИ

Однажды Саша решил заблудиться. Он стоял посреди двора и думал, как это лучше сделать. «Самое правильное, – подумал Саша, – начать двигаться в неизвестном направлении. Желательно выбирать незнакомые улицы и стараться не запоминать, куда они ведут».



Саша достал платок, высморкался и пошёл заблуждаться.

Всё вокруг было в снегу – земля, деревья, и с неба тоже летел снег и это было очень кстати – легче заблудиться.

Саша шёл и смотрел только на снег и даже иногда открывал рот, чтобы снег туда залетал и таял на языке.

Сначала заблуждаться было неинтересно – всё ему было знакомо. Вот хлебный, куда он ходит с бабушкой. Вот дом тёти Маруси, и даже видно её окно – можно запустить в него снежком. Но если это сделать – выйдет толстая тётя Маруся и отведёт его домой. Саша прошёл мимо дома тёти Маруси и ещё мимо нескольких домов, и ещё, и ещё, и, наконец, очутился на Совсем Незнакомой Улице. В знак встречи с Незнакомой Улицей Саша воткнул в снег прутик, а на него повесил одну варежку.

– Отсюда начинается Настоящее Заблуждение, – сказал сам себе Саша и пошёл дальше.

Снег летел на его ресницы, брови, а он представлял себе, что находится на другой планете, где живут Инопланетяне, умеющие превращаться в снежинки и можно с ними даже поговорить.

– Бурале тумбикут, – сказал Саша снежинке, слетевшей ему на нос.

– Варле мус, – ответил он за снежинку.

Улицы становились всё незнакомеи и незнакомеи. Саша почувствовал холод в той руке, на которой не было варежки. Из этой руки холод кочевал по всему Саше и попадал в нос. А из носа холод вытекал мокрой струйкой, которая замерзала на морозе. Саша шмыгал носом и то и дело доставал платок. Заблуждение становилось всё грустней и непонятней.

«Всё, я уже заблудился, – наконец решил Саша, – пора домой».

От этой мысли он почувствовал радость и развернулся, чтобы идти обратно.

Но куда идти – было совершенно неизвестно. Мало того, что всё вокруг было неизвестным – это неизвестное было засыпано снегом и на него, словно волшебная ткань фокусника, опускалась Темнота. Темноты Саша боялся, хотя был очень смелым.

«Надо спрятаться от Темноты», – решил Саша.

Он зашёл в неизвестный подъезд, где горела пыльная лампочка. Это был Чужой Дом.

– Я хочу домой, – сказал сам себе Саша жалобным голосом.

Он представил, как дома его родители и бабушка с дедушкой пьют чай с вареньем.

– Где наш Саша? – спрашивает бабушка.

– Не волнуйся, – говорит дедушка, – он, наверное, заблудился.

– А... – говорит бабушка. И пьёт чай.

От этой мысли в носу у Саши защипало, словно там завелась маленькая злая сороконожка. А в глазах поплыл туман, сквозь который мерцала одинокая жёлтая лампочка.

Саша попытался представить, что Чужой Дом – заколдованный замок, в котором живут короли, но у него ничего не получилось.

– Никакой это не замок, – сказал сам себе Саша. – Хочу домой.

Он выглянул на улицу. Там, на улице, всю хозяйничала Темнота. Если бы сейчас зажгли свет хотя бы на час и устроили день, он бы, конечно, нашёл свой дом.

«По красной варежке», – подумал Саша. А так – попробуй, найди.

«Надо позвонить кому-то в дверь и во всём признаться», – подумал Саша.

«Если, конечно, здесь не живут бандиты...» – сказал кто-то тонко-тонко внутри Саши.

Сердце Саши бешено забилося. Он подошел к первой попавшейся двери и прислушался.

– Ты – вислоухий дурак! – закричал чей-то громовой голос.

Саша в ужасе отпрянул. Он подошёл к другой двери. За ней чей-то голос звонко пел.

«Бандиты петь не могут, – подумал Саша, – разве что в мультиках». Саша позвонил в дверь.

Дверь открыл высокий, очень грустный дяденька в роговых очках. Он удивлённо сверху вниз посмотрел на Сашу.

– Здравствуйте, – сказал Саша. – Я заблудился.

– Понятно, – грустно сказал дяденька. – Заходите.

Саша осторожно зашёл в прихожую. Там были чучела разных зверей – лисы, белки, попугая, совы, крокодила и ещё много других.

Дяденька проводил Сашу в комнату. В комнате тоже были чучела зверей, а среди них сидела очень весёлая, лохматая тётя и громко пела.

– Это Алевтина, – сказал дяденька всё так же грустно.

Тётя посмотрела на Сашу, не прекращая петь.

– Почему у вас столько игрушечных зверей? – спросил Саша у дяденьки.

– Это чучела зверей, – сказал дяденька. – А я – зоолог. Изучаю зверей.

У зоолога в доме было так необычно, что Саша даже забыл, что он заблудился.

– Вы их всех убили на охоте? – спросил он у Зоолога.

– Нет, что вы..., – воскликнул Зоолог. – Я по натуре очень добрый человек.

И он покосился на тётьку, которая продолжала петь.

– Давно вы заблудились? – спросил Зоолог у Саши.

– Недавно, – сказал Саша.



– Все мы заблудились, – сказал Зоолог.

Саша пожал плечами. Станный какой-то Зоолог, сидит себе дома – где он мог заблудиться?.. И тетенька вроде не совсем заблудилась.

– Я хочу домой, – сурово сказал Саша.

– А где вы живёте? – поинтересовался Зоолог.

– Там – хлебный рядом, – сказал Саша. – И школа...

– Королёва? – спросил Зоолог.

– Точно, – сказал Саша.

– Ну, идём, – сказал Зоолог и стал одеваться.

Тётенька прекратила петь и молча смотрела, как Зоолог одевается. Потом она достала помаду и стала красить губы. Саша сказал ей «До свиданья» и они с Зоологом вышли в темноту и снег.

– Вы боитесь темноты? – спросил Саша.

– Нет, – ответил Зоолог. Он вдруг развеселился. – Темнота сама по себе не страшная.

– А что – страшное? – спросил Саша. – Привидения?

– И привидения – не страшные, – сказал Зоолог.

– А что – страшное? – спросил Саша.

– Пугает всегда то, чего мы не знаем, – сказал Зоолог.

Саша задумался.

– Я всё знаю, – сказал он.

– Тогда вам нечего бояться, – сказал Зоолог.

И они подошли к Сашиному дому.

– А что вам скажут ваши родители? – спросил Зоолог.

– Не знаю, – ответил Саша.

– Когда в следующий раз заблудитесь – заходите в гости, – сказал Зоолог, пожимая Саше руку.

– Хорошо, вы тоже, если заблудитесь – заходите, – ответил Саша. И пошёл домой.

ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА

Нюрочка с Сашей играли в лото. Нюрочка выигрывала. На её лице сияло торжество победителя. К тому же она была старше на год, а это тоже немалое преимущество.

– Твой ход, – говорила Нюрочка снисходительно.

Саша сопел, но не сдавался. Он был серьёзным мужчиной, и хотя Нюрочка – женщина, это ещё не повод уступать ей в игре.

– Ты не махлеришь? – на всякий случай уточнил Саша.

– Нет, – чистосердечно призналась Нюрочка.

И вдруг выигрывать начал Саша. Его конопатое лицо раскраснелось, на нём появились бисеринки пота – так он хотел обыграть Нюрочку.

Нюрочка прикусила губу и стала строго следить за фишками. Игра неумолимо шла в пользу Саши. Проигрывать Нюрочка не хотела.

– Что-то я устала, – сказала она зевая. – Пойду, отдохну...

– Нет, давай доиграем, – потребовал Саша.

Нюрочка вздохнула. Сейчас Саша победит, а потом будет всем хвастаться. А это, как считала Нюрочка, самое ужасное в Саше.

– Тебе пора домой, Саша, – сказала Нюрочка. – Твоя мама отпустила тебя до восьми.

– Доиграю и пойду, – неумолимо сказал Саша.

Нюрочка недовольно заёрзала на диване. И вдруг ей в голову пришла мысль. Она широко открыла глаза, изображая ужас, и уставилась в полумглу комнаты.

– Твой ход, – важно сказал невыносимый Саша.

Но Нюрочка продолжала широко открытыми глазами смотреть в никуда.

– Твой ход, – повторил Саша.

Но Нюрочка не отзывалась.

– Что ты там увидела? – спросил Саша, крутя пальцами фишку.

– А ты разве не видишь? – страшным голосом спросила Нюрочка.

– Что?

– Человек-Невидимка, – ужасным шёпотом произнесла Нюрочка.

– Его не бывает, – сурово сказал Саша.

– Вот он... – зашептала Нюрочка, указывая пальцем в направлении книжного шкафа.

– Это шкаф, – рассудительно сказал Саша.

– Нет, рядом со шкафом. Он стоит и смотрит на нас.

Саша поёжился.

– Ты честно его видишь? – спросил он у Нюрочки осторожно.

– Главное, чтобы он на нас не напал, – сказала Нюрочка на ухо Саше.

– А он может напасть? – начинал верить Саша.



– Конечно, – убедительно шептала Нюрочка. – Он только этим и занимается.
– А на тебя уже нападал? – поинтересовался Саша.
– Ещё нет, – трагически сказала Нюрочка. – Если он сейчас нападёт, тебе придётся меня защищать.

Саша икнул.

– Я же его не вижу, – тихо сказал он.

– Всё равно придётся, – категорично заявила Нюрочка.

– Ладно, – вздохнул Саша.

Он посмотрел на книжный шкаф.

– Где он сейчас?

– Всё там же, – сказала Нюрочка. – Стоит, смотрит.

Саша вглядывался в сузившуюся темноту. Что-то там такое было, а что – непонятно.

– Видишь? – спросила Нюрочка.

– Вижу, – вдруг сказал Саша.

– Что видишь? – удивилась Нюрочка.

Саша молча вглядывался. Ему показалось или нет?

– Человек-Невидимка, – прошептал Саша и закрыл глаза.

– Ты его видишь? – упавшим голосом спросила Нюрочка.

– Бежим! – закричал Саша, и они бросились вон из комнаты.

Нюрочке стало очень страшно.

– Давай спрячемся в прихожей, – сказала она.

– Давай, – согласился Саша, икая.

– Закрой дверь в комнату, – прошептала Нюрочка. – Чтобы он не вышел.

Саша закрыл дверь.

– Ты его видел, Саша? – спросила Нюрочка.

Саша молча кивнул.

– Какой он?

– Очень страшный, – признался Саша.

– Что же нам делать? – ужаснулась Нюрочка. – Как назло никого дома нет. . .

– Я, наверное, тоже пойду домой, – сказал Саша, снимая с вешалки шубу.

– И не вздумай, – сказала Нюрочка, отнимая у Саши шубу. – Ты должен меня спасать.

– А как? – спросил Саша.

– Давай будем громко петь, – предложила Нюрочка. – Он испугается и уйдёт.

– Я не умею петь, – сказал Саша. – Я на уроке пения только рот открываю, когда все поют.

– Ладно, – вздохнула Нюрочка. – Я буду петь, а ты открывай рот. Главное, чтоб он испугался.

И Нюрочка запела.

– Пой так, как будто ты его не боишься, – посоветовал Саша.

– Хорошо, – кивнула Нюрочка и запела ещё громче.

Она спела свою самую любимую песню. А потом ещё одну. А потом ещё три.

– У меня уже горло болит, – наконец сказала она. – Посмотри, он уже ушёл?

Саша подкрался к двери.

– Я боюсь, – признался он.

– В щёлочку посмотри, – посоветовала Нюрочка.

– Не хочу, – сказал Саша. – Сама посмотри.

– Я не могу. Я пою, – сказала Нюрочка.

– Ты сейчас не поёшь, – сказал Саша.

– Пою, – сказала Нюрочка и запела.

Рукой она подталкивала Сашу к двери. Саша упирался.

– Одним глазом посмотри, – прервав песню, сказала Нюрочка. – Одним глазом не так страшно.

– Не могу.

– Значит, ты трус, – заявила Нюрочка.

Трусом Саша быть не хотел. Он осторожно приоткрыл дверь и заглянул в комнату. Там горела настольная лампа, а полкомнаты было в тени. В этой Тени и прятался Человек-Невидимка.

– Он спрятался, – сказал Саша.

– Значит, он очень хитрый, – сказала Нюрочка. – Слушай, давай его выкурим, – предложила она. – Сейчас я принесу папины сигареты.

И она принесла папины сигареты, а также спички.

– Я не умею курить, – сказал Саша.

– Придётся научиться, – сказала Нюрочка и стала учить Сашу курить. Она сама, правда, не умела, но видела, как это делают папа и дедушка, а раз у них получалось, у Саши это тоже должно получиться.

Она так увлеклась обучением Саши, что не услышала скрежета ключа в замке и не заметила, как на пороге появилась бабушка. И Сашина мама.

– Мы выкуриваем Человека-Невидимку, – объяснила им Нюрочка серьёзно.

Но они ничего не поняли. Они забрали сигареты, спички и начали проветривать квартиру. При этом они очень сердились.



– Сейчас Человек-Невидимка точно испугается, – прошептала Нюрочка на ухо Саше.

– Ясное дело, – согласился Саша.

Он хотел добавить ещё что-то очень важное о Человеке-Невидимке, но тут мама увела его домой. Она даже не поинтересовалась, кто такой Человек-Невидимка. Саша попытался ей объяснить. Но она ничего не поняла. Или не поверила. А может – и то, и другое.

СНЕЖНАЯ ТАЙНА

– Я пойду погуляю, – сказала Нюрочка бабушке.

– Ты же не ела, – возмутилась бабушка.

– Я приду и поем, – пообещала Нюрочка. – У меня сейчас нет аппетита.

С точки зрения бабушки это было неправильно. Сначала человек ест. Потом он может заниматься более важными делами. Но на пустой желудок важные дела не получаются. Грош им будет цена. Она попыталась объяснить это Нюрочке.

– Я нагуляю аппетит, – резонно заметила Нюрочка. – И съем в два раза больше.

В этом была своя правда, а против правды, как говорится, не пойдёшь.

Нюрочка вышла во двор, довольная своей победой. Во дворе была Светочка, она лепила из снега куличи.

– Что ты сегодня ела? – спросила Нюрочка у Светочки.

– Кашу, – вздохнула Светочка.

– А я – ничего, – гордо заявила Нюрочка.

Светочка с завистью посмотрела на Нюрочку. Но не выдала своей зависти – продолжала лепить куличи.

К ним подошел Саша.

– Что делаете? – спросил он.

– Что ты сегодня ел? – поинтересовалась у него Нюрочка.

– Бутерброд с колбасой, – ответил Саша и облизнулся.

– А я – ничего, – важно сказала Нюрочка.

Саша задумался. Завидовать или нет? С одной стороны – бутерброд с колбасой был очень вкусным, а с другой стороны...

– Я совсем ничего не ела, – повторила Нюрочка, чтобы Саша всё-таки позавидовал.

– И что ты будешь делать? – не сдавался Саша.

– Я буду есть снег, – сказала Нюрочка первое, что пришло в голову.

– Он холодный, – сказала Светочка. – И твоя бабушка всё увидит из окна.

– Мы пойдём к другому дому. Там и снега больше.

– Пойдём, – поддержал Саша.

– Меня мама будет ругать, – осторожно сказала Светочка.

– Плакса-вакса, – заявила Нюрочка. – Сиди здесь одна.

Светочка вздохнула. Она грустно посмотрела на своё окно, а потом на Другой Дом и задумалась, сколько до него шагов.

– Хорошо, – сказала она наконец. – Идём.

И они пошли к Другому Дому.

– Видите сколько здесь снега! – радостно воскликнула Нюрочка так, словно это она его выдумала.

– Здесь по нему почти никто не ходил, – заметил Саша, внимательно разглядывая снег.

– А по нашему все ходили, – сказала Светочка, тыкая в снег прутиком.

Нюрочка села на снег и зачерпнула немного варежкой. Потом попробовала его на вкус. Снег обжёг рот, губы, язык, и в зубах зазнобило, но Нюрочка честно съела весь снег, что был в варежке.

– Вкусно? – недоверчиво спросила Светочка.

– Как мороженое, – сказала Нюрочка гордо.

– Я тоже хочу, – сказала Светочка. – Но мне мама не разрешает.

– Так тебе и надо, – сказала Нюрочка, цокая зубами, и зачерпнула новую порцию снега.

– Я тоже хочу, – солидно сказал Саша и сел на снег рядом с Нюрочкой. Он зачерпнул снега и глотнул его.

– Ну как? – поинтересовалась Нюрочка.

– На минеральную воду похоже, – сказал Саша.

Светочка стояла и нерешительно смотрела на снег.

– Я боюсь, – призналась она.

– Иди домой, – сказала Нюрочка. – Ты нам мешаешь есть снег.

Светочка вздохнула.

– Это опасно, – сказала Светочка, трогая снег пальцем.

– Пусть манную кашу ест, – сказала Нюрочка Саше, зачерпывая очередную порцию снега. Светочка посмотрела в сторону и собралась плакать.

Нюрочка и Саша не обращали на неё внимания. Они вкушали снег, и по их лицам было разлито блаженство.



Светочка поразмышляла — заплакать или нет, и в конце концов передумала.

— Он горький? — осторожно спросила она у Нюрочки и Саши.

— Не говори ей, — шепнула Нюрочка Саше.

Саше было немного жаль Светочку. Он хотел что-то сказать, но Нюрочка поднесла палец к губам.

Саша вздохнул и промолчал.

— Попробуй сама, — сказала Нюрочка, глотая очередную порцию снега.

Светочка сдалась. Она села рядом, зачерпнула снега и поднесла к губам. Сначала она его внимательно разглядела, потом лизнула, потом проглотила.

Нюрочка и Саша с видом превосходства смотрели на Светочку.

— Ну что? — хором спросили они.

Светочка закашлялась, и её пришлось бить по спине.

— Ну что? — опять спросили они.

— Он мокрый, — сказала Светочка. — И холодный.

— Привыкнешь, — успокоила её Нюрочка. — Давайте каждый день собираться и есть снег.

— А если он растает? — поинтересовалась Светочка.

— Не растает, — пообещала Нюрочка. — Мы напишем письмо в «Прогноз погоды». Чтоб всё время шёл снег.

— Я не хочу всё время снег, — сказала Светочка. — Пусть иногда тает.

— Нет, мы напишем, чтоб не таял, — не согласилась Нюрочка.

— А они послушают? — засомневался Саша.

— Конечно, послушают, — сказала Нюрочка и зачерпнула ещё снега. — Мы им будем каждый день письма писать.

— У меня нет времени каждый день письма писать, — сказала Светочка. — У меня музыка по понедельникам и четвергам. Пусть он по понедельникам и четвергам тает.

— Вот ещё! — возмутилась Нюрочка. — Из-за твоей музыки чтоб снег таял! Делать ему нечего. . .

Светочка вздохнула.

— Мы ещё долго будем есть снег? — спросила она.

— Тут ещё много снега, — заметил Саша, оглядываясь по сторонам.

— Я уже не очень голодная, — сказала Светочка.

— И я уже не голодный, — сказал Саша.

Нюрочка задумалась.

— Я, по-моему, тоже не голодная, — наконец сказала она. — И горло почему-то болит.

— Давайте доедим снег завтра, — предложил Саша.

Нюрочка кивнула. Ей почему-то стало очень-очень жарко, а в глазах всё плыло.

— Я уплываю, — сказала она тихо.

— Куда? — испугалась Светочка.

— Не знаю, — сказала Нюрочка и закрыла глаза.

— У неё температура, — вдруг догадался Саша, потрогав Нюрочкин лоб.

И они повели Нюрочку домой. А потом сами пошли домой. И у них тоже началась температура и заболело горло.

А их родители звонили друг другу и ничего не понимали.

— Что вы делали на улице? — допытывалась мама у Саши.

— Ничего, — отвечал Саша.

— Вы не могли ничего не делать, — подозрительно говорила мама.

Но Саша ей так и не рассказал, что они делали. В конце концов, имеют они право на свою собственную тайну или нет?

Даже если она может растаять. . .

ОБЛАКА ПОД НОГАМИ

Саша вышел из дома именно в тот миг, когда дождь заканчивался. Дождь словно долистывал последние страницы книги — с веток проворно и звонко падали капли, а в небе образовались голубые, свободные от туч пространства, и из них засквозило синим.

— Подожди ещё немного. . . — сказал Саше дождь.

— Ладно, — согласился Саша и подошёл к широкой и длинной, а значит и глубокой луже. Лужа была что надо. Вообще, мелких луж Саша не любил. Они быстро высыхали и в них нельзя было устроить кораблекрушение. Настоящее, а не какое-нибудь.

А эта лужа была словно создана для кораблекрушений.

Саша взял палку и стал измерять глубину лужи. Для этого он зашёл в неё босиком и ткнул палкой в воду. По воде пошли коричневые круги. Но это только казалось, что круги коричневые — в них переливалось небо, а ещё — ветки деревьев, а ещё — солнечный свет.

— Здорово, — восхитился Саша.

И стал ждать, когда круги кончатся, и вода в луже снова станет спокойной. Теперь небо и ветки, отражённые в луже, были отчётливыми, хотя и неяркими.



«Словно их кто-то уронил в лужу», – подумал Саша.

Во дворе было тихо, и Саше вдруг перехотелось устроить кораблекрушение. Тем более, для этого надо было идти домой и делать из бумаги кораблики.

А Саше так хорошо было стоять в красивой, отливающей небом луже и смотреть на облака под ногами. Потом он задрал голову и посмотрел вверх.

Над головой тоже плыли облака.

«Облака – под ногами, облака – над головой», – пришло Саше в голову. И получилось похоже на песенку.

Тогда он повторил её ещё раз, а потом ещё и при этом смотрел то на облака в луже, то на облака в небе.

И вдруг ему пришла в голову ещё одна строка: «Пахнет солнцем и травой...»

«Я стих сочинил», – вдруг догадался Саша. Эта мысль так удивила и обрадовала его, что он совсем забыл о задуманном с утра кораблекрушении. Он стоял в луже и ждал, чтобы кто-то прошёл мимо. Тогда можно будет прочитать ему стих.

Но мимо никто не шёл. Саша вылез из лужи, надел ботинки и подошёл к Нюрочкиному балкону.

– Нюра! – крикнул он.

Нюрочка вышла на балкон в широкой красной шляпе. Щёки и губы у неё почему-то тоже были необычайно красные, а в руке был зажат красный карандаш.

– Что? – спросила Нюрочка очень тонким голосом.

Саша так удивился Нюрочкиному виду, что даже позабыл свой стих.

– Ты чего такая красная? – спросил он у Нюрочки.

– Я принцесса, – сказала Нюра ещё более тонким голосом. – И выхожу замуж.

– За кого? – удивился Саша.

– Не скажу, – ответила Нюра и очень громко чихнула.

– А я стих сочинил, – признался Саша.

– Сам? – Нюрочка недоверчиво оглядела Сашу, словно за его спиной стояла целая гвардия взрослых, очень серьезных поэтов.

– Сам, – гордо сказал Саша.

– Прочти, – попросила Нюрочка и натянула шляпу на глаза.

Саша на всякий случай посмотрел на лужу, чтобы проверить, стоит ли о ней читать стих. Лужа была такая же прекрасная и широкая, и в ней всё так же плыли облака. Тогда Саша прочёл:

*«Облака – под ногами,
облака – над головой.
Пахнет солнцем и травой».*

Нюрочка внимательно слушала стих.

– Это не ты сочинил, – наконец сказала она важно.

– Как не я? – у Саши от обиды даже в ушах защекогало. И под носом (когда он обижался, у него всегда щекогало в носу и в ушах).

– Это – другой поэт. Мне его бабушка читала, – сказала Нюрочка и снова поправила шляпу.

– Это какой же поэт? – злорадно поинтересовался Саша.

– Это Пушкин, – сказала Нюрочка.

От обиды Саша стал краснее Нюрочкиной шляпы, щёк и губ.

– Хочешь, я тебе докажу, что это я написал? – закричал он.

– А как докажешь? – тонким голосом спросила Нюрочка.

– Выйди, докажу, – сказал Саша.

– Хорошо, – Нюра с важным видом развернулась и исчезла за дверью.

Долго её не было. Наконец, она вышла из своего подъезда на высоких каблуках и в длинной ночной сорочке. На голове её была та же самая красная шляпа.

– И тебе разрешили так выйти? – удивился Саша.

– Бабушка спит, – сказала Нюра.

– А чего ты так пищишь? – спросил Саша.

– Все принцессы так разговаривают, – объяснила Нюрочка, и Саша заметил в её руке маленький бумажный веер.

– Так ты говоришь, что не я стих написал?

– Не ты, – подтвердила Нюрочка, обмахиваясь веером.

– Идём, – зловеще сказал Саша и повёл Нюрочку к луже.

– Видишь, какая лужа? – он снял ботинки и снова зашёл в лужу. По воде пошли цветные весёлые круги.

– Вижу лужу, – Нюрочка окинула Сашу торжественным и высокомерным взглядом, каким должны смотреть принцессы. – Всё равно стих не ты написал.

– Заходи в лужу, – скомандовал Саша.

– Принцессы не ходят по лужам, – заметила Нюрочка резонно.



– Тогда ты ничего не поймёшь, – вздохнул Саша.

Нюрочка с любопытством посмотрела в лужу.

– А если зайду – пойму? – спросила она с сомнением.

– Поймёшь, – кивнул Саша.

Нюрочке жалко было снимать туфли на каблуках и она зашла в лужу в них. В луже было прохладно и Нюрочка поёжилась.

– Ничего не понимаю, – сказала Нюрочка, глядя, как розовые оборки сорочки тонут в луже. И вдруг она увидела. Облака в луже.

Может быть, совсем не так как Саша, а как-то по-другому. Она даже позабыла про свой веер, красную шляпу и влюблённого в неё принца.

Принц был придуманный, а облака – совершенно настоящими, – и в луже, и в небе.

– А ну, прочти ещё раз своё стихотворение, – попросила она Сашу уже своим обычным голосом. И Саша прочёл.

А Нюрочка подумала, что Саша, наверное, настоящий поэт. Но если об этом сказать Саше – он сразу зазнается. Поэтому она с достоинством вышла из лужи и громко чихнула. А потом чихнул Саша. Он так громко чихнул, что облака покачнулись в луже и тоже чихнули. Словно были живыми. А может, они и вправду живые.

КАПРИЗНЫЙ ДЕНЬ

Однажды Нюрочка проснулась очень-очень капризная. Она это почувствовала сразу: капризы так и сыпались из неё, хотя капризничать по-настоящему она ещё не начала, так как все в доме спали, а капризничать для себя самой было неинтересно. Нюрочка лежала в кровати и ждала, когда же наконец все проснутся, чтобы начать капризничать.

Но все даже во сне почувствовали страшную опасность, исходящую от Нюрочки, и ещё сильнее укутались в одеяла и притворились спящими.

«Безобразия», – подумала Нюрочка и вдруг услышала льющуюся на кухне воду.

«По-моему, наводнение», – обрадовалась Нюрочка и побежала на кухню.

Но это была всего лишь бабушка, которая открыла кран и смотрела, как вода льётся на грязные тарелки. Нюрочка встала в дверях и приготовилась капризничать. Она несколько минут думала, с чего начать и смотрела на льющуюся воду.

– Ты чего не моешь посуду? – спросила она бабушку.

– А не хочу, – вдруг сказала бабушка.

– Как это не хочешь? – удивилась Нюрочка.

– А так... – сказала бабушка и стукнула вилкой по тарелке так, что брызги полетели в разные стороны и даже попали Нюрочке на нос.

– Ты не можешь не хотеть мыть посуду! – ещё сильнее удивилась Нюрочка. – Ты её всё время моешь!

– А тем более не хочу!

– А что хочешь?

– Я ещё не придумала, – сказала бабушка и снова стукнула вилкой по тарелке.

И тут Нюрочка догадалась: бабушка капризничает.

Это было таким открытием для Нюрочки, что она даже забыла про свои собственные капризы.

– Я всё дедушке расскажу, – сказала Нюрочка, не на шутку испугавшись за бабушку.

Она пошла в дедушкину комнату и увидела, что он спит, укрывшись газетой.

– Вставай, – Нюрочка громко зашуршала газетой, из-под которой торчали только нос и очки дедушки и раздавались свистки и гудки. Дедушка открыл один глаз и недовольно посмотрел на Нюрочку.

– Не хочу, – сказал дедушка и полез под газету.

– Как это не хочешь? – возмутилась Нюрочка.

– А что хочу, то и делаю, – сказал дедушка и забарабанил по газете ногой.

– Тебе надо на работу, – напомнила Нюрочка.

– Хочешь секрет? – спросил дедушка из-под газеты.

Нюрочка кивнула.

– Не хочу на работу, – сказал дедушка и захихикал.

И он так громко чихнул, что газета взлетела над ним, повисла в воздухе и снова накрыла его с головой.

– Ты капризничаешь? – осенило Нюрочку.

– Ну да... – признался дедушка и защёлкал по газете пальцами.

Нюрочка, возмущённая, вышла из комнаты дедушки и пошла к маме. Мама, оказывается, уже проснулась. Она сидела на подоконнике с ногами, чего Нюрочке никогда не разрешала.

– Ты что тут делаешь? – спросила Нюрочка строго.

Мама замотала ногами в воздухе, и с её ног на спину спящей кошки упали тапочки. Кошка недовольно сощурилась и отошла в сторону.



– Хочу кушать! – сказала Нюрочка маме.

– Не буду готовить! – радостно закричала мама.

– Почему? – страшным шёпотом спросила Нюрочка, хотя уже всё знала наверняка. Мама капризничает.

Мама подмигнула Нюрочке чёрным глазом.

Нюрочка вздохнула недовольно и поплелась в прихожую. В кухне всё ещё громко лилась вода, в комнате дедушки шуршала газета и слышалось хихиканье, а в другой комнате сидела на подоконнике непослушная мама.

Одна кошка Соня, сбежав в прихожую, сидела на коврикe и не капризничала. Она благоразумно вылизывала свою пепельную шерсть.

– Давай подождём, когда они закончат капризничать, – предложила Нюрочка кошке.

– Давай, – взглядом ответила кошка и очень строго посмотрела на Нюрочку. А Нюрочка – очень строго посмотрела на кошку.

ЕВГЕНИЙ ДЕМЕНОК

НАСТОЯЩАЯ ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ НЕКОТОРЫХ СЛОВ, ИМЁН И НАЗВАНИЙ

ДОНЕЦК И МАКЕЕВКА. После смерти Александра Македонского большая группа его солдат, не желавших подчиняться ни одному из диадохов, решила основать Новую Македонию – на тех же принципах, которых придерживался Александр в начале своего правления. Почти весь цивилизованный мир был к тому моменту в составе Империи, поэтому им пришлось искать нецивилизованные, но пригодные для жизни места. Дойдя до Северного Приазовья, солдаты решили именно здесь основать новое государство. Как всегда, благой идее помешали амбиции. Слишком много было желающих его возглавить, слишком многие считали правильными только свои идеи. После долгих дебатов сошлись на том, чтобы основать два государства, расположив их рядом, а название Македония честно поделить пополам. Из первой части «Маке» и образовалась сегодняшняя Макеевка, ну а из «Донии», сами понимаете – сегодняшний Донецк.

МАЛЬЧИШ-КИБАЛЬЧИШ. Мало кому известна история происхождения странного имени Мальчиш-Кибальчиш. С Мальчишом-Плохишом всё понятно. Тогда почему правильного мальчика не назвать Хорошиш? Как выяснилось, на то было несколько причин. Во-первых, Хорошиш – слишком примитивно, лобово, да и звучит неблагозвучно. А самое главное – в первоначальном варианте Мальчиша звали не Кибальчиш, а Кипальчиш. То есть мальчик в кипе. Именно еврейский мальчик, по задумке Аркадия Гайдара, должен был дать смертельный бой злобным буржуинам. Возможно, такая идея была продиктована тайным увлечением идеями Троцкого – ведь первый свой рассказ Гайдар назвал «Р.В.С.» – в честь Революционного Военного Совета, которым Троцкий руководил в самые сложные годы гражданской войны. Причём Гайдар не побоялся опубликовать рассказ с таким названием в то время, когда Троцкий уже попал в опалу. Возможно, эту идею писателю подсказала жена, Рахиль Лазаревна Соломянская. Как бы там ни было, в последний момент Аркадий Петрович заменил в имени Мальчиша одну букву. Таким и узнала его большая Советская страна.

ШЕВЕЛЮРА. Волосы и шевелюра – два совершенно непохожих слова, обозначающих одно и то же. Причём слово «волосы» мы употребляем гораздо чаще. Это неудивительно. Ведь происхождение слова «шевелюра» теряется во мгле веков. В те далёкие времена люди умели шевелить волосами. Отсюда и греческий миф о Медузе Горгоне, и наше выражение «волосы зашевелились на голове». Просто в минуты опасности срабатывает наша генетическая память.

КАКОФОНΙΑ. Собственно, «*κακός*» по-гречески – плохой, дурной; «*φωνή*» – звук. Вроде всё понятно. Ан нет. История происхождения слова сложнее и интереснее. Дело в том, что первыми панк-рокерами были вовсе не «Sex Pistols», а неизвестные древнегреческие музыканты, игравшие на плохо сделанных музыкальных инструментах. Сегодня уже невозможно установить, кто первым придумал играть на неудачно изготовленных инструментах – до этого их просто выбрасывали. В конце концов такой человек появился, потом к нему примкнули друзья и последователи, и скоро уже по всей Греции развезжали группы какофонистов, ниспровергавших консервативные вкусы обывателей и эпатаживавших публику нарочито плохой игрой.

БЕЛИБЕРДА. Происходит от имени английского купца и путешественника Билли Бёрда, приехавшего в Россию по торговым делам ещё в XV веке, да так в ней и оставшегося. Его попытки объясняться на английском у русского народа успеха не имели – как тогда, так и сейчас полиглоты у нас в дефиците. Имя Билли Бёрда, неоднократно подвергавшегося насмешкам, в немного изменённом варианте и стало означать «чушь, ерунда». Позже схожая участь ожидала представителей германских племён – за неумение говорить по-русски они стали у нас немцами, «немыми».

МРАКОБЕС. Слово это имело в старину положительный смысл. Мракобесами называли экзорцистов – изгоняющих дьявола. И расшифровывается оно вовсе не как «мрачный бес», а наоборот – как



«бесящий мрак». Позже, в эпоху торжествующего атеизма, словно отражая скептическое отношение к служителям культа, значение слова было «перевёрнуто». Возможно, не без содействия тех самых сил, которых так бесили мракобесы.

ОКАНТОВКА. Возникновением этого слова мы обязаны великому философу Иммануилу Канту. Любимый студентами профессор, как они считали, огранял их, шлифовал, превращая сырой материал в завершённого философа — окантовывал. В противоположность этому менее образованные жители Кёнигсберга, подшучивая над «философической заумью», говорили: «Не надо меня кантовать». Мол, не грузите меня ненужными знаниями, «не упакуйте».

ИЖЕ С НИМИ. История происхождения этого выражения уходит корнями в языческую Русь, где Ярило — бог Солнца — был одним из главных богов славянского пантеона. И если Ярило даже сегодня известен практически всем, то вот о том, что у древних славян был культ ежей, знают только профильные специалисты. Ведь круглый ёж формой похож на ласковое, дающее жизнь Солнце, но вдобавок защищён колючками. Возможно, отсюда и пошла фраза: «Добро должно быть с кулаками». Изначально выражение звучало как «и ежи с ними», но столетия сделали своё дело и сегодня мы знаем её в искажённом варианте.

ЧАЯНИЕ. Появление в XVII веке чая на Руси дало толчок к появлению целой группы слов. Одно из них — «чаяние» — острое желание чая. Первые несколько десятков лет наши предки не знали, как правильно заваривать чай, и пили то, что мы сейчас называем чифиром. Быстрое привыкание приводило к зависимости от чая. Получить очередную порцию чая было для многих остро необходимым. Отсюда «нечаянная радость» — когда чай удавалось неожиданно достать и выпить. Отсюда же и «отчаянный поступок» — напившийся чая возбуждённый человек был способен на неординарные действия. С другой стороны «отчаявшийся» — тот, у кого не было денег и возможностей вкусить желанный напиток.

НАСТРОЕНИЕ. Это простое и привычное слово обязано своим происхождением старинной русской привычке «соображать на троих». Нас трое... Соответственно хорошее настроение — когда для распития алкогольных напитков собралась хорошая компания, а плохое настроение — когда собрать компанию не удалось или собутыльники не попались подходящие. Отсюда же и «раздвоение», которое позже стали называть «раздвоением личности». Когда компаньонов не было совсем, а выпить хотелось очень, русский человек усилием воли ментально раздваивался и таким образом пил не в одиночку (в одиночку пьют, как известно, только алкоголики), а в приятной компании самого себя.

НАИВНЫЙ. Помните пушкинское «русалка на ветвях сидит» Да-да, именно на ветвях деревьев по русским преданиям поджидали русалки одиноких путников. А самыми удобными деревьями были, разумеется, ивы, растущие у воды. Отсюда «плакучая ива» — немало слёз было пролито под ивами жёнами и девушками бесследно стинувших парней, ставших, по поверьям, жертвами русалок. Но мрачные перспективы не останавливали многочисленных мужчин, желающих не только увидеть русалок, но и завести с ними более тесное знакомство. Ночи напролёт сидели они в ожидании на ветвях ив. Оттого и называли их «наивными» — то ли оттого, что верили в несуществующих существ, то ли оттого, что надеялись остаться в живых после встречи с ними.

ПРЕЛЮДИЯ. Фактически, хотя и невольным автором слова является знаменитый украинский философ Григорий Сковорода. Мало кто знает, что он был также одним из первых и лучших украинских композиторов. Григорий Саввич был автором многочисленных кантов и песен, великолепно владел скрипкой, свирелью, бандурой, гусями. Вскоре после возвращения в Киев из Петербурга, где он пел в церковной капелле, Сковорода уезжает в Европу. Рассказывают, что всё произошло в Италии. Как-то, сидя в окружении многочисленных друзей и новых знакомых, Григорий Саввич стал перебирать струны лютни и не на шутку увлёкся. Муза посетила его. Из-под пальцев будущего великого философа рождались прекрасные звуки, которые слагались в чарующую мелодию. Восхищённые итальянцы стали наперебой спрашивать у Сковороды: «Что ты играешь? Что это за музыка?» «Пре, люди...» — по-украински ответил задумавшийся философ. Так в музыкальный словарь вошёл термин «прелюдия». Первыми прелюдиями стали произведения для лютни, позже появились клавишные прелюдии.

ВЕНТИЛЯТОР. Вы никогда не задумывались о том, почему два слова, обозначающих совершенно разные приспособления — вентилятор и вентиль — так похожи между собой? Всё очень просто — их объединяет фамилия создателя. Нахум Вентиль, мой земляк, родившийся в Одессе и в зрелом возрасте эмигрировавший в Штаты, был музыкантом. Трубочом. Но, как известно, любой одессит талантлив во всём. Нахум Вентиль был незаурядным изобретателем. Сначала он изобрёл... вентиль. Тот самый вентиль, без которого сегодня невозможно представить себе трубы, тубы и валторны и благодаря



которому стало возможным принципиально иное изменение высоты звука медных духовых инструментов. Это, без сомнения, эпохальное изобретение превратило «медь» из натуральной в хроматическую, что позволило медным духовым занять то выдающееся положение в семье музыкальных инструментов, которое они по праву занимают сегодня. Переехав в середине XIX века в США, предприимчивый музыкант понял, что он может использовать своё изобретение не только в музыкальной, но и в инженерной области – и запатентовал «вентиль – клапан в трубопроводах, аппаратах, служащий для запора потока жидкости, пара, газа». Эксперименты с изменением напора воды – как ранее эксперименты с изменением высоты звука, – привели Вентили к новому неожиданному открытию. Изнывая от влажной летней жары в Новом Орлеане, он изобрёл вентилятор, для вращения которого использовался напор воды, подаваемой по резиновому шлангу. Ну, а когда Томас Эдисон создал первый электрический прибор, вентилирующий (сейчас даже трудно поставить сюда другое слово) воздух, он отдал дань уважения нашему действительно выдающемуся земляку. Так Одесса вписала ещё одну строку в книгу развития человечества.

ОРАТОРИЯ. Оратория как музыкальный жанр зародилась в конгрегации ораторианцев. Само общество ораторианцев возникло в Риме в XVI веке, когда священник Филипп Нери начал проводить пастырские встречи в церкви Сан-Джироламо-делла-Карита. Встречи эти состояли из бесед на религиозные темы и пения церковных гимнов, и присутствовали на них не только священники, но и миряне. Для таких встреч Нери обустроил специальное помещение при храме, которое назвал ораторием. А вот почему он его так назвал, до недавнего времени оставалось загадкой. На самом деле Нери, имевший русские корни и обожавший громогласное пение, заимствовал это слово из древнеславянской традиции, где «ораториями» назывался один из видов знаменных распевов. А уж наши древние соотечественники просто соединили два слова – орать и Тора. Да-да, именно и исключительно на сюжеты из Священного писания и исполнялись оратории. От «оратории» произошло позже и слово «оратор».

КЛЕЁНКА. Появлением названия «клеёнка» мы обязаны немецко-швейцарскому художнику Паулю Клее. Приличный швейцарский парень, попав в компанию нашего земляка Василия Кандинского и войдя в экспрессионистскую группу «Синий всадник», с истинно немецкой последовательностью начал предаваться экспрессионизму. Он не просто писал маслом на холсте – он набрасывал на него краски, размазывал их руками и ногами и даже катался по холсту задолго до Джексона Поллока. Разумеется, с чистотой в доме было покончено. Одежда, бельё, столы и стулья, стены – всё в мастерской и доме художника было покрыто толстым слоем засохшей краски, которую было невозможно ни отмыть, ни отстирать. Это приводило в отчаяние домработницу Клее, к услугам которой он привык и не представлял свой быт без неё. Да и сам Клее, воспитанный в немецкой традиции любви к чистоте, вскоре начал тяготиться этими побочными эффектами художественного процесса. Он даже сшил себе несколько балахонов а-ля Густав Климт, пачкать которые было не так жалко. И вот однажды при подготовке холстов к грунтовке Пауль смешал олифу с горячей водой, а потом случайно пролил эту смесь на балахон. Когда смесь высохла, на балахоне образовалась тонкая корка, с которой легко смывалась краска. Немного поэкспериментировав с канифолью и каолином, Пауль создал первую в мире масляную клеёнку. Теперь о чистоте заботиться стало гораздо проще – с клеёнчатой одежды, скатертей и покрывал краска смывалась легко и быстро, и предаваться экспрессионизму можно было без опасения безвозвратно испачкать всё вокруг. А уже потом, с развитием химии, появились латексные и поливинилхлоридные клеёнки, которые сегодня есть в каждом доме.

ИТОГИ. В старину, когда проводились аукционы или торги, на которых, как и сейчас, определялся победитель, не стучали молоточком по столу и не ударяли в гонг. Тогда для этого использовали... лошадь. Да-да, лошадь. Это неудивительно – она всегда была рядом с человеком, под рукой. И так, когда пора было определять победителя, по сигналу распорядителя торгов к нему подводили лошадь. Он дёргал её за хвост или за другое чувствительное место, лошадь издавала привычное ржание – «и-го-го», – и торги считались оконченными. Позже, спустя века, когда мероприятия стали проводить в закрытых помещениях, куда лошадь заводить как-то неудобно, помощник распорядителя стал громко говорить: «И-го-го!» А потом все позабыли, зачем и почему при окончании торгов нужно говорить «и-го-го», слово это незаметно трансформировалось, переключилось в бухгалтерию, во все расчёты, где нужно подводить итоги. Сейчас мы говорим и пишем «Итого» и часто опасаемся, чтобы после того, как мы подведём итоги, они не подвели нас.

ВОПРОС РЕБРОМ. Адам был первым в истории человеком, который поставил вопрос ребром. То есть так: или есть ребро, но не с кем совокупляться; или совокупляйся сколько угодно, но без ребра. Все мы знаем, что он в итоге выбрал. Так Адам стал первым безребренным (или бессребренным, как стали писать позже). Кстати, возникшая ещё в раннехристианскую эпоху секта ребренников, соблюдающих целибат, активно противопоставляла себя «погрязшим в разврате» бессребренным. Отсюда и произошло слово «серебро» – «се ребро», то есть ребро осталось, его не поменяли на сомнительные удовольствия брэнной плоти, человек остался целым и цельным телесно и духовно. Не был искале-

чен дыркой в боку – помните «ёжика резинового с дырочкой в правом боку»? Более того, такой человек гармонично сочетал в себе мужское и женское начало, как в славные времена андрогинов. Слово «серебро» изначально было призвано подчёркивать ценность отказа от плотских удовольствий. Потом изначальный смысл был утерян, извращён, привязан к телесному – так стали называть драгоценный металл.

Интересно, что первыми женщинами, начавшими удалять нижние рёбра якобы из эстетических соображений – чтобы талия была тоньше, – были члены тайной секты феминисток, которые хотели удалить из тела все следы Адама, то есть мужчины.

ТРОЙНОЙ ОДЕКОЛОН. Иногда некоторые понятия – я бы даже сказал, архетипы, – так глубоко укореняются в коллективном бессознательном, что побеги от этих корней прорастают в самых неожиданных местах. Все мы с детства знаем, что «Бог троицу любит». Все сплёвываем через левое плечо именно три раза. Да и «соображаем» именно на троих.

Попав из Европы в Россию, «Eau de Cologne» ждали сразу несколько приключений. Первое – его стали употреблять не только наружно, но и вовнутрь. Попросту – пить. И второе – одеколон вскоре стал «тройным». Эти два вроде бы не связанных между собой события на самом деле тесно связаны между собой. Правда, что было раньше – курица или яйцо, а в данном случае практика употребления вовнутрь и появление «тройного» названия, – пока ещё является предметом дискуссий учёных и исследователей. То есть или соображать на троих стали потому, что на одеколоне чётко было написано «Тройной», то ли назвали его тройным потому, что выпивали его втроём. Но каковы бы ни были детали, суть ясна всем. А суть как раз в том, что Бог троицу любит.

ЦИРК-ШАПИТО. Этим привычным для нас названием мы обязаны... да-да, вновь одесситу. Звали этого сначала одессита, а после парижанина (хотя одесситов бывших не бывает) Саул Шапиро. Предприниматель, антрепренёр и большой энтузиаст цирковых представлений, Шапиро первым выдвинул идею создания передвижного разборного цирка для поездок по городам и весям. В начале XIX века цирк находился в стадии становления, и именно появление шапито способствовало его быстрой популяризации. Да и антрепренёр обычно зарабатывал приличные деньги. Первый цирк-шапито был установлен в конце 30-х годов XIX века на Елисейских полях и оттуда начал своё триумфальное шествие по планете. И назывался он поначалу... цирк Шапиро. Причиной изменения одной буквы послужил банальный антисемитизм. Несмотря на объявленную Учредительным собранием Франции (благодаря Наполеону) полную эмансипацию, под давлением религиозной части французского населения император пошёл на попятную и вскоре принял так называемый «позорный указ», вновь ограничивший права евреев. Чутко улавливавший настроения населения Шапиро понял, что рискует остаться без заработка, а точнее, понести серьёзные убытки, и принял компромиссное решение – изменить в названии всего одну букву. Коммерческий успех подтвердил правильность его предположений, и сегодня только заядлые любители цирка назовут вам фамилию создателя знаменитого шапито.

ВИНОГРАД ИЗАБЕЛЛА. По легенде (которая иногда называется научным фактом) сорт винограда Изабелла появился в Америке в начале XIX века путём скрещивания американского винограда *Vitis labrusca* и европейского винограда *Vitis vinifera*. В результате получилось растение, устойчивое к виноградной тле и холодам. Благодаря своим выдающимся свойствам Изабелла быстро распространилась в Европе. На территории бывшего СССР Изабелла прекрасно себя чувствует в Молдавии, Крыму, Азербайджане и в Грузии. Ну и, разумеется, на наших одесских дачах. В энциклопедиях и справочниках мы можем прочесть о том, что именно на корнях Изабеллы в Европу «приехала» виноградная тля; о том, что в винах, сделанных из винограда сорта Изабелла – слишком высокое содержание метанола, и ещё много другой важной и нужной информации. Не найдём мы только одного – откуда появилось само название. А было так. Уехавшие из Одессы в Америку супруги Исаак и Белла Маламуд нашли на новой родине своё призвание – они стали выращивать виноград. И добились в своём деле не только материального успеха, но и уважения специалистов. В первую очередь – благодаря выведению новых перспективных сортов. Поэтому, когда после многочисленных экспериментов Маламудам удалось вывести новый плодови́тый сорт, сочетающий в себе лучшие характеристики европейского и американского винограда, мнение о том, что его нужно назвать в честь изобретателей, было единодушным. Так Изя и Белла вошли в историю.

Кстати, в Грузии этот сорт чёрного винограда зовется «Одесса». Как мы теперь знаем, не случайно.

ЛЕОНИД ЯКУБОВСКИЙ

ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ДОН ГУАН рассказ

Они перешли тёмную Театральную площадь, на которой никогда не горели фонари, и свернули на неосвещённую же узкую улочку. Было уже поздно; быть может, накрапывал дождь. . .

Она была в чёрных босоножках с жёлтенькими металлическими застёжками, в тонком тёмно-синем шёлковом платье под поясок с выбитым белым цветком на левой груди. Светлые подкрашенные волосы её были уложены плойкой в лёгкие бегущие волны. . .

– Не кажется ли вам наш роман немного театральным? – вдруг спросила она.

Возможно, несколько светлых дождевых капель упали сейчас на её лицо.

– Абсолютно, – сказал он, быть может, чуть грустный, чуть рассеянный, одетый просто – туфли со множеством маленьких дырочек, брюки, рубашка с короткими рукавами, расстёгнутая сверху на две пуговицы.

Но ей почему-то захотелось вдруг продолжить романтическую ноту, так чисто взятую ею, развить её если не в оперу, то хотя бы в песню.

– Но почему? Мне кажется. . . Почему же? – настаивала она.

Ещё с обеда у него разболелась язва, и сейчас боль усилилась, от чего он чуть согнулся (став ниже своей спутницы) и сильно надавил кулаком в правый бок.

– О, – воскликнула она и сжала его руку, – о, этот несчастный злодей Дон Гуан! Помните: «Я гибну – кончено – о Донна Анна!» . . . И в бездну со статуей. . .

По её чистым серо-зелёным глазам в это мгновение без труда можно было прочесть, как сильно хочется ей, чтобы и из-за неё тоже кто-нибудь провалился сквозь землю.

– Да. . . – посмотрел он вдаль, но ничего не нашёл там и подумал: «Наверное, этот Дон шлёпнулся на опилки. Или ему туда подушки подкладывают? А может быть. . .»

– Ну, вот, – тихо прервала она его раздумья, – мой дом. Я живу на первом. В парадном нет лампочки, и поэтому совсем темно. Лестница старая и очень разбитая. . .

Он без всякого интереса посмотрел на дом, в котором не светило ни одного окна, и на звёзды, которые сейчас были единственным источником света над маленьким городком.

– Ну, пойдёмте, – после выдержанной паузы предложила она, как предлагают ввязаться в очень опасное предприятие.

Он кивнул в знак согласия, и они вошли в парадный подъезд. Темнота и впрямь была непроницаема – хоть глаз выколи. На первой же полуразвалившейся ступеньке он чуть было не сломал себе ногу, на третьей на него навалилась одышка, а оказавшись на площадке, он готов был трижды перекреститься.

– Это моя дверь, справа, – интимно и взволнованно прошептала она, как шепчут любовнику, уступая его настойчивости.

Ещё немного она боролась в темноте с коварным замком; наконец ключ повернулся и дверь открылась.

– Свет, увы, включается аж в конце прихожей, – объяснила она, – это ужасно неудобно. А с этой стороны пол совсем прохудился, так что вы идите по противоположной. Только, пожалуйста, ради бога, не перепутайте. . .

Он тяжело перевёл дыхание, и обронив «я постараюсь», шагнул в прихожую. Он вдруг почувствовал ужасную усталость во всём теле и особенно в ногах, и шёл в кромешной темноте по прогибающемуся полу, как верблюд по канату. Начала кружиться голова, и вообще он почувствовал, что очень плохо что-либо соображает. . .

– Ну как вы там? – спросила она.

– Кажется, ишу выключатель, – отозвался он из глубины прихожей, и вдруг наткнулся руками на что-то большое и холодное. – Что это?

– Это статуя. . .

Но её голос он услышал уже как бы издали. . . И в этот миг почувствовал, как пол под ним разверзается.

– Я пришёл. А ты – готов? – донеслось то ли из чёрного страшного угла, то ли слетело прямо с потолка. . .



Тут в голове у него всё помутилось, опрокинулась темнота, он хотел крикнуть, но простонал лишь: «О Донна Анна», и провалился.

Вдруг включился свет...

Нежный рассвет забрезжил в комнате, освещая углы, старую мебель, зеркало одинокой женщины...

Он лежал на диване, голова была туго перевязана мокрым полотенцем. Она сидела рядышком, на краешке дивана – в сером халате, с волосами, стянутыми резинкой в хвостик.

– Что случилось? Где я? – спросил он ещё в полусне.

– Не волнуйтесь. Теперь уже всё хорошо. Вы у меня на диване... Но вы сами виноваты – я же говорила, что пол совсем ветхий, а вы пошли и провалились. В подвал. Правда, там полно опилок, так что ни переломов, ни даже ссадин у вас нет.

– Так значит, я шлёпнулся на опилки?

– Да, на опилки...

– А статуя?

– Какая статуя? О чём вы? – спрашивала она, глядя на него и улыбаясь...

АННА РАФАИЛОВА

FEUILLE MORTE рассказ

... Хотя бы высохшим листком на пыльной мостовой

Вот тебе, Марья Михайловна, отчёт о моей неделе в Одессе. Как обещала. Пишу его в транзитной зоне Стамбульского аэропорта, пока мы с Дианой ждём наш обратный рейс на Касабланку. Прости меня за корявое изложение – но и то сказать, попробуй угоди человеку, в альбоме которого, на последней заветной странице, хранится портрет Чехова...

...Всю дорогу до Одессы мы с Дианкой пели. Во всех трёх аэропортах, в стамбульском отеле, в обоих самолётах. Тихо, конечно, пели, в самолётах шёпотом вообще, но главное – мы так радовались! Сбывалась мечта – показать Диане родину, которая до сих пор была для неё волшебной страной из маминых сказок. А про меня ты знаешь, как я сходила с ума в Касабланке, каждую ночь видя во сне, как приезжаю домой и не могу наговориться с мамой, с Ирккой, как гуляю с ними в парке Ленина, как мы плаваем в море... Мой шеф, капиталистическое чудовище, дал мне лишь десять дней; из них из-за неудобных стыковок авиарейсов по полутора суток занимала только дорога туда и обратно.

Итак, мы с дочей ехали на родину и пели – а мне вспоминались всё песни одесские, специфические. Я знаю их благодаря дяде Алику. Дядя Алик, мамин младший брат – он старый боцман, увлекается сёрфингом, летает на дельтаплане и играет на гитаре. Он похож на капитана Врунгеля и барона Мюнхгаузена одновременно. И ещё на доктора Ливси. Когда мы с Ирккой были маленькие, он, когда ссорился с женой, уходил от неё к нам. Спал на полу. Вырезал для нас игрушки из деревяшек, учил меня рисовать парусники, помогал делать математику. А ещё дома у нас хранилась шестиструнная гитара специально для него; никто другой на ней играть не умел. Мы с Ирккой очень любили, когда дядя Алик уходил от жены. Он знал столько песен – морских, туристских, курсантских, блатных... Помню, одну из наших любимых он спел специально для меня, когда мы в прошлый раз приезжали из Марокко – как давно это было, ещё даже Настюха не родилась! – и все собрались вшестером: мама, Ира, дядя Алик, мой муж, я и совсем крохотная Дианка. Заканчивалась она такими словами (тогда, стыдно сказать, я впервые в жизни заплакала над словами песни):

*Сюда не надо приезжать – в Одессе надо оставаться
 Хотя бы высохшим листком на пыльной мостовой...*

В одесском аэропорту нас никто не встретил. Мы так договорились – берём такси и едем домой сами. Когда мы выбрались из таможенной толчеи, уже стемнело. По сравнению с вечерней Касабланкой в Одессе было душно и весело, а я совсем не узнавала улиц, по которым нас вёз утрюмый таксист – вместо магазинов и ресторанов, что сияли новизной в мой прошлый приезд, уже красовались новые, ещё глянцевоее, да и деревья повыврастали... Это меня почему-то ранило; что же я – старая такая, что уже ничего не осталось от моей юности? Сейчас мне двадцать девять лет; неужели это так драматически много?

Говоря об Одессе, принято ахать о старых дворах Молдаванки. Но для меня, и это нормально, нет ничего романтичнее хрущёвок проспекта Шевченко. Я ехала туда, в край моей неоконченной молодости, прижав к себе усталую Дианку и волнуясь, как перед выпускным балом. Четыре года мы не были дома.

...И мама, и сестра моя были немного пьяны. Я поняла это сразу, как только они открыли мне нашу дверь, обитую всё тем же чёрным дерматином. Отметили наш приезд заранее? Но раньше у нас так не было принято.

– Дианочка! – сразу стали они ломать руки. – У, манюня! Ты помнишь бабу? Помнишь тётю Иру, нет?

Я втащила чемодан в наш коридор. Две вещи меня поразили: запах и потолок. В квартире пахло по-стариковски – этого раньше не было. А потолок, ой-ой-ой! Вот куда лучше не смотреть, когда приезжаешь в хрущёвку после заграницы. Родной потолок показался мне сводом пещеры, и даже не потому, что он низкий – он потемнел и весь облупился, покорявился... Последний раз его красили, когда я училась в седьмом классе.

Все эти годы мне шли из Одессы бодрые электронные письма, по телефону говорили спокойные голоса – мамин, Иркин да изредка дяди Алика. Рапорты в духе – закурили десять бутылей огурцов; анализы у мамы нормальные, операция не нужна; Ирка сменила работу. На все праздники мама неизменно посылала нам бумажные открытки.

И вот, Марья Михайловна, и вот теперь я приехала и вижу свою интеллигентную маму в грязном халате, подвязанном поясом от другого халата, а во рту у неё не хватает двух передних зубов; свою старшую сестру Ирку – с мешками под глазами и тоже всю неопрятную, а ведь когда-то она была модельером, открывала своё ателье...

Мы долго обнимались, а потом пошли в большую комнату (у нас две смежные комнаты – так называемые маленькая и большая). В отличие от одесских улиц, тут изменений не было никаких, только обветшало всё. Я раньше думала почему-то, что моё отсутствие всем пойдёт на пользу: ведь после моего замужества, которое почти совпало с отъездом, в доме стало без меня просторней, маме уже не надо было тратить на меня время и нервы; сестре тоже, думала я, будет проще «развернуться» и наладить жизнь (Ира всегда обвиняла в личных неудачах внешние факторы – то ей мама мешала, то я, то подлецы мужики, то цивилизация наша)... К тому же (мне неловко об этом упоминать) я всё-таки высылала им из Марокко какие-то деньги, пусть немного, но с моими двумя детьми иначе не получалось. А тут – никаких улучшений, лишь дряхлеющий дом и те же самые обои, что отклеились от стен. На всём лежал слой грязи; отовсюду высывались старые тряпочки. И, главное, запах вот этот. Я подошла к окну и раскрыла его пошире. По занавесям пробежал таракан.

Я долго раздавала подарки – марокканские шали, кремы, лёгкие халаты, шоколад из дьюти-фри... Мама моя дрожащими руками тоже вручила Дианочке полный мешок подарков – красивых и недешёвых игрушек и одежек. Все эти гостинцы жутковато контрастировали с убитой квартирой и маминим перегаром.

– Вы простите меня, пожалуйста, – решила сказать я, когда первый наш восторженный разговор подошёл к концу, и мы уже пили чай из треснувших чашек, – но что это с вами случилось?

И тут начала говорить Ирка...

– А что, брезгуешь, да? – глаза её сузились, лицо скривилось. – Плохие мы стали тебе, непрестижные? Четыре года дома не была, а теперь совсем приезжать перестанешь? Так не приезжай, больно надо, и деньги нам твои не нужны, справимся сами. Бросила ты тут всех, наплевала на мать, больную и старую, на меня одну всё перевалила...

– Ира, перестань! – закричала мать грозно. Моя Диана прижалась ко мне, до того страшен был весь этот переход. – Леночка, детка... Мы не писали тебе, не хотели тебя беспокоить... Пойдём, я тебе покажу...

Мама открыла дверь в маленькую комнату, куда я ещё не успела зайти. Я пошла за ней. Там было ещё душнее, просто-таки смрадно. В тусклом свете лампочки под потолком я не сразу увидела человека, что лежал на кровати лицом к старому ковру на стене.

– Господи, кто это? – перепугалась я.

– Тсс! Пусть спит, – мама вытолкнула меня обратно из комнаты. – Это дядя Алик, Леночка. Он теперь у нас. Он так лежит почти всё время.

Марья Михайловна! Нет ничего хуже в этом мире, чем фраза «Мы не хотели тебя беспокоить!» Я слышала раньше, что у дяди Алика был очень тяжёлый рейс, после которого его списали на берег. Тогда они простояли полгода под арестом в Джакарте; к тому же дядя Алик переболел там каким-то злопакопным азиатским гриппом с осложнениями. Это я всё знала. Но я не знала, что, оставшись в пятьдесят девять лет без работы, он пытался повеситься и перенёс клиническую смерть. Мои добрые родственники не сказали мне этого, потому что я тогда кормила свою младшую. Его, слава Богу, спасли, но, ты понимаешь, Марья Михайловна, он уже не стал прежним человеком. Нет, разум к нему, может быть, и вернулся, но дядя Алик теперь был погружён в печаль и безразличие. Если раньше он уходил от жены, то теперь она сама его привела к нашей маме – «делайте, что хотите, он совсем свихнулся, я больше не могу». А детей у них не было.

...Ночью Дианка спала плохо, она стала кашлять – у неё аллергия на тараканов и плесневого клеща, а тут было предостаточно и того, и другого. Я даже бегала в аптеку за кларитином – хорошо, что тут есть круглосуточные аптеки, не то что в Марокко! К тому же мы спали в большой комнате все вместе: Диана с бабушкой на раскладном диване, Ирка и я – на полу. Маленькую комнату Ира с мамой уступили дяде Алику. И я подумала: ёлки-палки, да надо брать ребёнка и валить из родного дома куда-нибудь в гостиницу! Мы не продержимся семь дней в таком кошмаре! Наверное, хорошая мать так и поступила бы. Но меня слишком уязвили Иркины слова – и мы, конечно, остались дома.

...Чтобы не слишком травмировать Диану нашим домашним светопреставлением, я каждый день ходила с ней на море. Хоть эту часть программы, слава Богу, мы выполнили. Море хорошо тем, что оно уходит вдаль, как будущее. Смотришь на него – и чувствуешь поддержку: вот, мол, впереди перспектива и перспектива. А как я радовалась, когда выгатила на море и мою маму! Она призналась, что не была там уже два года. В парке Ленина, что переименован в парк Победы, мы тоже гуляли. Если тебе, Марья Михайловна, интересно, то вокруг него понастроили противоестественно высоких домов, зато в пруду сейчас есть вода, там плавают рыбы и даже утки – не то, что в 90-е годы, когда в парке водились одни эксгибиционисты...



Однажды в супермаркете возле дома я встретила Лёшу. То был мой первый парень; мы начали встречаться, когда нам было, страшно сказать, по пятнадцать, и расстались через год, кляня друг друга — я тебе рассказывала. Долго ещё один вид его долговязой фигуры где-нибудь в глубине двора вызывал у меня тахикардию. Когда появились «Одноклассники», я сразу стала его искать; нашлись все на свете, вот только Лёша как в воду канул, и никто о нём ничего не знал. Я даже думала — жив ли? Но вот он был передо мной, он стал немного поприземистей, а в остальном оказался на удивление таким же, подростково-замызганным. Когда я увидела его, он набирал себе в корзину пиво.

— Лёша, привет! — бросилась я к нему. — Помнишь меня? Ты так и живёшь тут, в доме за ЖЭКом?

Мне казалось удивительным, что кто-то, кроме моей бесталанной Ирки, может торчать всю жизнь на одном месте; мы-то с Игорем уже где только не побывали, пытаюсь заработать денег, а в Одессе до этого сменили пять съёмных квартир.

— Да, — ответил он, глядя на меня с изумлением. — А вы кто?

— Лёш, я Лена! Лена, помнишь?

Я растерялась. Что, говорит ему «Я твоя первая девушка?» Или «В четырнадцать лет мы очень любили друг друга?» И я пробормотала:

— Я училась в Б-классе, на параллели с тобой. . .

— А-а, — понял Лёша. — Прости, честно, не помню совсем.

Он действительно меня не узнал. Я постаралась побыстрее выбраться из магазина. Одно из трёх: или я в те далёкие стрёмные годы ничего для Лёши не значила; или это годы изменили меня до такой неузнаваемости; или та девочка, что прогуливала с ним вместе уроки и училась у него курить и целоваться, была не я. Словом, Мария Михайловна, прошлое, мыслями о котором так здорово утешаться, вкальывая за тысячи миль от дома, тоже меня подвело.

Что ещё я хочу сказать тебе — тут теперь много церквей и много религии. В каждой маршрутке надо лбом у водителя висит целый иконостас. Правда, рядом крепятся золотые фен-шуйские жабы — я долго не могла понять, что это такое. Нескольким раз мы с Дианой ходили в церковь; возле нас построили новую, такая красота. Передали твои записочки о здравии и упокоении, не волнуйся. Ты просила узнать, можно ли тут молиться в церкви за мусульман — таки сказали, что нельзя. Но ты не переживай, я за твоего Саида мысленно хорошо помолвилась, чтоб он не болел и чтобы на работе у него всё было спокойно.

В остальное время я драила квартиру, ругалась с Иркочкой и пыгалась растормошить дядю Алика. Но он совсем ушёл в себя, хотя говорит нормально, прошлое иногда вспоминает. Зарос бородой, и не любит мыться; похож уже не на Врунгеля, а на Бармалея, и потерял чувство юмора. В глубине кладовки я раскопала нашу полуживую шестиструнку, выгтерла с неё пыль и протянула ему в один из тех редких часов, что он не лежал лицом к стене.

— Сыграй, дядя Алик, — попросила я. — Спой мне нашу любимую: «Опять к одесским берегам мой прибывает парус»¹, помнишь? Ну, прошу тебя.

Но он лишь раздражённо отталкивал меня и гитару:

— Оставь меня, Ирочка. . . Леночка. . .

Марья Михайловна, я не хочу загружать тебя всем этим, скажу лишь, что впервые после шести лет трезвой марокканской жизни я взялась за сигареты и убегала по вечерам за дом, курить. Ты, конечно, будешь ругать меня.

Ира же ходила постоянно вокруг (она опять не работает) и приговаривала:

— Видишь, как мама сдала? Думаешь, это из-за дяди Алика? А нет! Это твой отъезд её уничтожил. Тебе-то оно хорошо, у тебя любф, муж, дети, граница, а маме каково, ты ведь не думала. Для неё смысл пропал убирать, за собой следить, держаться как-то. . .

— Ир, ну за границей мы чтоб денег заработать! — оправдывалась я. — Была бы возможность жить тут, мы никуда б и не ехали. А у нас с Игорем даже жилья своего в Одессе нет, на него тоже сначала собрать надо. И потом, я ж не единственная у мамы дочка! Ты-то осталась с ней! Мама же не совсем одинока!

— А она тебя больше любит! — в ответ шипела Ирка. — Всю жизнь только тебе всё внимание: и мамино, и дяди Алика, и всех парней. . . А мне зато теперь — сумасшедшие старики, кошмарная квартира и одиночество. . .

И она начинала плакать, я её жалела, мы обнимались, мирились, и сестра наливала мне стопочку водки, и уговаривала меня выпить, и я малодушно соглашалась, и мне потом всякий раз было плохо.

Иногда мне казалось, что если бы не маленькая Настя, что ждала меня с Игорем где-то на другом материке, я выбросила бы обратный билет и мы с Дианой остались бы дома. До того меня грызло чувство вины — как я могу жить в своём «прекрасном далёке», любимая, в чистой квартире, в то время как родные мои уверенно катятся здесь по наклонной. Как-то забывались ненормированные рабочие дни, придирки начальника-француза, издевательства над моим вероисповеданием от коллег-марокканцев, экономия на еде и лекарствах, чтобы вовремя оплатить Дианину школу и при этом собрать на возделанный билет до Одессы. . . Я казалась себе нажившейся на Иркином одиночестве, на маминном разбитом сердце.

Мне удалось найти частного психиатра; он смог прийти посмотреть дядю Алика в последний день перед моим отъездом. Маму, Ирку и Диану я отправила на это время в дельфинарий.



– Витальная депрессия, – вздохнул врач, выходя со мною на кухню. – Но хорошо, что интеллект сохранён. Попробуйте давать ему вот это, – и он написал мне названия антидепрессантов. Потом вырвал из своего блокнота ещё листик и написал следующее: «Сорокоуст о здравии. Молитвы св. Иоанну Крестителю. Святая вода. Просфоры».

... Начав собирать чемодан, который так и не был собран больше чем наполовину, я вдруг наткнулась на свёрток, что ты передала для брата твоего мужа. Представь, я совершенно о нём забыла!

Я бросилась звонить Рашиду по телефону, что ты заботливо написала на свёртке. Мне сразу ответил приятный голос совсем без акцента, так что я несколько раз переспросила, точно ли это Рашид, брат Саида, марокканец. Ты была права – он у вас очень способный парень.

Мы договорились встретиться классически – у Дюка. Заодно я должна была показать Диане Приморский бульвар. Рашид пришёл с опозданием, но на Приморском ждать было, конечно же, не скучно. Спешу сообщить, что выглядит он, то есть Рашид, замечательно – я будто увидела молодым твоего Саида, с арафаткой на шее и гитарой за плечами. Но, как ты и говорила, несмотря на молодость, он совсем обрусел и похож скорее на смуглого одессита, чем на африканца. Он оказался очень вежливым и любезным, много благодарил нас за передачу и купил нам с Дианой по самому большому и дорогому мороженому.

Мы с ним спустились по Потёмкинской, вышли на Морвокзал. Всё было удручающе новым, модным, неузнаваемо современным. Нет, ничего не осталось от прежней жизни, памятью о которой я утешалась в пыльных касабланских буднях. Всё, что было мне дорого, оказалось либо вытеснено чем-то более свежим, либо исчезло, либо лежало в руинах.

– Мама, смотри, яхты! Мама, смотри, закат! – кричала в восторге Диана, а мне было грустно.

– А споём? – вдруг подмигнул Рашид.

– Здесь?

Рашид одним движением вскочил, сбросил гитару с плеч и облокотил её о колено. И вдруг запел: «Опять к одесским берегам мой прибывает парус...» Клянусь тебе, я ничего ему не говорила. И вообще странно, что он эту песню знает – она редкая.

Кто-то из прохожих положил в сумку Рашида, что оказалась на асфальте перед скамейкой, деньги... А он, не обратив на это внимания, всё пел, и даже Диана подпевала ему:

*И как приятны мне опять друзей старинных лица,
Весёлых улиц перезвон и порта голоса.
Я так хотел бы хоть на миг в Одессе раствориться,
Побывать солёною волной и ветром в парусах.
Я за признания свои не требую оваций,
Я только тихо постою, поникнув головой.
Сюда не надо приезжать – здесь надо оставаться,
Хотя бы высохшим листком на пыльной мостовой...*

¹ Песня Бориса Шеглова

ДМИТРИЙ БУРАГО

НА ПТИЧЬЕМ ОСТРОКЛЮВОМ ЯЗЫКЕ

ЯНВАРСКИЕ СТИХИ

Памяти отца

Приюти меня, речь, приручи.
Поручи, припиная дорогу,
выговаривать горечь по слогу,
чтобы были слова горячи.

В самом сердце степи, в месте сечи,
где дорога ногой в галифе
запускает, как мячик картечи,
одинокий мотор УКВ

на орбиту такого молчанья,
на такую далекую смерть,
что на сердце степи мироздания
боль орлиным курганам терпеть.

По согласным, по полувзвукам
собираю слова в маршрут.
К горизонту с незримым плугом
через поле меня ведут

беспокойная зависть вотчин,
бесприютный полёт равнин.
Травяные ветра пророчат,
то ли отчество произносят,
выгибают земные оси,
в птичье небо вгоняют клин.

ВИННИЦА

Винница.

Узница.

Какая разница
на какой улице по лицу слеза.
Во дворе детвора – ворота со двора.
Умница,

без вины странница,
улыбается, локтем прикрыв глаза.

Винница.

Кляузница.

Разлучница.

Юность отцовскую
с детством сыновним встретила.



Ветер вспугнул сирень –
птицей рванулась тень.
Главная улица всеми трамваями медлила.
Городом правила гром приносящая лучница.

ГОРА

Если гору принять за дырявый камзол,
из кармана цедащий тропинку к утру
вдоль утёса, –
распахнётся картина,
и в шум рукава
обнажённые брызги
слетятся назад,
и взойдёт водопад
из провала в исток
отдышаться под дымчатый ворот.

На пороге равнины из тени и мха,
бесконечные сосны в лиловом снегу
замыкают корону –
колпак ледника неподвижной воронкою манит звезду.

И созреет комета,
проснётся ледник
в треске свергнутых сосен.
Из русла огня
стаи каменных птиц
отзовутся на крик.
Оборвётся утёс,
поскользнётся гора.

И тропинка повиснет,
короной слепя,
над изнанкой камзола,
дырой колпака,
бледным шарфом горы,
обмотав высоту
над полётом воды
в пустоту.

СПИЧЕЧНЫЙ ПОЕЗД

Если спичечный поезд на грифельной стынет доске
в беспокойных вагонах коралловых склонов затишья,
в облепихе огней на бумажном тумане бесстишья,
на крутом повороте запнувшись, как слово в строке,
как остаточный звук, как команда:
«Отбой!» или «Порознь!»,
как улыбка на боль, как ладонь на глаза,
то слеза не посмеет, и тронется спичечный поезд,
потому что по грифельным доскам
уходят в стихи поезда.

Потому что из точки безумья воронежских вех
атлетическим духом по узкому льду бытовухи
возвращается слух, и отчётливо падает снег,
и проходят машины в оконном проёме как слухи.

Возвращается голос сквозь спазмы бронхитных хоров,
сквозь бессонную пропасть, сквозь фальшь репортёрского зуда,
сквозь потерянный город в разладе цепных городов,
сквозь смирительный холод, в котором простуда,



и доверчивый доктор растерянно смотрит вокруг,
 обещают лечить и заваривать верные травы,
 обещают беречь, обещают тепло и досуг,
 обещают...

И речь из оттенков созвучий и славы
 по бумажным ступеням чернильной руды,
 маяком огнестрельного бунта,
 озаряет вершины густой немоты.
 Раскаленное эхо безумца
 озаряет подола раскидистых рек,
 озаряет чертоги.
 К чёрту небыль! Растерянный человек
 окликает дороги.

И дороги на оклик встают перед ним,
 как шоссе и перроны,
 как этапы разлуки, как вещие сны
 на ладони Харона.
 И дороги к ответу готовят его,
 Человека дороги.
 Человек, запахнувшись в ковёр-самолёт,
 как всегда на пороге,
 и никто не окликнет, никто не взойдёт,
 не поправит итоги.
 Человек возвращается на стихосвод
 в озарённые слоги.

ЦУНАМИ

Если тень океана, величие дна
 в потаённом значении, в скрытом числе,
 как иголка в яйце,
 как Эдипа жена,
 как империя,
 как драгоценные угли в золе бухенвальдских печей,
 как замедленный взлёт тополей

перед первым ударом в картонные сны «близнецов»,
 перед школой взведённой на дикий алтарь самозванства,
 перед страхом майдана в размерной тоске катастроф
 на широком экране, в ликующем шоу аванса.

Перед тем, как меняя мечту на кредитный билет
 в электронную пропасть, в эфир календарного блага,
 наливается тень, созревает глубинная брага,
 чуть заметным волнением расшатывая парапет.

То рождается штить. То – безветрие сводит с ума.
 То стоит карусель на вершине державного взлёта.
 То уходит в шумерский песок молодая пехота.
 То на дне океана очнулись глухие грома.

ПАСТУШОК-ШЕПОТОК

Если скорость разлуки делить на двоих,
 сокращая бессонницу в мыслях тугих,
 то экран потолка, обернувшись к окну,
 завернёт его тени в дуду.



Из подозрной дуды по следам светляка
путешествует омут большого зрачка,
в нём кочует троллейбус, хранится январь,
и бенгальскую ночь провожает фонарь,
и янтарь в снежной плазме картавой зари,
и родной шепоток: отвори!

Но расторгнется встреча. Зажмурят окно желтоватые шторы.
Между страхом и сном пробежит холодок:
Человек – лабиринт электронных дорог, –
папушок-шепоток в глубине монитора.

Папушок-шепоток обойдет тишину, прикоснётся к губам.
Протяжённость разлуки раскрутит дуду в бесконечный плацдарм.

Будут тени качаться и длиться в окно, из которого плещет немое кино.
И спокойная одурь, как дрожь по стеклу, проникает в открытую мглу.

Бесконечное тело от лба до замка
шевелится меж звёзд в гамаке потолка,
у весеннего снайпера в пульсе виска
перелётной мишенью зрачка.

В глубине монитора сквозняк,
на разрушенных сайтах огни.
На планете Багдад – на планете бардак.
На планете одни земляки.

Земляки-землекопы окопных забав
благодатного неба сверчки,
полевые мужчины, стратеги без прав,
голландской мечты очаги.

Разыграется время, сбивая цифири с руин.
У Тиресия воин испросит дорогу в разграбленный дом.
Пролетит Ватерлоо, мелькнут Ленинград и Берлин.
И заполнит троянская гибель экран-окоём.

То – песчаная буря, то – сполохи дымных грибов,
в сердцевине разлуки, в разломе слепых скоростей.
На Игтаке темно, и бессонница царствует в ней.
И на всём белом свете действительна только любовь.

БАБИЙ ЯР

Книжный шкаф – широкоплечий сторож
силлабо-тонических эпох.
Вьючный стол несёт печатный ворох
через бытовой переполох.

За окном подольская шумиха,
словно не утешилась орда.
Торг и смута пробуждают лихо,
отворяя настеж ворота.

От набегов шуряты трамваи,
перестукивая стыки лет.
Со дворов летят собачьи лан
всему движущемуся во след.

И почти спокойными часами
через всё пространство над Днепром
сны евреев ходят косяками,
преодолевая окоём.



То они ощупывают город,
долгим снегом обводя холмы.
Княжий град рассечен и расколот
и бубнят троллейбусы псалмы,

и в метро уходят пешеходы,
не осознавая, что следят
за тоннелем потайные воды
из подполья временных оград.

То они по куполам, по скверам,
как ладонью по чертам лица
причитают имена и веры
от окраин до краёв Сырца,

до преображенья Киев-града
в белый орден на плече Днепра.
Город-витязь в склоне снегопада
снится на платформе Мориа¹.

Над пустыней, там, где солнце ближе,
тот же снег идёт в Ершалаим.
Книжный шкаф из всех зело и ижиц
напряжён и внешне недвижим.

¹Мориа (гора) – упоминаемая в Библии (Бытие, глава 22) горная местность, назначенная Богом Аврааму для принесения его сына Исаака в жертву. Традиционно ассоциируется с Храмовой горой в Иерусалиме.

ПОПУГАЙ СОКРАТ

Ты кого зовёшь из клетки, попугай Сократ,
в ожереловом рассвете, окликая сад?
окликая каждый шорох, из какого сна
ты орёшь на этот город прямо из окна?

Коммунальный небожитель, из бетонных крон,
что ты, дерзостный, накличешь на татарский склон!
Из просроченного быта, из чужих судеб
возвращение избыгто, крик нелеп.

Попугай, зелёный витязь, охлади свой пыл!
Закононый повелитель был да сплыл.
Всё тебе не тот Вертинский и не тот Флобер,
Как на старом фотоснимке всё «jamais»¹.

Вот и крик с холмов уходит, где-то с вороньём
он пугливым писком тонет над тугим Днепром.
Стынет берег, и не лодки – водяная зыбь.
Что, Сократ, теперь без водки не доплыть?

Выпьешь гордую цикуту и в полёт
через грозами проросший небосвод.
И оттуда, из немислимых глубин
я услышу, что тебе не господин,

что на птичьем остроклювом языке
ты в полёт меня покличешь налегке.

¹ jamais (*фр.*) – никогда

ЕВГЕНИЯ БИЛЬЧЕНКО

ВЕТЕР, КОТОРЫЙ УМЕР

ПОЭТ – ФИЛОСОФУ

Виктору Малахову

В небо высокое птицы уронены.
Смотрят деревья устало и пристально.
Виктор Аронович, Виктор Аронович,
Как вам живется на ангельской пристани?

После бесснежья с азартом утроенным
Пудрятся снегом морщины Троещины.
Виктор Аронович, Виктор Аронович,
Что вам поведали улицы вещие?

В городе нашем трагичность иронии
Перерастает в комичность трагедии.
Виктор Аронович, Виктор Аронович,
Как вам живется с чужими соседями?

Слева сосед – алкогольная Родина.
Справа сосед – кока-кольная фабрика.
Виктор Аронович, Виктор Аронович,
Мудрость, наверное, водится в Африке:

Там, где пылятся развалины тронные
Древних империй, богов и кудесников...
Виктор Аронович, Виктор Аронович,
С неба высокого сбросьте мне вестника!

Тихого вестника, Виктор Аронович,
Чтобы молчал, ничего не вещая он:
Ни титанической прощи с героями,
Ни заурядного с ними прощания.

Перемешались герои и прихвостни:
Общим они обозначены маркером.
Как вам живется на ангельской пристани,
Добрый волшебник из города Марбурга?

В мире, где строят валы оборонные,
Чтобы затем обратить их в пожарища,
Виктор Аронович, Виктор Аронович,
Благословите поэта, пожалуйста!



ФОРМУЛА ВЫСОЦКОГО

Поэта, который вымер,
Друзья увезли в музей...
Спасите меня, Владимир,
От ласковых рук друзей!

Над городом – небо в соснах
И готики тонкий шприц.
Примите меня, Высоцкий,
В апостолы вещей птиц.

Тоска замыкает обруч
Веселых своих оков.
Храните меня, Семёныч,
В свободной тюрьме стихов.

Звериную тропку к чуду
Никто отыскать не смог.
Шагает по ней приبلуда –
Хиппующий скоморох.

Простой, как прямое дуло.
Святой, как «Иже еси»,
Шагает и в ус не дует –
Юродивый шут Руси.

Его голубая дудка
Хохочет в лицо ханжам,
А к Богу бежит попутка
Без обуви по ножам.

За кровь из босых мелодий,
За то, что на них стою, –
Единственный мой Володя,
Дождитесь меня в раю!

БАЛЛАДА ОБ АВТОСЛЕСАРЕ

Иду вперед упрямо и воинственно.
Считаю дни от чёта и до нечета.
Но ты меня не любишь, мой единственный,
И делать здесь мне, очевидно, нечего.

Сведя счета с богемной забегаловкой,
Отдав долги священнику и цезарю,
Я перееду жить в село Хотяновку
И там найду простого автослесаря.

Пусть не воздвиг он авторского детища
И не имеет творческого рвения,
Зато во мне признает он Поэтище,
Как минимум, вселенского значения.

Пока тоска гнетёт меня горбатая;
Пока мечусь, поддатая, в угаре я, –
Он молча деньги будет зарабатывать,
А летом увезет меня в Болгарию:

В отель жлобов и пугачёвогалкиных,
С бассейнами и жрачкой круглосуточной.
Себя провозгласив духовным сталкером,
Одной в семье я буду Божьей дудочкой.



Гордясь своей женой, как птицей редкостной,
Он вряд ли обвинит меня в агрессии,
Не выказав ни зависти, ни ревности
К моим понтам в науке и поэзии.

Не станет он в кабаке с утра сворачивать
И водку пить с упругими доярками;
Не скажет мне: «Субъект я – слишком значимый,
А потому по жизни тунеядствую».

Не будет он в припадке истерическом
Собой кичиться перед поэтессами...
И заживем мы, братцы, феерически
С бездарным и надёжным автослесарем.

Его, конечно, прошибет испарина,
Когда под вечер явится в квартиру он,
Прозрев тот факт, что ничего не сварено,
Не убрано, не глажено, ни стирано;

Что чей-то след за мной по снегу тянется;
Что с потолка звучит другая музыка...
Что я сбежала из дворца в Хотяновке
Любить тебя, единственный, на мусорке.

МУЗЫКА

Никогда не бывало в морях моих тихо:
Здесь солёной водой заливают каюты.
А тебе пятый день, как нужна повариха
С пресноводным умом и семейным уютом.

Мне подвластны секреты санскрита и зенда.
Я пока ещё в силе, в ударе и в теме.
Капитан языка, я рифмую моменты:
Из цепочки моментов слагается время.

Я историю делаю прямо на кухне:
Вместо шей, по которым – полнейший я бездарь.
Как Пизанская башня, что дунешь – и рухнет,
Моя смерть наклонилась над жизненной бездной.

Подперев головы хаотичный излишек,
Я слежу, как из каждой расщелины дома
В меховых безрукавках из кошек и мышек
Появляются старые добрые гномы.

Башлачёв и Бетховен становятся ближе.
Их божественность плещется в каждой октаве,
А тебе мои песни – до жо... Ненавижу
Это слово, которое хочется вставить!

На наречии фей философствует Рихард.
Зороастр составляет коллаж из созвездий.
А тебе пятый год, как нужна повариха
С диетическим словом газетных известий.

Разлилась до небес музыкальная Волга,
Будто рай возродился в преддверие змея.
Ты рыдаешь ухмылкой, жестокой и долгой,
Но писать серенад я давно не умею.



Фуги, арии... Чем только мозг не напихан!
Отрывают ладони словесные гири.
Но тебе пятый век, как нужна повариха.

Ну, а я... Я уже пятый век, как в могиле.

ВЕТЕР, КОТОРЫЙ УМЕР

Зима, как седой игумен,
Обходит с крестом поля.
Безветрено... Ветер умер.
Осталась лежать земля.

В квартире моей, как в трюме,
Не слышно ни вьюг, ни пуль.
«Ты знаешь, что ветер умер?» –
Шепнула старушка-тюль.

Навязчиво длинный зумер
Похож на собачий вой:
Так ветер, который умер,
В саду шелестел листвой.

Сосед оставляет бумер
Чернеть у моих окон;
О том же, что ветер умер,
И думать не думал он.

Ему хорошо на свете:
Он шарит, чего и как.
Подумаешь, умер ветер! –
Зато не грозит сквозняк.

Грехи, если взять их в сумме, –
Всеобщей равны вине.
Но ветер, который умер,
Приходит ко мне во сне,

Страшая угрюмой думой,
Мешая дышать и жить.
Я с ветром, который умер,
Совсем не хочу дружить.

А ветер готовит сети,
Предчувствуя страшный час,
Когда умирают дети
Ещё до рожденья нас.

Плод истины ищет Фауст.
Пастух стережёт ягнят.
Наш мир – как большой артхауз,
Что Богом вчера отснят.

И снова приходит зритель
Из грамотных простофиль:
Смотрите, друзья, смотрите
Жестокий и грустный фильм

О том, что пророк безумен,
Как Будда у бодхисатв;
О ветре, который умер,
Но так и не предал сад.



О том, что в родном кювете
Никто никого не спас...
Спаси меня, мёртвый ветер,
Хотя бы на этот раз!

В угаре всеобщей дури,
Как выстрел на слове «Пли!»,
Воскресни великой бурей –
И Землю смети с земли.

ОСТРОГ

городу Острогу

В этом городе первый луч зажигают в пять –
В тот момент, когда гаснет в замке князей звезда.
Если я, наконец, позволю себя распять, –
Перед тем, как меня распнут, я приду сюда.
В этом городе под костёлами камыши
Изучают, шурша веками, за пядью пядь.
Здесь философ находит сердце своей души,
А художнику не с кем выпить, но есть с кем спать.
От двора до двора, как сеть, растянув фальцет,
Петухи здесь футболят солнца пшеничный шар.
Здесь в аптеке живёт таинственный фармацевт
И для всякой болезни варит крутой отвар.
Переулками бродит мартовский инвалид
И свою Галатею лепит из глины льда.
Надвигается ночь... Луна в небесах болит...
Зажигается снова в замке князей звезда –
И смыкается круг. Всё сказано. Всё прошло.
Есть старинный закон Вселенной, где все равны:
Кто изведал добро, до дна постигает зло

И несёт свой острог на хрупких плечах весны.

ПУШКИНСКОЕ

На холмах Грузии лежит ночная мгла...

А.С. Пушкин

На мхом дождя заросшее стекло
Последний луч спускается, как плеть.
Стоят часы.
В душе моей – светло.
Я ухожу. Мне не о чем жалеть.

Пропойца-март кабак задел плечом.
Волшебный факел потушил факир.
Арагвы нет. И Пушкин – не при чём:
Мы с ним давно убили этот мир.

Из всех друзей надёжен только враг.
Любой позор по сути есть почёт.
Я верю в то, что среди всех арагв
Одна моя от устья ввысь течёт,

Впадая Там в Семью Небесных Рек,
Что, в буре выжив, сделались тихи...
Смеётся ангел. Плачет человек.
Стоят часы.
Рождаются стихи.

ИЛЬЯ КРИШТУЛ

ЛЕДОРУБ ТРОЦКОГО рассказы

ПРАВИЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Алексей Чижов был очень правильным мужчиной. Уходя, он гасил свет, водоёмы не засорял, мусор всегда сортировал, а отработанные энергосберегающие лампы сдавал в специализированные организации для переработки и обезвреживания. Он, кстати, единственный россиянин, который знал адреса этих специализированных организаций. Алексей не купался в водоёмах, в которых купание запрещено и не ходил по газонам, никогда не заезжал в магазины на роликовых коньках и уж тем более не выходил в двери, на которых написано «Выхода нет». В страшном сне он не мог себе представить, что поставит сумку на витрину или перейдёт дорогу в неполюженном месте, попросит справку там, где справок не дают, а размена там, где размена нет. Однажды Алексей увидел человека, заходящего в зал после третьего звонка, и ему стало так нехорошо, что ни в какие залы он больше не ходил. И, разумеется, он не трогал руками экспонаты, не заходил ни за какие ограждения, ежемесячно оплачивал по ЕПД сумму платежа, указанную в графе «Итого с учётом страхования» и хранил все квитанции в течение трёх лет с момента оплаты, для чего даже выделил отдельную комнату в своей двухкомнатной квартире.

И в это утро всё было так, как всегда. Алексей собрался на работу, проверил, не оставил ли он включёнными электро- и нагревательные приборы, выгасил все шнуры из всех розеток, перекрыл газ с водопроводом и только после этого покинул своё жилое помещение. Подойдя к лифту, он нажал кнопку вызывного аппарата и посмотрел, загорелся ли индикатор. После автоматического открывания дверей, убедившись, что кабина находится перед ним и что это действительно кабина, а не её имитация, Алексей зашёл внутрь и нажал кнопку нужного ему этажа.

На улице, в ожидании подвижного состава трамвайного парка и имея при себе предмет со световозвращающимся элементом, Алексей минут двадцать обеспечивал видимость этого предмета водителями транспортных средств, за что много раз был этими водителями матерно обруган. К ругани в свой адрес Алексей давно привык и не обращал внимания, к тому же ему было не до ругани – недалеко он заметил агрессивно настроенную группу граждан и стал искать сотрудника полиции, чтобы немедленно сообщить ему об этом. Сотрудника полиции поблизости не оказалось, но, к счастью, члены агрессивно настроенной группы граждан оказались пешеходами, которые хотели стать пассажирами какого-либо маршрутного транспортного средства и выражали своё негодование по поводу невозможности этого сделать.

Вскоре должжданное средство городского наземного транспорта, оборудованное системой АСКП, подошло, наконец, к посадочной площадке и Алексей, дождавшись его полной остановки, вышел на проезжую часть с целью посадки. После валидации проездного билета Алексей не стал задерживаться возле турникета, а прошёл в середину салона, где начал заблаговременно готовиться к выходу, искать оставленные другими пассажирами вещи и во избежание травм держаться за поручни, одновременно проверяя, не загрязняет ли его одежда одежду других пассажиров. За этими делами время пролетело незаметно и транспортное средство общего пользования, двигаясь по специально проложенному маршруту, прибыло на конечную станцию. Заранее подав сигнал водителю нажатием кнопки звонка, Алексей покинул подвижной состав и направился к наземному вестибюлю станции метрополитена.

Люда сидела на газоне напротив входа в метро и пила пиво. Глаза, распахнутые серые глаза насмешливо взирали на торопливых суетящихся людей, но людям, опаздывающим на службу, было не до чужих глаз. Взгляд этот заметил только Алексей и у него так заныла душа, что он забыл и правила пользования метрополитеном и даже с какой целью он хотел им воспользоваться. Никогда, никогда раньше Алексей не видел таких глаз. Он не мог больше находиться в условиях увеличенных пассажиропотоков и, впервые в жизни пройдя по газону, подошёл к Люде и молча присел рядом. «Хочешь пива», – то ли спросила, то ли приказала она. «Пива хочу», – то ли ответил, то ли попросил он. Потом они курили, потом, нарушая все правила дорожного движения, перебежали улицу и покупали ещё пива, потом он рассказывал ей свою жизнь, а она хохотала. А потом пошёл дождь...



На окраине большого города, под мостом через реку, живут два счастливых человека. Им никогда и никуда не нужно являться в течение трёх рабочих дней. За их вещи, не сданные в гардероб, не несёт ответственности никакая администрация. Они никого и ни о чём не обязаны в десятидневный срок письменно уведомлять. Их исключили из списков для голосования, к ним не приходят агитаторы, а полицейские не требуют показать паспорта. Они не знают, кто мэр их города и даже путаются в президентах страны. Им не нужно в течение недели оплачивать всякие задолженности. По утрам они смеются, а по вечерам смотрят на воду и лес напротив. Лишь иногда, в полнолуние, один из этих счастливых людей просыпается в холодном поту от собственного крика. Он смотрит в испуганные серые глаза и виновато шепчет: «Опять этот кошмар...» Уже давно в каждое полнолуние ему снится один и тот же сон, жуткий сон про размагничивание проездного билета от того, что он хранился рядом с ключами и другими металлическими предметами. Он долго сидит и курит, отгоняя страшные мысли о последствиях размагничивания, а потом засыпает, запутавшись в волосах своей любимой. До следующего полнолуния ему ничего не будет напоминать о прошлой жизни...

«Может быть, жить нужно именно так, по своим правилам?» – подумал я и, ощущая себя бунтовщиком, не поднял полы длинной одежды при входе на эскалатор. Мой бунт, бессмысленный и беспощадный, был задушен в зародыше. У меня больше нет длинной одежды с полами, а эскалатор, даже не заметив этого, всё также бежит вниз, увозя куда-то пассажиров, стоящих справа лицом по направлению его движения... И никогда никто из них не бросит на лестничное полотно и балюстраду никакого постороннего предмета...

Интересно, а брошенная жизнь – это посторонний предмет?..

ПРО ЮРКУ И ЛЕОНИДА

Юрка жил далеко на Севере в покосившейся избе, которая отапливалась дровами. Дрова Юрка брал прямо там же, в избе, отчего она постоянно уменьшалась. Электричества у него не было, зато был телевизор, который Юрка любил смотреть долгими зимними вечерами. Телевизор был похож на трёхлитровую банку и показывал солёные огурцы, ну и по праздникам помидоры. Странно, что передача про помидоры обычно заканчивалась очень быстро и с песнями, а про огурцы шла постоянно, но без звука. Скотины у Юрки не было, даже жены, была раньше собака по кличке Собака, но ушла от такой жизни в тайгу, где и сгинула на болотах. Юрка ходил туда, искал её, звал, но нашёл только два гриба и много ягод, которые продал на станции проезжающим поездам. Вырученные деньги Юрка потратил с толком – купил водки, сигарет, ну и там по мелочи – ещё водки и сигарет. Потом, спрятав покупки под кровать, Юрка налил себе стакан, закурил и вышел на крыльцо. Мимо прошло стадо коров, лето, потом соседка баба Таня и осень. Надо было идти растапливать печку, но Юрка всё не уходил с крыльца. Что-то в его жизни неправильно, думал Юрка, но что? Может, она, его жизнь, уже прошла мимо, как это стадо коров? И после неё тоже остались следы в форме лепёшек? Или, может, всё ещё можно изменить? Мысли уносились в холодное небо, сталкивались там с падающими звёздами и исчезали, Юрка замёрз, зашёл в избу и сел смотреть телевизор с огурцами. А потом он лёг спать.

Леонид жил в Москве, в Лондоне и по выходным в Ницце. Работал он хозяином нефти какого-то большого края, названия которого так и не научился выговаривать. Хозяином нефти Леонид стал случайно – пошёл в баню с одним большим человеком, а тому прямо туда позвонили, так, мол, и так, нефть нашли, а чья она, непонятно. Кому отдавать? А в парилке, кроме Леонида, никого. И в предбаннике никого. В комнате отдыха, правда, две массажистки дежурили, но им и так хорошо заплатили, к тому же они иностранки были, из Украины. Большой человек посмотрел на Леонида, выпил и отдал ему эту нефть. Только попросил делиться иногда, ну и денег на всякие нужды государственные давать. Леонид исправно делился и его за это никто не трогал, даже очень серьёзные люди «не скажу-откуда». А сейчас Леонид лежал на палубе своей яхты, пил дорогое вино, смотрел на звёзды и, если звезда падала, загадывал желание. Мимо прошли «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная», острова Французской Полинезии и пятнадцать лет жизни. Леонид допил вино, загадал последнее желание и уснул.

Проснулся Леонид далеко на Севере в покосившейся Юркиной избе. А Юрка проснулся на яхте Леонида, в окружении пустых бутылок из-под дорогого вина. Леониду сначала всё очень понравилось – природа, тишина, никаких «Мисс», только холодновато и соседка баба Таня вечно похмелиться просит, говорит, что под кроватью есть. Он даже в сельмаг как-то сходил, хотел купить ей дорогого вина, но вернулся расстроенный. Ну а Юрке тем более всё понравилось, хоть он и не понял ничего. Он в бар с палубы спустился и зажил там вместе с барменом. Жаль только, что бармен по-русски не очень говорил и телевизор у него не огурцы показывал, а какие-то двигающиеся картинки. А огурцов вообще не было, про помидоры Юрка и не спрашивал.

Прошло время. Леонид давно стоял на крыльце Юркиной избы и смотрел на небо. Он ждал падающую звезду, но на Севере звёзды падают реже, чем на Юге – боятся упасть в болото, передавить клюкву и утонуть, не принеся никому счастья. А Юрка тоже давно стоял на палубе яхты Леонида и смотрел в никуда. Он ничего не ждал, он просто испугался, что баба Таня нашла его сокровище, спрятанное под кроватью, и похмелилась им. Вокруг был океан, Юрка не понимал, где его изба, как он



очутился на этой яхте и как ему добраться домой. А потом к нему подошли «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная», стали ругаться, требовать отвезти их в Париж и дать денег за три месяца. Юрка с женщинами был суров и послал их, но не в Париж, а намного ближе. Он с женщинами всегда так разговаривал, без этого на Севере не проживёшь, там бабы непонятливые, сразу всё выпьют. Но «Мисс Мира» оказалась ещё непонятливее и залепила Юрке в ухо, а пока он падал в океан, расцарапала лицо «Мисс Вселенной» и стала звонить какому-то Руслану, чтоб он забрал её отсюда. Зато далеко на Севере баба Таня не ругалась и денег ни у кого не требовала. Она просто топор взяла и Леонида по голове легонько тюкнула. Потом под кровать залезла и всё оттуда выпила, даже какой-то стеклоочиститель.

Очнулся Леонид на своей яхте, недалеко от Марселя. Голова, конечно, немного болела, но Леонид не стал обращать на это внимания. Он расплатился с «Мисс Мира» и «Мисс Вселенной», отправил их в Париж, выучил название своего нефтяного края, отослал бабе Тане на Север ящик французского коньяка и велел капитану яхты поворачивать в сторону России. А Юрка проснулся далеко на Севере, в своей избе. Он вышел во двор, улыбнулся – впервые за много лет! – и пошёл к бабе Тане, делать ей официальное предложение. Баба Таня была с похмелья, поэтому предложение приняла и вовремя подоспевший ящик французского коньяка был выпит всей деревней за двадцать минут под лучок и варёные яйца. А после свадьбы Юрка ушёл в тайгу искать нефть. И нашёл.

Прошло много лет. Леонид жил в нефтяном крае в простом доме и работал простым нефтяником. Яхту он давно продал, нефтяной свой край отдал обратно государству, а дома в Ницце и в Лондоне у него купил разбогатевший Юрка. Юрка, кстати, и нефтяной край себе забрал – государству, видно, не пригодилось. На звёздное небо ни Леонид, ни Юрка не засматривались – у Леонида уже давно не было никаких желаний, а Юрке это просто не нужно было, он все свои желания выполнял сразу, без помощи падающих звёзд. Вот только от жены он никак не мог избавиться, от бывшей бабы Тани, которую он, на свою беду, светской львицей сделал. Да она уже и не бабой Таней была, а Танечкой, гламурным лицом страны. Такое вот лицо у страны оказалось, с силиконовыми губами.

И однажды прилетел Юрка в свой нефтяной край по каким-то пустяковым делам. Может, зарплату получить. А Леонид зарплату уже получил и, наоборот, улетал куда-то. Скорее всего в отпуск, в Турцию, «три звезды» и «всё включено», больше-то в России отдыхать негде. И чёрт дёрнул Юрку с простым нефтяником пообщаться. Никогда не общался и вдруг захотел. Вышел он из ВИП-зала на улицу, дошёл до общего здания, а там у входа Леонид стоит, курит. Посмотрели они друг на друга. . . Долго смотрели, прямо глаза в глаза, и только хотели на небо взглянуть, как тут Танечка прибежала с Юркиными охранниками. Такой крик подняла. . . Юрку в лимузин засунули, Леонида в самолёт проводили без очереди. . . А с неба как раз две звезды скатились, яркие-яркие. И долго так летели, будто ждали чего-то, но ни Юрка, ни Леонид их уже не видели. Да если б и увидели, что б изменилось? Юрка всё равно свой нефтяной край никому бы не отдал, ни Леониду, ни, тем более, государству, а у Леонида при виде Танечки одно желание появилось, но он быстро одумался. К тому же Танечка эти звёзды тоже увидела и свои желания загадать успела. Так что нефти на её век хватит. И силикона тоже. А счастье. . . А счастье далеко на Севере осталось, в болотах с клюквой, но никто из них об этом не знает. . . И, как это часто бывает, никогда не узнает. . .

ЛЕДОРУБ ТРОЦКОГО

Телефон зазвонил резко, противно и неожиданно, так как был отключен три месяца назад за неуплату. К тому же было рано, часов двенадцать, и я, причисляющий себя к творческо-креативному гламурному бомонду, то есть к безработным иждивенцам, ещё спал.

– Масюкевич, Максим Александрович? – голос в трубке был тоже резкий, противный, но властный.

Я ответил, что я это я.

– Вас беспокоят из администрации президента России, моя фамилия Татаринов, – продолжил голос.

– А президента России как фамилия? – спросил я.

– Мы вам телефон не для шуток подключили, Максим Александрович, – в голосе послышались стальные нотки. – Дело в том, что ваш дом очень удобно расположен. У вас же Первомайская, тридцать семь?

Я кивнул.

– Первый этаж?

Я снова кивнул.

– Всё правильно. Ваш дом единственный, стоящий в глубине. Можно отследить подъезды, плюс спортплощадка, детская площадка, он это любит, в общем, по нашему мнению и мнению охраны, идеальный вариант. Запоминайте – через неделю к вам неожиданно для вас, для нас и для всей страны в гости заедет президент. – Татаринов немного помолчал и продолжил. – Будет проезжать мимо и заедет. Вы понимаете, какая это честь и, в тоже время, ответственность?

Я задумался. У меня вчера в гостях Марат был, одноклассник, вот это была ответственность, не знаю, правда, насчёт чести. Сто двадцать килограмм живого веса, постоянно норовящие упасть то на стол с напитками, то на аквариум с рыбками.



– А как я его узнаю, президента вашего? – наконец спросил я.

– Во-первых, не только нашего, но и вашего тоже, – ответил Татарinov. – А, во-вторых, вы что, не знаете в лицо президента страны? Телевизор у вас есть?

Телевизор у меня был, но работал как тумбочка, что-то с ним случилось лет пять назад, а мастера вызвать времени нет. Я так этому Татаринovu и ответил.

– Хорошо. Через час к вам придут наши сотрудники, ожидайте. А я приеду вечером, побеседуем.

Через час у меня под окном припарковалась неприметная «Газель» с надписью «Школьные завтраки», из неё вышли несколько человек и, не обращая внимания на домофон, зашли в подъезд. Я не стал дожидаться звонка, открыл дверь и сразу получил замечание.

– А вот дверь без звонка больше не открывайте, – сказал стоящий первым усатый мужчина в очках. – У вас теперь не личная и приватизированная квартира, а государственный объект. Теперь здравствуйте. Меня зовут Сергей Леопольдович, я ваш куратор на эти семь дней. И ещё насчёт двери. Вообще до визита президента к ней не подходите. Вы кого-то ждёте?

– Вас ждал, – честно ответил я.

– Это приятно, нас мало кто ждёт. – Сергей Леопольдович хмыкнул и продолжил. – Познакомьтесь.

Ко мне подошла миловидная женщина с холодным взглядом и улыбнулась. От её улыбки у меня в голове застучал ледоруб Троцкого, а под окном проехал грузовик режиссёра Михоэлса.

– Татьяна Борисовна, – представилась женщина, – сестра вашей жены.

– Э... – сказал я, а заговорил Сергей Леопольдович:

– Президент захочет попить чаю с ватрушками, кто его будет угощать? Вы умеете печь ватрушки? А стол накрыть, тут же будет телевидение, первый канал, второй, журналисты... И что у вас с ванной, вдруг он захочет руки помыть...

И Сергей Леопольдович пошёл в сторону ванной.

– Я насчёт жены... – кинулся я вслед за куратором. – Я же вроде как...

– Успокойтесь, Максим Александрович, – остановила меня новая родственница. – Ваша жена придет через минуту и только на неделю, очень симпатичная девушка Лена. И давайте на «гть», нам работать вместе. Я, кстати, приехала из Балашихи, в гости к сестре. Работаю в страховой компании, менеджер. А вот и Лена.

Моя жена действительно оказалась симпатичной высокой блондинкой, и я решил сразу пошутить по поводу отдачи супружеского долга. К счастью, меня опередили.

– Майор ФСО Крутлова, – после этой фразы ледоруб Троцкого снова застучал в моей голове, где-то вдалеке заиграл радиоприёмник барда Галича и шутить расхотелось. – Прикомандирована к вам в качестве супруги. Показывай, муж, где у тебя что. Осваиваться будем...

Остаток дня мы осваивались, а вечером, как и обещал, приехал Татарinov. С ним приехали рабочие, сразу приступившие к ремонту ванной, и почти новый телевизор. Татарinov осмотрел квартиру, поговорил наедине с моими родственницами, с Сергеем Леопольдовичем и, видимо, остался доволен. Потом он подарил мне портрет президента в дорожной рамке, и мы сели пить чай с ватрушками. Ватрушки были вкусны, чай сладок, но я не обращал на это внимания. Меня тревожила дальнейшая судьба телевизора, прекрасного плазменного телевизора со встроенным DVD. Оставят ли его мне после визита, ведь мой старый телевизор они уже вынесли на помойку? Или он на балансе ФСО и они возят его по всем квартирам, которые посещает президент? А может, это вообще личный телевизор президента?

– О чём вы думаете, Максим Александрович? – вдруг спросил Татарinov. – Вам не нравятся ватрушки? Или вы не хотите помочь нам, а значит, и своей Родине?

И вновь застучал в голове ледоруб Троцкого, и раскрылся отравленный зонтик болгарина Маркова. Я решил оставить вопрос о телевизоре на потом, откусил ватрушку и ответил:

– Ватрушки нравятся. Помочь хочу. Просто я подумал, что есть более достойные люди... Вот надо мной, Паша и Маша, он банкир, она домохозяйка, двое детей... Я у них займы часто беру...

– Второй этаж не подходит. Он там будет как мишень в тире. К тому же президент страны в гостях у банкира – это не очень правильно, ему ж займы не нужно. А семья хорошая, мы знаем. Итак, президент придет к вам утром и пробудет пятьдесят минут...

– У нас здесь по утрам пробки... – вставил я.

– В это утро пробок не будет, – твёрдо сказал Татарinov. – Да, совсем забыл – вам знакома гражданка Вережанская Виолетта Павловна, пятьдесят первого года рождения?

– Да, знакома...

– Шла к вам, мы попросили этого не делать. Проживёте неделю без гражданки Вережанской, к тому же пятьдесят первого года рождения?

– Проживу, конечно. Телевизор буду смотреть...

Но мой слабый намёк остался без внимания и Татарinov, достав из портфеля какие-то бумаги, продолжил:

– Вот запись вашей непринуждённой беседы. Главное – вам, как представителю творческой интеллигенции, нравится отношение президента к культуре, поэтому вы поддерживаете все его начинания. Вот список начинаний. Теперь жалобы. Их у вас одна – вы недовольны ростом тарифов ЖКХ,



он отвечает, что только что подписал указ... Ну, словом, как всегда отвечает. Вот текст жалобы. Дальше наша-ваша жена наливает чай, угощает президента ватрушками, которые сама испекла, президент пьёт, благодарит, встаёт, спрашивает, есть ли у вас какая-нибудь личная просьба к нему, как к президенту страны. Тут важно – вы отвечаете, что есть. Потом импровизируете, вот текст импровизации. Президент благодарит, уезжает, вы с чистой совестью приглашаете постаревшую ещё на неделю гражданку Вережанскую. Всё понятно?

– Понятно, – ответил я и взял отпечатанные листки с начинаниями, жалобой, импровизацией и непринуждённой беседой. – Это всё наизусть учить?

– А вы, Максим Александрович, сами как думаете? – спросил Татарин с интонацией, от которой застучал, застучал в голове ледоруб Троцкого, а перед глазами закачалась петля поэта Есенина.

Спалось мне в эту ночь плохо. Во-первых, жутко храпела на своей раскладушке моя жена, майор ФСО Круглова, а, во-вторых, два молчаливых мужика, дежурившие в прихожей, каждые полчаса заглядывали в комнату и обводили её тяжёлым взглядом. Проснувшись с ощущением лёгкой арестованности, я посмотрел на президента в дорогой рамке, поздоровался с ним и вышел на кухню. Жена-майор уже приготовила завтрак, сестра майора мыла сковородку, два молчаливых мужика в прихожей сдавали дежурство двум другим молчаливым мужикам, а за окном... За окном творилось необыкновенное. Свежевыкрашенным фасадом сиял дом напротив. Вокруг детской площадки за ночь выросли голубые ели, а на самой площадке дети с радостью катались на аттракционах, вывезенных, судя по всему, из Диснейленда. На спортплощадке играли в футбол ребята в костюмах-тройках и тёмных очках, переговариваясь между собой по рациям. Подтянутые, голубоглазые и светловолосые дворники мыли шампунем только уложенный асфальт, а молодые мамы с пустыми колясками ходили одновременно на женскую сборную России по самбо и участниц конкурса красоты. Редкие прохожие в плащах и шляпах совершенно не были похожи на прохожих, а выглядели, если честно, как сотрудники ФСБ. Но я не стал об этом никому говорить и сел завтракать.

И вот, наконец, наступил день визита. В пять утра меня разбудила собачка спаниель, деловито обнюхивающая комнату, и её хозяин, делающий то же самое. Из кухни доносился аромат свежевыпеченных ватрушек и, дождавшись, когда человек с собакой обнюхают каждый сантиметр комнаты, я встал, дружески кивнул портрету и пошёл бриться-умываться, повторяя про себя текст беседы с президентом. Потом я пил кофе, получая последние инструкции и наставления, надевал новый спортивный костюм и помогал прибывшим заранее телевизионщикам расставлять их аппаратуру, которая, кстати, расцарапала мне весь линолеум. А ровно в 9.58 моя квартира неожиданно опустела, и через минуту во двор въехал кортеж президента.

Президент оказался приятным молодым человеком, извинился, что заехал без предупреждения, с удовольствием ел ватрушки, много шутил про глубокую модернизацию и инновации, рассказал анекдот про нанотехнологии, чем ужасно рассмешил мою жену-майора, спросил у меня совета по поводу реформирования госструктур и внимательно выслушал жалобу на ЖКХ. Ответив точно по сценарию, что он только что подписал об этом указ, президент съел пятую ватрушку, встал и спросил, глядя в глаза мне и одновременно в объективы всех телекамер:

– Ну а какая-нибудь личная просьба ко мне, как к...

– Есть, – твёрдо ответил я, недослушав президента, и ледоруб Троцкого занёсся над моей головой, и в лицо уже летела струя цианистого калия националиста Бандеры. – Есть. Вы мне телевизор не оставите?

Проснулся я от непривычной тишины, но, к счастью, в своей кровати. Первое, что я увидел, был мой старый телевизор, стоящий на своём месте и выполняющий роль тумбочки. На нём лежало письмо-уведомление о повышении тарифов ЖКХ в два раза. Я вскочил и выбежал на кухню. Нет, никаких следов визита президента не было, даже ватрушечных крошек, даже царапин на линолеуме от телевизионной аппаратуры, да и за окном... За окном всё было как всегда – на спортплощадке выпуливали своих собак соседи, гортанно переговаривались дворники-хлопкоробы, а на детской площадке, на качелях, поставленных ещё пленными немцами, сидела пара алкашей с бутылкой. «Как же так...» – подумал я, а вслух сказал:

– Как же так? Что ж это за власть такая, которая обманывает свой народ даже во сне? Власть во главе с президентом, который богатеет на бедах своего нищего народа! Указ о ЖКХ он подписал... Нет, только переворот, только революция спасёт эту страну от гибели! И если надо возглавить это революционное движение, то я...

В комнате раздался непонятный звук, как будто что-то упало-разбилось и одновременно зазвонил дверной звонок. Я пошёл открывать, по дороге заглянув в комнату, и... Холодная липкая струйка медленно протекла по спине, а ужас заставил закрыть глаза. На полу, в осколках от разбитого стекла, лежал подаренный Татариновым портрет президента в дорогой рамке. В дверь продолжали звонить, и я уже знал, кто за ней стоит, сжимая в руках ледоруб Троцкого. На ватных ногах я добрёл до двери, сказал последнее «прощай» своему отражению в зеркале, повернул ключ, зажмурился и прикрыл голову в ожидании удара. Но удара не последовало.

– Ты чего? – раздался голос Вережанской Виолетты Павловны, пятьдесят первого года рождения и я открыл глаза.

Действительно, это была Виолетта Павловна, удивлённо глядящая на меня, а у её ног стояла запечатанная коробка с плазменным телевизором со встроенным DVD.



– Опусть руки и занеси телевизор, – скомандовала Виолетта Павловна.

– Откуда он у тебя? – слабо спросил я.

– Государство подарило, на шестидесятилетие и сорокалетие трудовой деятельности. Там, на коробке, и наклейка специальная.

Действительно, на коробке была яркая наклейка с надписью «В. П. Вережанской в день шестидесятилетия от благодарного государства».

– У меня же два телевизора есть, этот решила тебе отдать, а то живёшь, как в пещере, ни одного сериала не видишь, – продолжала говорить Виолетта Павловна. – С тобой и обсудить скоро нечего будет...

И я занёс коробку в квартиру.

Вечером мы лежали и смотрели «Новости». Показывали президента страны, который в каком-то городе зашёл в гости к простым людям и долго с ними беседовал, угощаясь ватрушками.

– Всё-таки хороший у нас президент, и государство хорошее. Всё для народа делают – телевизоры дарят, ватрушки едят... – пробормотала в полусне Виолетта Павловна. – Правда ведь?

Я вспомнил про яхты олигархов и про нищих пенсионеров, вспомнил про вымирающие деревни и пятиэтажные коттеджи чиновников, про тарифы ЖКХ и зарплату начальника этого ЖКХ... Но ледоруб Троцкого стучал в моей голове, ледоруб Троцкого, и так уютно бубнил новый телевизор...

– Правда, – ответил я Виолетте Павловне, посмотрел на портрет президента в дорогой рамке и громко добавил, – завтра надо стекло вставить. И рамку подороже купить.

Теперь я знал, что буду жить долго. И, может быть, счастливо.

СЕМЁН КАМИНСКИЙ

МАМА ПАСЮКА рассказ

Большая перемена уже подходила к концу, когда по команде Конькова несколько пацанов отшвырнули недокуренные сигареты, неожиданно схватили Пасюка и, повалив на заплёванную деревянную скамейку, врытую возле оранжереи, стали сдирать с него штаны. Пасюк пискляво орал и дико вырывался. Всю эту сцену со смешками рассматривали стоящие неподалеку девчонки, но от школы скамейка была не видна из-за высоких кустов, так что помощи ждать было совершенно неоткуда. Штаны сняли не совсем, только стащили на ботинки, предъявив миру белые, худосочные пасюковские ноги и расхлябанные «груханы» в мелкий жёлто-фиолетовый цветочек – и тут оглушительно заверещал звонок. Девчонки ушли, и так как продолжать процесс без зрителей уже не было смысла, Пасюка отпустили. В класс он вернулся самым последним, всё ещё красным и потным, и, ни на кого не глядя, проскочил на своё место. Марк Давидович стоял к классу спиной и вообще ничего не заметил, продолжая скрести по стеклянной доске.

Большая, разговорчивая мама Пасюка была председателем родительского комитета. Она нередко появлялась в школе, с неизменным рвением совершая разные, полезные, по её мнению, дела. Так что если бы кто-то хоть намекнул ей на издевательства, регулярно совершаемые над её сыном, крику было бы немало. Но молчали все. И девчонки, и сам Пасюк.

Впрочем, даже если бы мама Пасюка и начала кричать, Конькова всё равно трудно было бы наказать. Коньков неплохо учился и никогда сам ничего дурного не совершал – только подавал идеи и отдавал распоряжения. Был он улыбочивый во весь красивый тонкогубый рот, лёгкий, слушаться его было приятно. Жил с матерью и старшим братом, недавно окончившим вуз. Мать работала медсестрой, молодо и модно выглядела и, по словам Конькова, «пользовалась повышенным потребительским спросом». Её часто не было дома, а брат устраивал занятные вечеринки с ласковыми подружками, и даже Конькову-младшему иногда перепали их ласки, по крайней мере, он хвастался этим на скамейке возле оранжереи с такими воспитательными подробностями, что мальчишки напряжённо хихикали и встать со скамейки сразу не могли.

Над Пасюком продолжали прикалываться всячески: после физкультуры, в самый неподходящий момент, затолкнули в женскую раздевалку, стащили у кого-то из девчонок перламутровый лак для ногтей и залили Пасюку прямо в портфель, а теперь вот и штаны сняли на виду у всех. При этом сочувствия Пасюк ни у кого не вызывал, ну абсолютно ни у кого. И хотя по утрам он вроде всегда приходил чистый-наглаженный, только брюки и пиджак коротковаты, в середине дня он уже выглядел помятым, белёсые волосики на голове – торчком, кругленькая сосредоточенная физиономия – в лиловых пятнах, и дух от него – якобы – шёл нехороший, с ним даже сидеть за одной партой никто не хотел. Любимой шуткой Конькова было громко и неожиданно заявить проникновенным басом прямо посередине урока (особенно эффектно это получалось на уроке молодой исторички): «Ирина Валентиновна, откройте, пожалуйста, окно, а то Пасюк тут так подпустил, что дышать – фу-у! – совершенно невозможно!» И Пасюк лиловел ещё сильнее, и класс гоготал, и Ирина Валентиновна, смущённо прервав объяснение на полуслове, начинала дёргать заедавшую оконную створку...

Когда за очередной пациенткой закрылась дверь, медсестра Альбина Конькова что-то сказала врачу.

– Что вы сказали, Альбиночка? – переспросил гинеколог женской консультации Ю.С. Половинкин, снимая очки и отрываясь от писанины в медицинской карточке. – Ваш сын учится в одном классе вместе с сыном этой женщины?.. Этого, знаете, не может быть... ну, в смысле, её сына. Она же у нас нерожавшая... И не могла она рожать: проблем у неё там – полна, как говорится... гм... коробочка. Сын-то, выходит, приёмный. Приёмный, Альбиночка. И никто, получается, об этом не догадывался? Вполне вероятно... Бывает, дорогая, бывает, вы же знаете: одни извлекаются, как от лишнего, а другие хотят, да Бог не даёт... мы-то с вами много чего эдакого знаем... И, безусловно, распространяться об этом никому не стоит – ни в коем случае!.. Пригласите следующую больную, пожалуйста.



– Ах, Ирина Валентиновна, – печально произнёс Коньков на вопрос учительницы, почему он сидит, положив понурюю голову на сложенные руки, а не записывает новый материал, – вы, наверно, не знаете... А я так переживаю. Наш Пасюк, он же, бедняга, не родной сын своих родителей...

– Как – не родной? – обомлела Ирина Валентиновна, повернувшись к Пасюку. – Мы же его маму знаем...

– Да, – продолжал Коньков, ещё более проникновенно, – маму Пасюка мы знаем... только она ему не мама, вернее, не родная мама. Он – приёмный сын, сирота, – голос у Конькова прямо пресёкся от жалости к товарищу, – и он этого даже сам не знал. Они от него, представляете, это скрывали. Всю жизнь. Всю жизнь! А мы-то думали, почему он так на своих родителей не похож? И вот, оказывается, что-о!..

– Ну что ты такое говоришь? – пыталась возразить Ирина, растерянно переводя взгляд то на Конькова, то на класс, то на Пасюка. – Откуда это такое стало известно?

– А вот, к сожалению, как-то стало, – совсем горестно вздохнул Коньков, – хотя, конечно, я бы не стал травмировать несчастного приёмщика лишними вопросами. Правда, Пасюк? – и он тоже повернулся к Пасюку. – Это же такая беда...

И все смотрели на Пасюка. А тот, даже не лиловый, как обычно, а уже почти синий, вдруг заулыбался – слабо, кривенько, непонятно чему – вроде разглядел что-то на доске или на портретах известных людей над ней.

Ирина Валентиновна подошла к Пасюку и сначала приподняла руку, как бы решив его погладить, но потом только тихонько сказала:

– Может быть, тебе надо выйти, Пасюк?.. Ты выйди, выйди, можно...

Никто из родных Лильки и не думал, что она вообще когда-нибудь выйдет замуж. Не то чтобы она уж очень была некрасива в девицах, но как-то всего было у неё чересчур много: и немалый рост, и внушительная грудь, и плотные покатые плечи, и пышные чёрные волосы, и широкое плосковатое лицо. «Большая девочка», – вздыхал её миниатюрный папа-сапожник, когда она тяжеломерно топала мимо его будки, возвращаясь из школы с неизменной круглой булочкой в руке. Предполагалось, что учиться Лилька будет в ПТУ, на оператора станков с числовым программным управлением, но она устроилась на какую-то конторскую службу. Заочно окончила библиотечный институт в Харькове, уехала работать в библиотеку маленького военного городка в Казахстане и там вышла замуж за совсем немолодого капитана, такого же чернявого и шуплого, как её папа. Лет ей уже было хорошо за тридцать, когда они поженились, но ведь вышла всё-таки!.. И человек, смотри, попался достойный – всё тихим голосом: «Лилия, ты не могла бы мне простирнуть зелёную рубашку?», «Лилия, не считй за труд налить чашку чаю», «Лилия, как ты скажешь, так и сделаем»... Ну просто кино – и не верить!..

Беда после открылась: детей у них никак не получалось родить – и два, и три года, и пять лет после свадьбы. Лечились-консультировались множество раз: Лилия самоотверженно внимала советам, настойчиво глотала таблетки и выполняла все предписания – причём старалась не только она, но и её капитан, которому тоже пришлось пройти кучу малоприятных обследований и процедур, но ничего из этого не вышло.

Капитана (а потом и майора) стали мотать по стране, и Лилька наездила с ним вдоволь. Поздней ветреной осенью, во время одного из таких, уже ставших привычными переездов из одной части в другую, они сошли с поезда на крохотной станции со своими тремя дерматиновыми чемоданами, испаряющимися до белизны вдоль и поперёк. Шёл назойливый мелкий дождь, обещанная машина из части ещё не пришла, и в пустом, прокуренном зальчике ожидания Лилька сразу увидела на скамейке свёрток из сиреневого байкового одеяла. Свёрток издавал квакающие звуки, рядом стояла железная кружка, оттуда торчала бутылочка с соской, и молока в бутылочке было на треть. Кто это всё здесь оставил, установить не представлялось возможным: в зальчике никого не было, окошко кассира казалось закрытым навечно, а мужичок в железнодорожной форме мгновенно исчез куда-то с перрона, как только поезд, после пятиминутной стоянки, отошёл. Но когда Лилия развернула свёрток, то ничего устанавливать уже не захотела и только выдохнула: «Будет наш!», решительно определяя подкидыша в их семью.

Майор был совершенно ошеломлён таким поворотом событий. Он постоял на перроне. Поглядел в одну, в другую сторону, на мокрые рельсы, на небо. Поёжился. Несколько раз обошёл домик станции. Старательно подёргал все попавшиеся ему двери. Выдвинулся подалее на дорогу... Никого.

Он не переносил, когда нужно было выкручиваться, придумывать, делать что-то «по благу» – и всячески этого избегал. Но тут, скрепя сердце, решил всё как надо. В части сказал так: была жена беременная, по дороге начались роды, и родился мальчонка – пришлось, мол, папаше самому принимать. Никто подробно и не интересовался, как это произошло. Кадровик был сильно пьющий и уже безразличный почти ко всему, как и большинство сослуживцев: приехала семья нового офицера,



жена, ребёнок – какие могут быть вопросы? Ясно-понятно, наливай, за приезд! И по второй, и по третьей: за окнами – серый плац, на него льёт, не переставая, холодная серая мерзость, и сотни километров до какой-то другой, не серой жизни, если такая вообще где-то ещё есть...

Короче говоря, справки сделали, а потом майор съездил в райцентр и записал там новорожденно-го. Наверное, без подарков нужным людям не обошлось, но в подробности Лильку он не посвятил – у неё и так забот хватало: малыш был очень слабенький, всё время болел – и с кормлением намучились, и с лечением... лучше не вспоминать.

В общем, после появления малого Лиля уже больше в библиотеке не работала, однако чётко, строевому, без лишних вопросов и разговоров выполняла нелёгкую домашнюю работу во всех многочисленных передвижениях по местам майорской службы. Но когда произошло долгожданное назначение мужа (уже подполковника) в большой город и получение замечательной двухкомнатной квартиры с настоящими удобствами, постепенно утвердилась в положении уважаемой жены и матери, стала очень общительной и общественно полезной. Успевала заниматься делами и дворового, и родительского, и ещё каких-то комитетов, много, шумно и тщательно обсуждая подробности каждого дела с теми, кто имел к этим важным делам отношение непосредственное, а заодно и с теми, кто не имел к ним отношения совершенно никакого. Делилась жизненными наблюдениями (а повидала она за годы вынужденных путешествий немало), рассуждала о характерах людей, довольно подробно рассказывала про свою семью, хвалила мужа и сына, но никогда ничего не говорила о событии, происшедшем на безлюдной осенней станции, вот уже четырнадцать... нет, погодите, пятнадцать лет тому назад.

Домой он не пришёл. Мама Пасюка забеспокоилась, ждала, металась по комнате, выскакивала на улицу, затем отчаянно кинулась – шесть кварталов – в школу. Свет горел только в вестибюле и двух окнах второго этажа – Марк Давидович проверял контрольную. Кроме него и вахтёрши в школе никого не было. Когда совсем стемнело, мама Пасюка решилась позвонить мужу – раньше беспокоить его боялась, зная, что начались большие командно-штабные учения.

Подполковник сообщил в милицию. Те долго расспрашивали, искать не хотели, обещали, что мальчишка сам придёт: у них такие истории – сплошь и рядом, каждую неделю по несколько раз. Однако сводку разослали, и ближе к ночи постовые застучали Пасюка на вокзале.

Он сидел в зале ожидания, в углу, на скамейке – руки на коленях, смотрит куда-то вверх и слегка вроде улыбается... или не улыбается? Непонятно. Никто не смог выгадать из него ни слова. Привезли домой, и она снова, как когда-то, переодевала, мыла, кормила с ложечки, укладывала спать, разве что не пеленала... Он не сопротивлялся ничему, но молчал, с той же прилипшей к лицу полу-улыбочкой – так и уснул с ней. Она просидела рядом всю ночь, при свете зелёного ночничка смотрела ему в лицо, и ей становилось всё страшнее. Подполковник вернуться домой в этот день не смог, а в коротком телефонном разговоре обещал заскочить только к завтрашнему вечеру – учения были в самом разгаре. Поэтому утром она потащила сына к врачу, а оттуда парня уже не отпустили и на «скорой» отправили, как ей сказали, «в стационар».

Слух обо всём этом как-то добрался до школы, и возле дома маму Пасюка ждала ужасно встревоженная Ирина Валентиновна, которая тут же путано поведала, что произошло вчера на уроке истории. И про то, что Пасюк, выйдя из класса на её уроке, оказывается, в школу уже не вернулся, и портфель его остался под партой (вот я его вам принесла!). И когда ей сегодня стало известно про бегство и состояние Пасюка, она нашла адрес и примчалась к их дому (я, понимаете, вас жду, жду тут уже несколько часов!). И она очень извиняется (я очень извиняюсь, что не сделала это сразу, ещё вчера!), но, понимаете, Коньков так серьёзно, так участливо говорил о беде своего товарища (я и подумать не могла!), и вообще Коньков – такой хороший мальчик и ученик хороший...

Тут мама Пасюка, которая, ничего не говоря и даже не моргая, слушала Ирину Валентиновну, внезапно ухватила маленькую учительницу за тонкие плечики и, ошутимо встряхнув, выпалила:

– Вот эта мамочка хорошего мальчика, эта шалава гинекологическая, и постаралась!.. – и ушла к себе в квартиру.

Сказать, что Ирина Валентиновна осталась стоять на улице с открытым ртом, будет, конечно, весьма стандартным выражением, но что скажешь, если она действительно осталась так стоять?

Подполковник приехал через полчаса.

– Лиля, Лиля, ну что? – спросил он с порога.

– Он – в больнице, заболел, – спокойно отвечала она, – но сказали, что всё будет в порядке. Иди поешь, я тут, на кухне накрыла.

– Да, да, – сказал подполковник, – я ненадолго, машина ждёт. Что это с ним? Простуда, температура? Он бредит?

– Да, немножко бредит, – отозвалась она с кухни.



– Ты думаешь, всё будет в порядке? Ты подъедешь к нему завтра? У меня тут – как назло!..

Он сокрушённо покачал головой, снял ремень, китель, оставил всё на стуле в комнате и закрылся в туалете.

Она быстро вытащила из кобуры пистолет, постучала в дверь туалета («Я – к Антоновне, на минутку, сейчас вернусь!»), набросила куртку и, тихо отворив дверь, выбежала из дома. Она помнила, что это недалеко.

Ей нужно было только перебежать наискосок двор и пересечь узкий бульварчик...

– Зоя-Ванна, тут мама Пасюка пришла! – горланит санитарка, вполоборота повернув голову куда-то назад, в длинный коридор.

– Кто? – издали спрашивает кто-то невидимый.

– К Пасюку, говорю, мама пришла, – повторяет санитарка.

– А-а... пропускай! – поступает команда, и мама Пасюка двинется по коридору.

Санитарка смотрит ей вслед и шепчет другой, должно быть, новенькой санитарке, выглянувшей из ближайшей двери:

– Да, да, это та самая – мама Пасюка... Она тогда выстрелила в лицо мальчишке – однокласснику её сына. И в мамочку этого мальчишки тоже стреляла, но никого не убила. Говорят, парень после выстрела стал страшным уродом, и мамочку его долго латали. Такие ужасы – и не говори!.. Сериал отдыхает. А эта отсидела – и теперь вот каждый день приезжает сюда к своему сыну. Только он же... ну, ты знаешь...

– Пасюк, – в то же время бодренько приговаривает в дальней палате Зоя-Ванна, – твоя мама пришла, слышишь, мама твоя пришла!..

Её голос неугомонно и настойчиво будет повторять это ещё много-много раз, пока тот, кому повторяют, наконец, не отзовется, как будто нараспев, почти невнятно:

– Не-э... не-э... нету у меня-а ни-ка-кой мамы-ы.

В сумерки чахлый автобусик с одной-единственной пассажиркой устало возвращается по пустой серой дороге из пригорода, где расположена старая психиатрическая больница. Пассажирка в тёмном бесформенном пуховике сидит, уставившись в забрызганное окно, и всё покачивается и покачивается, словно большая, грузная тряпичная кукла. На дорогу льёт, не переставая, холодная серая мерзость, и хотя время от времени чуть покалывают глаза размытые огоньки редких придорожных фонарей, неуклюжих производственных построек и жилья, уже понятно, что нет никакой другой, не серой жизни, если где-то вообще есть ещё жизнь.

«МЕГАФОН»

ПОЭТ И ПАРИЖ...

Юрий Михайлович Кублановский родился в 1947 году в Рыбинске. Среди его предков были духовные лица, репрессированные в советское время. В 1965 году Юрий Кублановский стал одним из основателей неформального литературного сообщества СМОГ (Смелость. Мысль. Образ. Глубина). Работал экскурсоводом на Соловках и в музее Тютчева в Мураново. Первая публикация – в альманахе «День поэзии» 1970 года (при поддержке Бориса Слуцкого). С середины 1970-х стал активно публиковаться в журналах русского зарубежья: «Континент», «Вестник Русского Христианского Движения» (Париж), «Глагол» (США) и др. В 1979 году принял участие в нашумевшем неподцензурном литературном альманахе «Метрополь». В 1981 году в американском издательстве «Ардис» вышел первый поэтический сборник «Избранное» (составитель Иосиф Бродский). Многочисленные зарубежные публикации стали причиной вынужденной эмиграции в октябре 1982 года. Жил в Париже, Мюнхене. В 1991 году вернулся на родину. Автор многих поэтических книг, в том числе собрания стихотворений в одном томе «Дольше календаря», выпущенного в издательстве «Время». Лауреат премии Москвы в области литературы и искусства. Лауреат премии Александра Солженицына. Лауреат Независимой Пушкинской премии.

«Поэзии Кублановского свойственны упругость стиха, смелость метафор, живейшее ощущение русского языка, интимная сроднённость с историей и неуходящее ощущение Бога над нами».

Александр Солженицын

«Это поэт, способный говорить о государственной истории как лирик и о личном смятении тоном гражданина. Его техническая оснащённость изумительна. Кублановский обладает, пожалуй, самым насыщенным словарём после Пастернака».

Иосиф Бродский

В одном из своих прежних интервью поэт Юрий Кублановский сказал о жизни вне России: «Я был политическим эмигрантом, человеком с раненой психологией. Для меня Париж, Мюнхен – это не просто красоты Европы... это места, где я испытал сильные стрессы, внутренние катаклизмы. И поэтому я очень долго не выезжал за пределы отечества. Мне трудно было пересечь границу... Но с годами это притупилось...» Наверное, притупилось не только потому, что время – лекарство, но и потому, что любимое бытование Кублановского – путешествие. Конечно, его многочисленные поездки в Вологду, Владимир, Псков и Ярославщину туристскими вояжами не назовёшь. Скорее – это воздух поэта, ведь если прочитать его избранное, то заметно, как русская провинция сказалась в его сочинениях. Впрочем, география и жизни, и поэзии весьма многообразна: Крым и Москва, русский Север и стихи «эмигрантского» периода.

Произведений о Франции, её истории и художниках Кублановский написал немало, может быть, больше любого современного стихотворца. Знатки изящной словесности наверняка помнят не только «Ван Гога» и «Импрессионизм», благосклонные строки к Робеспьеру и мадам де Ламбаль, но и замечательное «В дороге»:

*Вновь раскатана лента в окне
флоры Пруста и Клода Моне.*

В ноябре 2002 года Кублановский написал «Париж через двадцать лет»:

*Каждый, кто видел Париж,
помнит, наверное, про
полиграфню афши
в сводчатом старом метро.
Всюду грустила Катрин
и ухмылялся Жерар.
Тоже и я господин
был, навещающий бар.*

А ещё через какое-то время на мой вопрос о том, каким увидел он знакомый город, Кублановский ответил так: «... главное отличие — в гораздо большем количестве русских и выходцев с Востока. Париж уже не французский, а многонациональный и многоязычный город. В своё время за годы жизни в Париже я встретил только одного русского-неэмигранта: артиста Алексея Баталова в церкви на рю Дарю...»

Сегодня Кублановский опять в столице Франции.

В.Ч.: Впервые вы оказались на берегах Сены в тридцать пять лет. Каким увиделся город русскому поэту в ту пору? И почему вы выбрали именно его, ведь многие литераторы стремились попасть в США?

Ю.К.: После личного обыска на Шереметьевской таможне 3 октября 1982 года без всяких документов, с одной сумкой на плече, я прилетел в Вену. Почему гэбисты так спешили меня выслать, не знаю. Видимо, не решились сажать. «Не хотим делать из вас второго Гумилёва», — сказал мне майор Калутин.

Я прожил полтора месяца в Вене в замечательных, надо сказать, условиях в академической квартире, которую выхлопотал мне Иосиф Бродский. Он и сам жил в ней за десять лет до меня. Помнится, в первый же вечер позвонил из Штатов и удивил вопросом: «Что у вас на ужин?». «Пиво и солёные рогалики», — отвечал я. «А я, помню, — сказал он, — в первый вечер ел бананы, запивая кока-колой». «Разница поколений», — пошутили мы чуть ли не хором. Бродский предложил мне дожидаться въездных документов в США, где обещал похлопотать о преподавательском месте. Я и жил в Вене, дожидаясь разрешения на въезд в Штаты. Но вдруг предложили выступить в Центре Помпиду, где проходила Неделя русской культуры. Так я оказался в Париже: думал, что на два дня, а вышло, что на несколько лет. Зимой приехал Бродский, звал с собой в Штаты, но у меня уже не было ни желания, ни сил на ещё один перелёт и ещё одну эмиграцию.

Париж был в ту пору столицей русского литературного процесса. Был ещё жив Виктор Некрасов, Владимир Максимов, Андрей Синявский, да и вообще ближе к родине. Да, забыл сказать, что ещё в Вену Александр Солженицын прислал письмо, в котором предрекал: «Через восемь лет вернётесь в Россию». Эмигранты надо мной, вернее, над ним смеялись: мол, мы сидим на чемоданах по двадцать-тридцать лет. Тогда только-только пришёл к власти Андропов, и ожидать скорого возвращения, кажется, не приходилось. Но Солженицын угадал совершенно точно: именно через столько лет я вернулся в Россию.

Захваченность «русской темой» была тогда так велика, что я и видел Париж, и не видел его. Жил исключительно проблемами отечественной культуры. Город немного раздражал отсутствием снега и чрезмерным, как мне казалось, градусом круглосуточного богемного веселья.

В.Ч.: Вашу первую книгу в 1981 году составлял Иосиф Бродский, но знакомы вы, кажется, не были?

Ю.К.: Пользуясь, можно сказать, конспиративными связями с иностранными журналистами, я переправил толстую подшивку своих стихов Бродскому в США. Его стихи я любил ещё с 1964 года, когда приехал мальчишкой учиться в Москву, в университет, и среди циркулировавшего там самиздата встретил ранние стихи Иосифа Бродского. Тогда самиздатом было всё, что сегодня находится в культурном обороте каждого человека: Ахматова и Мандельштам, Цветаева и Ходасевич. Ну и молодой Бродский.

Так что, когда я решил публиковаться на Западе, поскольку из-за советской цензуры на родине мне это не светило, а писать только в стол устал, обратился к Бродскому. Через какое-то время по «Голосу Америки» он сообщил, что у него на руках мои стихи и скоро выйдет в США моя книга. Но лично мы познакомились только в Париже. Долго бродили тогда по городу, пили в барах вино, и он заинтересованно расспрашивал меня о своих московских друзьях, многие из которых были и мне приятелями. Светлое, чистое воспоминание — сейчас вспомнил, и согрелась душа.

В.Ч.: Ну, а встречи в Нью-Йорке и Амстердаме?



Ю.К.: Осенью 1976 года я гостил у Александра Солженицына в Вермонте. А потом было несколько поэтических вечеров в американских университетах. Вечер в Нью-Йорке вёл Бродский. Память, к сожалению, выборочна, и запоминаешь часто неглавное. Так, помню превосходно его великолепный зелёный вельветовый пиджак, а что он говорил в тот вечер, позабылось...

Это единственная наша встреча в Штатах. Заговорились с ним до того, что я чуть не опоздал на самолёт, да к тому же и выпили немало. Наверное, литр словенского самогона, который почему-то оказался у него в холодильнике, а закусывали лишь виноградом. Помню, под дождем бежал к самолёту, а передо мной катили лестницу трапа, который до того уже отогнали, готовя самолёт к полёту... В Амстердаме мы виделись уже после получения Бродским Нобелевской премии. Имидж его сильно переменялся. Он стал одеваться, как типичный заокеанский университетский профессор: галстук с кривоватым узлом, мягкий пиджак. Я спросил его тогда, хочет ли он в Россию. «Ни в коем случае», — отвечал Иосиф. «Неужели у тебя нет даже бабского любопытства?» (Шёл 1989 год, его уже печатали, и вообще казалось, что всё в России гудит). «Вот чего нет, того нет», — отвечал Иосиф. Не знаю, почему он так не хотел в Россию. Может быть, это был страх сердечника. Что мы можем знать о психологии человека, перенёсшего две тяжелейших операции на сердце? И первую — всего в тридцать с небольшим лет?

Е.Ч.: Наверное, у вас были любимые места в том «эмигрантском» Париже? Сохранились они или теперь всё выглядит иначе?

Ю.К.: Париж, как и другие мегаполисы мира, на глазах унифицируется. Где ещё вчера был ресторан с крахмальными скатертями и официантами в передниках до полу, сегодня — пластик, и какие-то крашенные мальчишки в тельняшках разносят устриц.

В своё время один старый эмигрант мне показал маленькое кафе, которое не ремонтировалось, наверное, лет тридцать. Там и сейчас можно было бы снимать фильм с Жаном Габеном, ничего не меняя. Когда-то там встречались Эренбург с Элюаром. В этом кафе любил бывать перед смертью последний гениальный французский поэт Рене Шар. Я полюбил это кафе ещё в период эмиграции. Люблю бывать там и сегодня. Это Париж, не испорченный туризмом и масскультурой. Таких уголков осталось уже немного. Тем больше туда тянет, и хотя это кафе мне вовсе не по дороге, я всегда готов сделать туда крюк.

Е.Ч.: Что нового вы открыли для себя в Париже в этот раз?

Ю.К.: Удивляет гигантский наплыв русских. Когда-то, в советские времена, русскую речь на улицах практически невозможно было услышать. А сейчас она всюду. По воскресеньям возле храма Александра Невского на рю Дарю, храма легендарного, где отпевали Бунина, Шмелёва, Шалапина, Деникина, Галича, Андрея Тарковского... Так вот, после литургии возле этого храма просто биржа труда. Порой стоят такие «качки», которые в Москве уже повыверлись, в спортивных костюмах с пузырями на коленях и боксёрским ёжиком на голове. Приезжают из Молдавии, из Украины и, кажется, что прямо-таки антропологически отличаются от здешних жителей.

И, конечно, «исламский» сектор Парижа, район Сен-Дени, где горели в прошлом году машины. Я поехал туда в собор, в усыпальницу французских королей... Собор пуст, а в ста метрах от него кипит жизнь восточного города, но в худшем варианте: грязь, антисанитария и поножовщина. Не знаю, как президент Саркози справится с сотнями тысяч восточных люмпенов, которым терять нечего.

Е.Ч.: Париж — город музеев...

Ю.К.: Сокровища парижских музеев необозримы. В Лувр я люблю приезжать в девять утра. В эту пору там только школьники и японцы. И те, и те одного роста. Но даже сюда, в эту святая святых, после фильма «Код да Винчи» проник дух масскультуры. У Моны Лизы стоит толпа с открытыми ртами. Стоит и чего-то ждёт. Чего — непонятно, видимо, какого-то чуда.

В Центре Помпиду в залах современного искусства встречаются очень любопытные экспонаты. Например, точное воспроизведение коммунального санузла. Для здешних, наверное — экзотика, а я помню такой по детству. И вот серьёзные, хорошо одетые, нередко и пожилые люди ходят среди санузлов, чучел, полотен, покрашенных краской, ходят и внимательно смотрят на это, с позволения сказать, современное искусство. И не найдётся андерсеновского мальчика, который крикнет: «А король-то голый!» Деградация современной культуры, дошедшей, можно сказать, «до ручки», здесь особенно наглядна и ощутима. Из искусства ушёл человек, ушла краска, кажется, ничего не осталось...

Е.Ч.: «Любите живопись, поэты», — написал Николай Заболоцкий. Какие художники для вас наиболее важны?

Ю.К.: Я преклоняюсь перед всеми замечательными художниками. Особенно люблю импрессионистов. Люблю Ван Гога. Недавно ездил на его могилу недалеко от Парижа. Он похоронен рядом с



братом — два скромных холмика, поросших жимолостью. Здесь он жил в лечебнице, уже полубезумный, и каждый день писал по шедевр. А недавно я побывал в Арле, где он тоже много работал. Представляю, как ходил здесь в своих обносках, с этюдником на плече. Никто, наверное, тогда не обращал на него внимания. А теперь Арль известен не столько древностью своих храмов и знаменитым колизеем, но именно тем, что здесь работал Ван Гог. Вот как бывает. Один его маленький этюдник стоит сегодня больше, чем он потратил за всю свою жизнь... Французская живопись пережила тогда невиданный взлёт... Куда теперь всё ушло?

В.Ч.: Не секрет, что писатель Кублановский женат на правнучке известного художника Василия Поленова. Помнится, вы как-то говорили, что давно изжили некоторое предубеждение к русскому реалистическому искусству, и что среди живописцев, которые вам дороги, числится и Поленов. Или я ошибаюсь?

Ю.К.: Да, когда-то все мы были бунтарями, авангардистами и реализм отрицали. Это потому, что социалистический реализм запудрил нам мозги и глаза. Нестерпима в искусстве ложь. А он был именно лжив. Конечно, мы сейчас смотрим, как писал, например, Лактионов, и не можем не восхищаться его мастерством. Но этого мало. Нужна и внутренняя честность перед собою и публикой.

Конечно, беда, что для многих русских художников XIX века идеология была важнее красоты. Когда Репин и Поленов впервые приехали в Париж в 1874 году, здесь как раз открылась первая выставка импрессионистов. И если уж изощрённые парижане улюлюкали, то чего было ждать от наших «правдоискателей»? Но всё-таки они не могли не оценить мастерства импрессионистов, и во многих их картинах заметны импрессионистические уроки. Может быть, я покажусь ретроградом, но сегодня такие картины, как «Грачи прилетели» Саврасова или «Московский дворик» того же Поленова, кажутся мне совершенно замечательными произведениями искусства, ни с чем не сравнимыми. Это не просто картины, не просто пейзажи, а в полном смысле этого слова эмблемы «России, которую мы потеряли».

В.Ч.: Говоря о цивилизации в более широком аспекте, хочу задать вопрос, который вы себе и сами задавали не раз: будет ли Россия достойной, культурной страной в XXI веке и будет ли в ней присутствовать поэзия?

Ю.К.: Такой вопрос я с тем же успехом могу задать и вам. Мы все об этом думаем. И смотрим в грядущее с большой опаской. Технотронная цивилизация имеет такие шестерни, масскультура и шоу-бизнес — столь железные челюсти, что такому по определению застенчивому делу, как настоящее неконъюнктурное творчество, состояться чрезвычайно трудно. Поэту необходимо особенное мужество. Так же, как и при советской власти, надо уметь обходиться небольшим кругом читателей, уметь жить бедно, не идти на культурные компромиссы. Сейчас соблазнов ещё больше, чем при советском режиме, потому и выживать сложнее. Поэзия по-своему очень аристократичный вид творчества. Боюсь, что «носороги» XXI века его затопчут.

Моё поколение было, очевидно, самым счастливым. Родились после войны, не хлебнули сталинских лагерей. По сравнению с нашими отцами и дедами мы прожили достаточно благополучную жизнь. И боюсь, что такой жизни на наших детей и внуков уже не хватит. Начнётся территориальная перекройка мира. Всё меньше русских людей способны прочесть «Идиота» и «Анну Каренину», вжиться в Пушкина или Тютчева.

Так что оставляю ваш вопрос открытым. Я — христианин и думаю, что всё в Божьих руках. В конце концов, как Он решит, так тому и быть.

В.Ч.: Вернёмся к Парижу. Если бы к вам приехал близкий друг, никогда не видевший Франции, куда бы вы его повезли, что показали бы в первую очередь?

Ю.К.: Франция — вся прекрасна. Я бы повёз своего друга по просёлочным региональным дорогам, и нам нигде бы не было скучно. Провинциальная Франция берегает чистый воздух, самобытность и неизбалованных чрезмерными соблазнами жителей... А что ещё надо?..

Беседу вёл Евгений Чигрин

КИРИЛЛ АНКУДИНОВ

РЕЗАНАЯ ЛАПША размышления

От автора: этот текст я написал в 2003-м году. Он нигде не публиковался. Привожу его со своими нынешними комментариями, которые мотивирую тем, что я за эти девять лет стал – в определённой мере – другим человеком.

Эссеистические работы Пришвина многие современники называли «резаной лапшой». Казалось, что любой может писать эдак – всё, что взбрѣдет ему в голову – километрами. Выяснилось, что не любой. Жанр «свободного эссе» очень коварен. Он выставляет на обозрение все качества пишущего; если это – глупость, мелочность, претенциозность, пошлость, их никуда не спрячешь. Некуда прятать – всё на виду. Многие на этом жанре здорово подставлялись.

Так трудно преодолеть «искушение Розанова» – искушение писать о чём вздумается, не сообразуясь ни с конкретными целями, ни со стройностью композиции. Начать с одного, продолжить совсем другим, а завершить – третьим, вовсе не лезущим ни в какие ворота.

А нужно ли преодолевать это искушение? Может хоть раз следует дать волю своему сознанию? Пускай работает, не снисходя до того, чтобы оформлять результаты собственных трудов в нечто завершённое. Что придѣт на ум, то и придѣт.

Авось, получится.

Наше время – время разрушения и гибели каких бы то ни было идеологий. Ни одна из идеологий не работает. Все дискредитированы. На месте идеологий безраздельно воцаряются мифологии.

Идеология строится на логических аргументах, она в принципе верифицируема, мифология же – неверифицируема и базируется на соответствиях и эффектах.

Коммунизм, к примеру – идеология (с сильнейшей мифологической подкладкой). А вера в то, что люди произошли от дельфинов – чистой воды мифология. Кстати, она соответствует древним тотемическим мифам – новое есть хорошо забытое старое.

Идеология требует продуманной тактики поведения (мир подчинѣн таким-то и таким-то законам, поэтому следует вести себя так-то). Мифология требует исключительно обрядности. Мифология никогда ничего не доказывает, она презирает доказательства. Мифология объявляет желаемое реальным. Она всегда построена на невероятном факте, в который надобно поверить.

Мифологическое мышление – мышление с поломанной шкалой делений. Для такого мышления если сорок девять меньше пятидесяти, это означает, что сорок девять равно нулю. А если же пятьдесят один больше пятидесяти, это значит, что пятьдесят один и миллион – одно и то же.

Особенно неприятно то, что мифологическое мышление победоносно утверждается в современной Православной Церкви. Церковь тем и отличается от секты, что она признаѣт человеческий разум – об этом писал Честертон. Положим, Православие не прошло через Реформацию, поэтому честертонам в нём не очень уютно. Но какие-то представления о здравом смысле в Церкви всё же должны оставаться, иначе она станет неотличима от языческого капища. . .

Ныне в церковных кругах упыри начинают реабилитировать Гришку Распутина. Какой позор! Опять – на те же самые грабли!..

В те годы я недооценивал мощь мифологического мышления. А жаль. Человек – существо мифологическое.

В одной из сказок Андерсена есть присказка: «позолота вся сотрѣтся, только кожа остаѣтся». Идеология – это «позолота», мифологии – это «кожа».

Хотя, конечно, стихию мифо-подпочвы нам необходимо контролировать, чтобы она нас не поглотила.

Около пяти лет я руковожу городским литературным объединением. Практика этой работы научила меня несомненной истине: не только бескультурные люди должны научиться слушать культурных (это само собой), но и культурные также должны уметь слушать и понимать бескультурных. Культура – это диалог. Она должна обеспечивать все условия для возможности диалога. Если культурные, умные, начитанные – «грамотные» – начнут хамить бескультурным, глупым, неначитанным – «простецам», «простецы» получают законное право хамить «грамотным» – в ответ. А поскольку «простецов» заведомо больше, чем «культурных» и они заведомо сильнее «культурных», вся культура будет затоптана. Только и всего.

Согласен с каждым словом.

Обычно считается, что цель культуры – сохранение нравственности. Это не так. Содержание культуры – не нравственность, а чувство меры, чувство вкуса. Культура по своей природе не столько этична, сколько эстетична. Она даёт представление о гармонии, в том числе и о гармонии между нравственностью и свободой. Именно поэтому дидактические прописи – вне культуры. Но тексты Владимира Сорокина – также вне культуры, они нарушают конвенцию с другой стороны.

Культура борется не столько с безнравственностью, сколько с безумной и избыточной «нравственностью». Для талибов совершенно нравственно уничтожить буддийские памятники культуры, потому что с точки зрения благочестивого магометанина они – предмет идолопоклонства. Для боярина допетровской эпохи безнравственно позволять незамужней дочери выходить на улицу из терема – на неё будут смотреть мужчины. Для русского купца девятнадцатого века безнравственно разрешать детям читать книги («орудия разврата»), зато вполне нравственно (по крайней мере – привычно и не зазорно) кутить на ярмарках с девками. Для современного политкорректного американца безнравственно делать женщине комплименты. Для тоталитарной секты безнравственны даже родительские отношения (для них безнравственно всё, что отвлекает от задач секты).

В принципе, картина везде одинакова: человеку свойственно окружать себя запретами. Задача культуры – преодолевать неадекватные страхи. Именно поэтому культуре негоже по-сорокински или по-виктор-ерофеевски пакостничать. Пакостничанье дискредитирует культуру как таковую и играет на руку тупому фундаментализму. Не следует забывать о том, что многие относятся к культуре с недоверием – как купцы девятнадцатого века. Для многих культура – «сатанинское искушение». Надо ли превращать культуру в действительное сатанинское искушение – как Сорокин?

Засилье сорокиных в культуре может привести к тому, что верхние этажи культуры обрушатся, после этого в силу вступят мифы докультурного происхождения. Отчасти это уже происходит.

Чем активнее «элита» будет рекламировать Владимира Сорокина, тем больше «неэлита» будет читать и любить Григория Климова.

Добавлю...

Я думал, почему история России в XX веке оказалась такой кровавой, такой наполненной многочисленными и бессмысленными жестокостями. Что именно виновато в этом?

Марксизм? Нет. Марксизм – всего лишь теория, да к тому же реально работающая, объясняющая социальное бытие (но только в рамках западного общества, и до второй половины XX века). В России были «чистые марксисты» – меньшевики; особого зла они не принесли.

Виновница всех зол – этика.

В самом деле: где этика – там ответственность, где ответственность – там вина, где вина – там наказание, где наказание – там репрессии, где репрессии – там ГУЛАГ и расстрельные рвы.

В иные периоды советской истории к станкам относились лучше, чем к людям – потому что к станкам не подходили с этическими мерками.

«Если враг не сдаётся, его уничтожают». Перенесём это правило на станок... «Если станок не работает, его ломают...». Глупо? Да, очень глупо...

А человек, между прочим, точно такой же «станок». Если осознать это, можно избежать зла по отношению к нему...

У американского детективщика Росса Макдональда убийцами всегда оказываются не бандиты, не подонки общества (в его романах много тех и других), а самые «приличные», самые интеллигентные люди с незалеченными комплексами.



И то правда. Бандит прекрасно знает цену своей и чужой жизни. Он понимает, что такое смерть. А «приличный человек» — пребывал весь свой век в оранжерее; где ему было получить представление о жизни и о смерти? Зато ему с детства запрещали *ковыряться в носу* — и теперь свобода ковырянья в носу для него — главное. За неё он безболезненно убьёт кого угодно.

Советские люди — макдональдовские «приличные граждане», которым запрещали ковыряться в носу.

Как я не люблю этот язык советских недосказанностей, равняющий ковырянье в носу с трагедией. Создающий такие условия, что ковырянье в носу становится причиной трагедий. Это неразличение вещей действительно значимых и вещей совершенно пустячных — именно оно — привело к тому, что «советские интеллигенты» — люди с чудовищными комплексами, причем их комплексы базируются на сущих пустяках. И во имя этих комплексов «советские интеллигенты» способны на любое преступление. Полная аналогия с героями Макдональда, со всеми этими брэдшоу и тэппинджерами, интеллектуалами-маньяками.

Пустословие по советскому образцу опасно тем, что мифы создаются автоматически, из неопределённого значения слов — и эти мифы претендуют на объяснение всего мира, поскольку накладываются на архаические архетипы. Кантовская ситуация — за объективную реальность человек принимает часть собственного сознания, услужливо преподнесённую ему безразмерным советским словом — и гоняется потом за этой мнимой «реальностью», как лемовский космолётчик за бликом света.

Причина многих реальных гнусностей — язык, который увёртывается, желает именовать явления «приличным образом» — и дожеманивается до того, что создаёт понятие, включающее в себя страшные преступления и пустяки — одновременно. Пустяки приравниваются к преступлению и табуируются. Ношение бороды подпадает под одну статью с предательством Родины. После этого очередной брэдшоу ради осуществления возможности делать пустяки идёт на преступление (ведь для него пустяк неразрывно связан с преступлением). Если ношение бороды в одном пункте с предательством Родины, стало быгг, ради ношения бороды можно и Родину предать — эти понятия как бы равнозначны.

Боже мой, ну почему советские бонзы не разрешили интеллигентам *ковыряться в носу* — носить бороды, сложно писать, читать Николая Гумилёва, вставлять в тексты шпильки «против властей» и торговать по мелочи?

Советский Союз погубили не советские пороки, а сугубо советские добродетели — не базирующиеся ни на чём. Грех в мире есть, он существует сам по себе, все христиане это чувствуют и понимают. Советский человек не знал этого и считал себя идеально добродетельным. Когда он открыл для себя «историю своего рода» (а всякая история всякого рода полна крови и грязи), он не выдержал открывшегося и покончил с собой (как с советским человеком). История в духе пророческого (и гнусного) фильма «Покаяние» — внук узнал о злодействах деда и застрелился. Надо было на похоронах этого внука рубануть на манер арцыбашевского Санина:

— Покойный был дураком, всю жизнь занимался глупостями и умер из-за глупостей.

Всё это пошло по второму кругу. Советских плюсов нет, но все советские минусы — остались и усилились.

Я терпеть не могу два «шедевра перестроечной кинематографии» — фильм Абуладзе «Покаяние» и фильм Элема Климова «Иди и смотри».

Вот где интеллигентская истерия развернулась в полную мощь...

«Покаяние» научило всю страну выбрасывать останки предков из могил на помойку. Забавно, что в мифологии выкапывание мертвеца однозначно обозначает *вызывание* духа этого мертвеца. В «Покаянии» выкапывали — как бы Сталина. То есть призывали дух Сталина вернуться из астрала в человеческий мир. Вселяйся, мол, в кого хочешь, мы тебя ждём. Так сказать, добро пожаловать... Типичные результаты работы советского интеллигента. О мифологии он представления не имеет. Он вообще ни о чём представления не имеет. И выходит — «сделать хотел грозу, а получил — козу».

А это визгливое «Иди и смотри», внушающее отвращение не только к войне, но и к жизни... Помню, как по всей стране школьников водили на сей шедевр. *Дело государственной важности*. Каждый советский ребенок обязан ознакомиться с истерическими припадками безумного интеллигента. Действительно — иди и смотри.

Какие коды были внесены тогда в коллективное бессознательное советского общества — один Господь ведаёт.

И это — тоже по второму кругу...

Фильм «Аткинс» (про индейцев и «белого», попытавшегося найти с ними общий язык и нашедшего этот язык — но погибшего в зазоре между двумя цивилизациями; в главной роли — Олег Борисов).

В фильмах семидесятых-восемидесятых годов ужасно раздражает вся эта старческая рефлексивность, вся эта станицлавщина, все эти мечты о «слиянии с природой», вся эта идеализация «детей природы». Очень наивно.

Ещё в этих фильмах бесит нарочитый запрограммированный пессимизм (конечно же, ужасно «тонкий и культурный»). Советский Союз семидесятых-начала восьмидесятых – Византия времён упадка.

Но кретинизм Голливуда бесит в тысячу раз сильнее. Если выбирать между сверхтонким, но ничёмым, эгоистичным и разрушающим себя стариком или между тупым подростком, не обещающим в дальнейшем ничего – таким же одинаковым, как и миллионы его сверстников – я, разумеется, выберу старика. Чеховский Гаев заведомо лучше Баттхеда. Однако «побеждённые» могут вызывать у меня симпатию только по той причине, что я знаю, каковы «победители».

Марк Аврелий лучше примитивного гладиатора-качка Коммода. Но Марк Аврелий – наставник и отец Коммода (есть версии, что Аврелий – не физический отец Коммода, но он – его духовный отец, в этом нет никаких сомнений).

Советские интеллигенты – аврелии, которые на смертном одре подают свой голос за Коммода, делают его своим наследником.

Теперь я думаю иначе...

Мир европейского кино – мир нормальных взрослых людей. Может быть, плохих, грешных, преступных, бездарных – но нормальных и взрослых.

Мир голливудского кино – мир сказочных персонажей. Тогда я активно не любил сказки. Теперь отношусь к ним с равнодушием.

Мир позднесоветского кино (семидесятых-восемидесятых годов) – мир подростков. Милых, хороших, умных, любознательных, добрых – но подростков.

Герои большинства современных российских фильмов и сериалов – не люди вообще. Это – термиты или земляные осы в человеческом обличье...

Пересмотрел знаменитый фильм Андрея Тарковского «Жертвоприношение» и остался совершенно равнодушным. От начала и до конца – всё воспринимается одинаково. В «Сталкере» хотя бы были чисто советские «примочки», на которые я реагировал; злился, но реагировал. «Жертвоприношение» же – стерильная скука, претензия перебергманить Бергмана. Искусство, не цепляющееся ни за какую национальную культуру. Даже за шведскую. Космополитическое искусство в полном смысле этого слова.

К концу фильма я стал желать, чтобы хотя бы одна деталь прорвала бы этот летаргический фон – чтобы приёмник заиграл бы не траурную музыку, а летку-енку, чтобы в кадре вдруг появились бы Панкратов-Чёрный и Харатьян. Чтобы возникло бы что-либо из иной эстетической системы. Потому как нельзя три часа работать в одной и той же сонной эстетике.

Герой закатывает занудный десятиминутный монолог о грядущей войне. Его маленький сын не замечает этого, подкрадывается к отцу, хочет с ним поиграть. Герой, сбрендивший от предчувствий, бьет ребёнка. Разве это не *разоблачительно*? Но для режиссёра это само собой разумеется, он – на стороне героя-истерика. Мир «Жертвоприношения» – мир, в котором дети не могут играть. Он бесспорно нуждается в Харатьяне.

А сюжетная основа... Приходит мужик к женщине – к любой – пускай даже к самой кроткой – и говорит: «Если я поимею тебя, цивилизация избежит угрозы мировой войны». Это же стопроцентно *смешно*. Неужели Тарковский не видит того, что это смешно? Значит, весь его сюжет высосан из пальца. Значит, фильм антиреалистичен в самом плохом значении данного понятия. Тогда и говорить не о чем.

Это и есть – *пошлость* – так серьёзно относиться к себе и к своим идеям.

Сейчас я более спокоен к этому.

Но всё равно – отдам «Жертвоприношение» за сериал «Пуаро» (с Дэвидом Суше)...

Андрей Тарковский и Леонид Гайдай – эти два имени в последнее время почему-то оказываются для меня связанными. То один знакомый скажет, что Тарковский – для интеллектуалов, а для остальных – Гайдай. То, наоборот, другой знакомый заметит, что не любит Тарковского, и предпочитает ему Гайдаю.

Я бы не противопоставлял этих двух режиссёров. Они работали в очень разных жанрах, но каждый – в своем жанре – был мастером. Однако на любом пути нельзя быть застрахованным от пошлости. Каждому предначертана встреча со своей разновидностью пошлости. К сожалению, «Жертвоприношение» Тарковского не избежало пошлости. Некоторые диалоги из «Сталкера», увы, тоже являются пошлыми. Но и все последние фильмы Гайдаю – пошлость.



Из опубликованных документов я знаю, что Гайдай относился к Тарковскому очень хорошо, любил и ценил его, поддерживал на заседаниях кинематографистов (в отличие, кстати, от конкурентов по «интеллектуально-поэтическому кино» — Алова и Наумова, которые Тарковского везде топили). Интересно узнать, как Тарковский относился к Гайдаю. Хочется верить, что — тоже хорошо.

Узнал. Очень плохо относился. Это его не красит.

Я прочитал сборник воспоминаний о Майке Науменко... Никогда не любил Науменко и не мог объяснить себе, почему я его не люблю. Теперь всё встало на свои места.

Науменко *бескрыл* — это самое точное определение. Точнее не придумаешь. Мир его песен — серенький, удушливо тёпленький, заплесневелый, и поразительно неподвижный. В этом мире — малярийная атмосфера. Никакого движения воздуха. Полное безветрие. Штиль. Маревко.

Лозунг жизни Науменко: «Оставьте меня в покое. Живу как хочу. Идите куда подальше с вашим духовным ростом». Во всех воспоминаниях это идёт открытым текстом. Все прекрасно понимают, что подобная установка и погубила Майку.

В довершение всего — Майк был воинствующим атеистом, что вполне согласовалось с его жизненной позицией и вытекало из неё. Судя по всему, он был добр — и только, добр тёплой, комнатной добротой (ни Шевчук, ни Гребенщиков, ни Кинчев — не добры). Ещё у Майка был вкус к стилю, но и это почти никак не проявилось. Майк говорил: «зачем?» — и всё останавливалось на полпути.

Понятно, что сформировало такую установку. Судя по семейным воспоминаниям, у Майка были ужасные родители — непростижаемо слепая и глупая мать (типичный библиотечный работник, жрица «высокой духовности») и отец, помешанный на «воспитании воли» и «самоформировании». Человека, выросшего в таких условиях, будет тошнить от малейшего упоминания о «работе над собой».

«Ты — дрянь» — это идёт от того же редукционизма, от сведения сложного к простому, от «живу как попроще». То, что совпублика приняла всё это как революцию, показывает её убожество. Впрочем, все скоро убедились, что «революционер» во всём инертен и оставили его «сидеть на белой полосе».

«Уездный город N» — лучшая песня Науменко, но и в ней — столько духовной лени, столько штампов и банальностей, столько нежелания смотреть вглубь, столько «абы попроще»...

Стоило ли так горячиться? Сейчас Майк мало кому нужен. Через десять лет он не будет нужен никому.

Чёрный треугольник: коммунизм — либерализм — фашизм.

Именно в такой последовательности: вслед за коммунизмом — либерализм, а вслед за либерализмом — фашизм.

Должен ли быть из всего этого выход? Можно ли вырваться за пределы треугольника, определив четвёртый (светлый и почти невозможный) угол? Да.

Этот четвёртый угол — *традиционная сословная система*, основанная на сосуществовании и взаимной работе четырёх каст: людей труда (шудр), людей торговли (вайший), людей оружия (кшатриев) и людей мудрости (брахманов). Говоря другими словами, рабочих-крестьян, купцов, воинов и жрецов-правителей.

Коммунизм — всевластие шудр, людей труда, либерализм — всевластие купцов, а фашизм — всевластие воинов. Во всех трёх случаях — перекося, извращение.

Я, кстати, понемногу начинаю становиться монархистом. Вовсе не потому, что желаю примкнуть к чудакам, распеваящим «Поручика Голицына». Монархическое движение ныне напрочь дискредитировано подобными чудаками. Я — монархист в ином, в розановском смысле. Розанов писал о том, что настоящий монарх — человек, который никогда не борется за свою власть — она принадлежит ему по праву рождения. Поскольку монарх наделён *всем*, его естественное желание — творить добро повсюду. Монарху не за что бояться, нечего оберегать, не с кем конкурировать. Всё устроено так, чтобы он благодетельствовал подданных, не имея к тому ни малейших препятствий. Демократический же политик — зависим от обратной связи, он должен делать то, что хочет от него электорат, это значит, что он сам должен влиять на электорат, воспитывать в нём определённые желания. Чаще всего случается так, что слепой ведёт слепых.

Я не люблю демократию. Демократия построена на обожествлении коллективного бессознательного. Коллективное бессознательное для демократии — высшее божество. Но я хорошо отдаю себе отчет в том, что представлял собой коллективное бессознательное. Ничего божественного в нём нет. Поклоняться ему — всё равно, что поклоняться ветру или медведю — можно, но не нужно. Ветром или медведем надо управлять — они созданы для этого. Точно так же и коллективное бессознательное существует для того, чтобы им управляли. И если оно, подобно дикому медведю, ещё не

откусило человечеству башку, то потому, что демократические правители хоть в малой степени, но являются самодержцами. В России же монархия — никуда не исчезла. И это хорошо.

В конце концов, мне противно слышать апелляции к себе (как к «народу») из уст тех, кто борется за власть. Я не хочу быть соучастником гнусностей политиков. И я знаю, что чем меньше политики будут апеллировать к народу, тем меньше гнусностей они совершат во имя народа.

При монархии могут взорвать карету с царём (это — профессиональный риск монарха, подобно тому как сгореть — профессиональный риск пожарника). Могут пронести бомбу в дом царского министра и утробить уйм людей, виновных только в том, что они оказались в данный час в данном месте. Но при монархии никто не станет взрывать дома с людьми ради влияния на «общественное мнение».

Уберите «общественное мнение» подальше от меня! Я буду рад этому. Не надо апеллировать к моей личности. Мое дело — подсчитывать стопы в хорее Блока и писать стихи, дело крестьянина — выращивать хлеб, дело купца — торговать, дело воина — защищать всех силой своего оружия. А сейчас — ни стихов, ни хлеба, ни торговли, ни защиты. Одни только «рейтинги» вприкуску с «общественным мнением».

А всё равно — от демократии и «общественного мнения» никуда не денешься... Ну, значит, и от фашизма никуда не денешься...

Я убедился в замечательности традиционной сословной системы на собственной шкуре — от противного. Я служил в армии в течение года. И весь год *мне не находилось места*, хотя я, как мне кажется, владел многими профессиональными навыками, которыми не обладали мои сослуживцы и был бы способен принести большую пользу — на своём месте. Скажем, в редакции военной газеты. Если бы армейская структура была бы устроена чуть поспокойнее, чуть поразветвлённее и не была бы так зациклена на типичной для России «этике лишения и трудностей» — какое-нибудь место в этой структуре для меня непременно нашлось бы. Увы, этого не случилось... Доходило до смешного. Однажды врач порекомендовал по состоянию здоровья не привлекать меня на работу типа покраски потолка кочегарки. Было решено, чтобы я остался в штабе дивизиона. Но в дивизионе для меня *не нашлось места*. Меня спустили на ступень ниже, потом — ещё ниже. Короче говоря, в итоге я вернулся туда, откуда возвращался, а поскольку солдат не должен бездельничать, я, естественно, оказался на покраске кочегарки.

За этот год я понял, что такое — быть человеком, которому не нашлось места. На гражданке я огляделся — и увидел вокруг себя сотни несчастных, которым не было места. Вот тогда-то я затосковал по сословной системе.

В обществе, выстроенном на основе этой системы, филологам не пришлось бы красить кочегарку, а астрономам — перебирать овощи в овощехранилище. Затем что каждый в нём — на своём месте, приобретённом от рождения. Ребёнок, родившийся в крестьянской семье, знает, что ему на роду суждено быть крестьянином. Он — не никто. Он — крестьянин, он несёт это звание, как корону. Если он очень постарается, то сможет выучиться и стать писарем, врачом, инженером, филологом, чиновником, министром. А если не захочет выбиваться из круга — останется крестьянином, что тоже неплохо, ведь он будет заниматься тем, к чему приучен с детства. Сословная система не допускает движения вниз по социальной лестнице, она допускает только движение вверх. Крестьянский сын может высидеть до ученого. А дворянский сын — никогда не окажется в роли землепашца (если он не — единственный в своём роде — Лев Толстой). Можно не беспокоиться — и учёных будет достаточно, и землепашцев — в норме: крестьянские дети (примерно на девяносто процентов) не захотят резко рвать со своим кругом — это и страшно, и трудно.

Сословная система предполагает то, что у каждого есть своё место и все по этой причине счастливы. Нынешнее состояние общества создаёт прямо противоположную картину: каждый от рождения — *никто*. Ты думаешь, что ты — личность? Сначала вступишь в существующую систему. И не забывай что она предельно проста, и что ты никогда не получишь то место, на которое рассчитываешь. Ты желаешь стать поэтом? Но *обществу* нужны стихи. Стало быть, ты никто, а звать тебя — никак. Ты уже не хочешь быть поэтом? Ты решил стать врачом? Извини, дружок, но в твоём микросоциуме пятьдесят врачей, а ты — пятьдесят первый. Опять же, ты никто, а звать тебя — никак. И так далее...

Всё это напоминает очень жестокую игру: детям дают девять стульчиков, а детей — десять. По сигналу взрослого все кидаются к своим стульчикам. Один — не успевает и выбывает из игры. После этого оставляют восемь стульчиков. И так до последнего оставшегося участника...

«Американская мечта»: в нашей стране каждый разносчик пищи может стать президентом. Зачем мне становиться президентом? Я хочу занять то место, к которому готовился всю жизнь, оно прихотливо, но скромно. И разносчик пищи, если он не болван, не польстится на возможность стать президентом. К чему ему это? А ведь он ещё и может сообразить, что его *дурят*. Стань, братец, никем, и ты получишь одну квинтиллионную возможность стать «самой большой шишкой». Типичный лохотрон.

Кажется, я нашёл своё место — и успокоился. Но как быть тем, кто ещё не нашёл места и не успокоился?



Я не обольщаюсь в отношении себя. Я – слабое животное, мутант, чёрный кролик с белым подшёрстком, портящий породу. Я – махровая роза. В природе существо, подобное мне, не выжило бы и часа – природа не предусматривает чистую эстетику, в ней нет эстетических категорий. Но люди на девять десятых живут по законам природы (не осознавая того). Только на одну десятую они вне природы. На эту одну десятую моё присутствие в мире – плюс. Как присутствие в мире диковинной розы, которой можно любоваться. Я чувствую, что существую *для красоты* – в этом моя судьба и источник всех моих драм. Я не хочу быть «полезным», потому что не могу быть «полезным» – глупо спорить с собственной судьбой, которая почему-то не сделала меня «полезным». Идея, что все должны приносить пользу, глубоко враждебна мне. Это – *самая* враждебная для меня идея. В любом варианте. В коммунистическом ли (человек обязан быть полезным для пролетариата и прочих бедняков). В рыночном социал-дарвинистском ли (человек должен быть полезным для потенциальных потребителей-покупателей). В нацистском ли (обязанность человека – быть полезным для своей нации). Во всех вариантах эта идея отрицает меня. Таким уж я уродился – бесполезным. Я честно пытался заниматься «массовым производством». Но что бы я ни делал, даже (условно говоря) одноразовые стаканчики, в итоге у меня всё время получался северский фарфор – красивый и не нужный никому, помимо немногих ценителей. Моя судьба – производить фарфор. Именно поэтому мне так симпатична традиционная сословная модель общества, позволяющая человеку не только быть «полезным», но и – иногда – жить «для красоты». Кстати, каждому человеку. Аристократу, купцу, крестьянину. Крестьянские песни – разве это не самодостаточный эстетический феномен? Именно поэтому ныне фольклор почти умер, он не котируется, всем подавай попсу... Я уверен, что в обществе, построенном на сословной системе, нашлось бы место и такому производителю странностей, как я.

К слову, советское общество, в принципе, стремилось к подобной модели. Номенклатура – ведь это же новое дворянство. Грубовата-с? Так ведь и средневековые князья с баронами тоже были изрядными мужланами. Я уверен, что если бы советская социальная модель сохранялась бы и дальше, в третьем-четвёртом поколении номенклатура начала бы давать своих бунинных и набоковых.

Она и так уже начала их давать.

Несколько истерично. Но верно. Ну, фарфор так фарфор...

Лапша готова. Можно кушать. Можно вешать себе на уши. Кому как захочется.

Прошу к столу!..

2003 – 2012 гг.

АЛЛА РАХМАНИНА

АЛЛЕЯ КЛАССИКОВ эссе

Не знаю, кто первый так сказал. Улица-то всего из шести домов. И называется – официально так, по крайней мере, написано на указателе – Павленко. Советский писатель, который вполне благополучно пережил на ней и тридцатые, и сороковые-роковые, и сталинские, и немного хрущёвские. По преданиям, напрашивался на обеды к классикам, а в те годы просто известным писателям, и затем отправлял, куда надо, вполне пристойные, не особо обижающие хозяев дач, донесения. И даже приукрашивал слегка действительность. А ведь редкие очевидцы, случайно или не совсем случайно оставшиеся в живых, вспоминают «чёрный воронок». Частенько, особенно по ночам, катил он по писательскому посёлку.

Рассказывают, как бежала за зловещей машиной Лидия Сейфуллина, известная в те годы своими пламенными повестями. В ночной рубахе, рыдая. Её плач раздавался в окнах именитых дачников: Ивановых, Афиногеновых, Пастернаков, Фединых. Ведь увозили её любимого мужа, журналиста Правдухина. И увезли навсегда. Как и других обитателей Переделкина – уникальных писателей – Бабея, Пильняка, Забуррина, Артёма Весёлого, Бруна Есенского. «За что берут людей?» Этого не мог понять даже Борис Пастернак. А ведь о его прозорливости ходили легенды. В этой дикой абсурдности, в которую превращалась дачная жизнь, талантливым, особенным невозможно было понять, принять такую Россию.

Уже сейчас, по прошествии почти двух десятков лет, не понимаю – как могла не остановить, не задержать, не поговорить, или просто не спросить какую-либо малость, ерунду – ведь мимо, мимо, каждый день проходили сплошь знаменитые, странные и, даже страшно подумать, просто гении. Правда, есть маленькое оправдание. Мне – девятнадцать. Я влюблена в своего Бориса Леонидовича. А через дом, из дачи номер три, выходил когда-то живёхонький Борис Леонидович Пастернак. Не выходил – пробегал, пролетал нашу часть «Павленки» в развивающемся прорезиненном синем плаще.

Через родник, через змеёй вьющуюся Сетуньку, вприпрыжку к деревянному домику, который он снял для своей музы Ольги Ивинской. С большой долей недоброжелательства вспоминала о ней моя любимая соседка Тамара Владимировна Иванова. Иначе как стукачкой не называла, и это за нашими-то чудесными «высокими» чаепитиями, где часами читался наизусть Блок, где как бы присутствовали Всеволод Иванов, Константин Федин, Александр Фадеев и незабвенная Лиля Брик. Всегда в её руках – синий томик стихов Бориса Леонидовича с лежащей поверх позолоченной лупой.

– Ах, Алла, если бы мне было восемьдесят четыре! Я бы горы сдвинула, – говаривала Тамара Владимировна в свои девяносто шесть. А вообще-то никакие не девяносто шесть. Всегда маникюр, педикюр, и как бы случайно слетевшая с плеча бретелька от сарафана. «Тело не стареет», – думала я, всякий раз глядя на это мраморное плечо. У некоторых. Особой породы женщин.

Дом-музей Пастернака, как я говорила, точь-в-точь наш. Кораблевидный, с овальными балконами. Один архитектор, один год возведения. Люди, ошибаясь дачами, частенько навевывались к нам.

– Вы к Борису Леонидовичу? Проходите, – подшучивал над экскурсантами мой муж Борис Леонидович Рахманин, отворяя калитку. Коттеджи принадлежали Литфонду, наши ворота были всегда распахнуты, поскольку внешне дом – абсолютная копия пастернаковского, вот народ и валит к нам. Тем более, дорожка, ведущая к крыльцу, усаженная разноцветными клёнами, была такой божественной красоты! Как тут было не устоять и не пройти по ковру из красно-жёлто-зелёных листьев. Ведь когда-то эти кленки были привезены из самой Канады американской женой первого поселенца нашего дома – знаменитого когда-то Александра Афиногенова.

Пастернак в тяжёлый тридцать седьмой, когда со дня на день Афиногенов ждал ареста и не мог ни писать, ни существовать нормально, навещал его ежедневно. Утешал. Практически заставлял работать. Сохранилось кресло, самовар и столик, за которым они проводили свои нелёгкие вечера. Ведь когда писатель поселялся на даче, она была уже обустроена и на ней стояла лёгкая плетёная мебель. В некоторых домах всё это сохранилось в единичных экземплярах. Уже как реликвии. Американская жена изводила Афиногенова диковинными диетами, и зачастую после скудной еды он нырял в потайную калитку к Ивановым. «У вас случайно не осталось котлетки от обеда?» – интересовался он.



Несколько поколений писателей сменилось после Александра Афиногенова. Сплошь знаменитые. Сплошь советские. В нашем коттедже проживала семейная пара пожилых литературоведов. Причём поженились они ну в очень преклонном возрасте. Он — известный из известных — плохо видел, можно сказать, не видел вовсе, но, благодаря некоему замечательному эскулапу, прозрел. И что же он видит? Перед ним предстала его любимая — умная, талантливая, о литературе знает всё, но... Она так далека была от того идеала, который нарисовал себе за эти годы знаменитый филолог! Он представлял себе чуть увядшую Мэрилин... А перед ним стояла дама мягко говоря... Ну очень далёкая от совершенства. От неожиданности и даже ужаса старец упал в обморок. Позже всё это сгладилось-слибуилось — умные всё же люди и благородные. Они прожили оставшуюся жизнь очень даже счастливо.

Однажды, прогуливаясь по нашей «Павленке», я встретила даму. Она буквально бросила в меня цепкий острый взгляд. Прокаштаненно-нашатененные, гладкособранные в пучок волосы. Набеленное, всё ещё вполне красивое лицо. Чуть поодаль, опираясь на трость, плёлся дяденька Катаян. Её последний муж — специалист «в области главного человека её жизни — великого Маяковского».

— Смотри, это же сама Лиля Брик, — прошептала я, обращаясь к мужу.

— Это не Лиля Брик, это прекрасная, хорошо сохранившаяся мумия, — пробурчал он. С жалостью, как мне показалось. Ещё при жизни Лили Брик моя подруга, специалист по Серебряному веку, собралась взять у неё интервью. Перед поездкой в Переделкино, на дачу Ивановых, где в ту пору жила прекрасная Лиля, её проинструктировали, как вести себя, какую картину похвалить, какую фотографию отметить, что правильно вспомнить. Она всё это выполнила, и встреча прошла радостно для обеих. Интервью получилось живым и даже оригинальным. Бабушка-то умная всегда была. Недаром самые значительные мужи вились возле неё пожизненно.

Лиля Юрьевна жила в торцевой части дачи номер четыре. После смерти крупного писателя, до конца ещё не понятого Всеволода Иванова, его вдова Тамара Владимировна, а прежде любовь самого Исаака Бабеля, пригласила Лилю Брик пожить у неё на даче. Она знала, скучно не будет. Ведь Лиля Брик, благодаря Маяковскому, была известна далеко за пределами России.

И правда, по прекрасной уютной аллейке, ведущей в дом, прогуливались сестра Лили Юрьевны, писательница Эльза Триоле, её муж, знаменитый француз Луи Арагон. Представляете, по нашей-то «Павленке» вышагивали великий кутюрье Пьер Карден, Майя Плисецкая, представители клана Мессереров. А аллея была гораздо длиннее всех наших, так как в войну дом сгорел и талантливая неугомная Тамара Владимировна собственноручно начертила план дома. Она отодвинула его на много метров от прежней постройки, точно скопировав пастернаковский коттедж. В связи с этим прогулки стали довольно протяжёнными, и можно было не выходить за пределы калитки, так как здесь было чудно. Молодые берёзы, ею же посаженные, и восхитительный черёмухо-сиреневый сад. Огромный павловской эпохи стол застилался белоснежной скатертью, красивые люди, интересные тосты на русском, французском, английском.

Дружба двух великих вдов продолжалась не слишком долго. Совместные завтраки и обеды быстро закончились. Лилина часть дачи была теперь за стеной.

— Мы оказались из разных профсоюзов, — сказала мне однажды Тамара Владимировна. И больше к теме «прекрасной Лили» не возвращалась. А Лиля Юрьевна продолжала ежедневные пешие прогулки с мужем по аллее классиков мимо окон великого Пастернака. Из этих самых окон звучал когда-то незабываемый голос:

*Пронёсшейся грозой полон воздух.
Всё ожило, всё дышит, как в раю.
Всем ропуском кистей лиловогроздых
Сирень вбирает свежести струю...*

Почему-то, когда пишут о Лиле Брик, называют её некрасивой, удивляясь, как могли в неё влюбляться такие незаурядные мужи! Неправда, даже и в преклонном возрасте в ней было... Было что-то, что больше красоты, гораздо больше. А что... Этого нельзя выразить словами. Это какое-то запредельное несегодняшнее понимание в лице, слегка даже суровом. Словом, не нашего профсоюза личность. Тамара Владимировна была права.

Зоя Богуславская, писательница, жена знаменитого поэта Андрея Вознесенского, выходила за пределы своего сада на «Павленку» помахать руками. Она вращала ими, вздымала их вверх так, словно хотела взлететь. В течение всей жизни она так энергично, так азартно служила Андрею, такие грандиозные проекты придумывала, а главное, осуществляла! Одна премия «Триумф» чего стоит! Я нисколько не сомневалась — взлетит, обязательно взлетит не сегодня, так послезавтра. И не нужно думать, что причина — какой-то банальный остеохондроз.

Кажется, совсем недавно нас с мужем пригласил на эту дачу живший в ней до Вознесенского Константин Александрович Федин. Какой-то очерк потребовался о нём в газету. В саду перед домом в гамаке полулежал — язык не поворачивается говорить о возрасте — человек немолодой с такими тонкими, благородными чертами лица, такими точными жестами, каких я не видела больше в своей жизни. Никогда ничего подобного я не встречала. Он был абсолютно нарисован. Ну нельзя в этой

нашей жизни остаться с таким лицом. Революция, Гражданская война, Великая Отечественная – и такая осанка, такой неповторимый взгляд в никуда, аристократизм. Он был немногословен. Сейчас вспоминается – на наши вопросы ответами были сплошные «нет»: «Нет времени, писать трудно, вспоминать больно». Серьёзный возраст, невосполнимые утраты.

Шел шестьдесят восьмой год. И Константин Александрович уже написал в «особой тетрадке брошенных начал», как он её называл в отличие от радостных записей начала жизни в Переделкино: «Опустытело всё вокруг и в самом себе». Не вовремя мы пришли. А впрочем. . . . Как это ужасно контрастирует с прежними записями, где он пишет: «Величайшее наслаждение на Земле – утро в саду в этом вот переделкинском доме».

В этот фединский дом Андрей Вознесенский переехал не сразу после кончины Константина Александровича. Он жил по соседству на улице Тренёва в большом доме на две писательские семьи. Это было время уплотнения. Но, в отличие от московских коммуналок, всё отдельно: каждому писателю всё своё – вход, кухня и другие удобства. Второй этаж этого дома занимал Сергей Баруздин – прозаик, больше известный как главный редактор журнала «Дружба народов». Высокий, поджарый, он чем-то напоминал комедийного артиста Филиппова. Помню короткое письмоцо в редакционной упаковке, которое он прислал моему мужу с оповещением о том, что они хотят напечатать его повесть «Часы без стрелок». Странно, что эта невинная вещичка вызывала в то время неподдельный ужас в литературных кругах: «Как можно помещать убитого солдата в другое время, другие обстоятельства жизни?» Но он, Борис Рахманин, поместил – оживил солдата Васюкова, который прошёл по современному тогда ещё Ленинграду с тяжёлыми думами: а стоило ли мучительно погибать ему и его друзьям, чтобы у власти были не те, мягко скажем, люди? Чтобы чиновники разворовывали то, что они защищали во время войны? И храбрый Баруздин решил, что стоило. Народ – он хороший, а злодеи – они всегда были и будут. И мелким бисерным почерком – его записка у меня сохранилась – подтвердил это.

Так вот, по второму этажу со своими нелёгкими думами ходил серьёзно-мрачноватый Сергей Баруздин, а на первом со своей энергичной музой с палиндромным, воспетым им именем Оза, поселился Андрей Андреевич. Но. . . Об этом позже.

Как бы ни называли наш проулок – аллеей классиков, аллеей Бориса Леонидовича, но до сего дня висит стрелка: «Музей Пастернака – улица Павленко».

В самой первой даче этой улицы жили так называемые писатели-деревенщики – Борис Можаяев, Владимир Солоухин. Хотя называть их так можно с большой натяжкой.

Большие писатели, крупные личности. Можаяев жил замкнуто, на даче появлялся нечасто. Здесь жила его очень мудрая жена, говорившая с лёгким прибалтийским акцентом. Крупный, литой Солоухин пребывал здесь постоянно. Любимые дочери, жена, слава – всё как полагается классику. Его зять, сын известного академика, спал в предбаннике. Все знали, что на даче у Владимира Алексеевича была несметной стоимости и красоты коллекция картин и икон. И классик решил: если придут неожиданные гости что-либо украсть, лучше пожертвовать нелюбимым зятем, чем даже и самой скромненькой иконкой. Возможно, всё это – шутка, но пересказывают её до сих пор на полном серьёзе.

Застроено дикими огромными коттеджами любимое пастернаковское поле, которое он называл «Неясной поляной», закрыта дурным серым забором Сетунька, но почему-то по-прежнему течёт родник. Родник, к которому до сих пор съезжаются отовсюду толпы людей. Родник, мимо которого проскакивал Борис Леонидович к Ольге Ивинской: «. . . Ты всей белизны своей сквозной волной со мной». Сколько раз встречала я неторопливо, с эмалированным китайским бидончиком шагающего к роднику Владимира Алексеевича Солоухина. Как было бы интересно теперь с ним поговорить, по-вспоминать.

– Здравствуйте, девушка, – поздоровался он однажды. – Христос воскрес!

От неожиданности, восторга и ужаса я воскликнула: «Спасибо!»

– Ой, ой, воистину воскрес! – закричала я вслед. Неторопливо и как-то фундаментально продолжал свой путь к роднику описатель земли русской и вологодской в частности.

Борису Можаяеву достаточно было алюминиевого чайника, вероятно, любил свежую воду, а последний раз пройтись к роднику – прекрасное удовольствие. Ступеньки древние звенели и брнчали. На каждой до самой воды выбиты имена любимых барышень строителя: Галчонок, Маша, Вероника, Таня. Сейчас лесенка к роднику деревянная, а старые и фактически уже старинные ступеньки выбросили. А ведь по ним ступали и Пастернак, и Вознесенский, Федин и, вероятно, Анна Ахматова, которая приезжала к кому-то в гости на крайнюю шестую дачу, за которой и течёт родник. Дача сгорела в войну, сейчас там кирпичный двухэтажный коттедж, построенный сплошь для литературных начальников. Прежних и теперешних.

ЕВГЕНИЙ МУЧНИК

А СВАДЬБЫ НЕТ И НЕТ

НАЧАЛО ВЕСНЫ

В начале марта к нам пришла весна
и вновь ушла. Потом вернулась всё же.
Мне кажется, подумала она:
«В конце концов, если не я, то кто же?..»

Я куртку новую себе купил.
А старая из всех старалась сил
мне показать, что это ей до лампочки.
Но я заметил, как грустит она,
и слышал, как мои шептались тапочки
о том, что жизнь жестока и сложна.

Восьмидесятилетний мой сосед
спросил, как мне живётся в шестьдесят.
И услышав печальный мой ответ,
что я уже на крыльях не летаю
так высоко, как двадцать лет назад,
сказал, что я, по сути – детский сад,
и жизни я ещё совсем не знаю.

До свадьбы зажило.
И вот уже прошло
с тех пор немало лет –
а свадьбы нет и нет...

ВИКТОРИЯ

Мы могли бы познакомиться с Викторией
в баре или, например, в консерватории.
Но по барам не шатается Виктория,
а меня не затащить в консерваторию.



Предложила жена в воскресенье,
чтоб вдвоём было нам веселей,
мне поехать в день тёплый, весенний
на открытие ярмарки с ней.

Я ответное внёс предложение:
не устроить ли, может быть, ей
в этот солнечный день, в воскресенье,
для меня день открытых дверей?

И меня поддержала супруга —
был в моём предложении толк:
за последнее время друг другу
накопился супружеский долг.

Отдавая свои накопленья,
я события не торопил
и отдал их за пол-воскресенья.
А потом и вперёд заплатил.

Ехать было на ярмарку поздно —
дал я жару на старости лет.
Ну, а если подумать серьёзно —
сохранил наш семейный бюджет.

45 ЛЕТ СПУСТЯ

(к юбилею окончания школы)

Я на одноклассников глядел,
переживших радости, невзгоды.
Что сказать? Никто за эти годы,
к сожаленью, не помолодел.

Вспоминали школьные дела —
споры, драки, двойки и казёнки —
бывшие мальчишки и девчонки
в стареньких, изношенных телах.

Полными надежд, в расцвете сил,
в памяти моей лишь те остались,
с кем мы после школы не встречались,
кто до этой встречи не дожил.

Но зато на сотый юбилей
грусть уже не будет с нами рядом:
в царстве все мы встретимся теней
и повеселимся до упаду!

ИЗ ПЛАНОВ НА БУДУЩЕЕ

1

С этим миром безумным пора
ещё не настала прощания.
Но на всякий пожарный пора
уже написать завещание.

2

На поэтической зоне
буду поэтом в законе.

ТАСЯ АЛЕК

ДИХОТОМИЯ

Эта ночь будет нашей... Купала...
Купель... Очищение огнём...
Я взлетела, в ладони упала,
Разыссясь волшебным дождём...
А под крыльями – пух непросохший,
А под яблочком – сладкая топь...
И растерян влюбленно-оглохший,
Поедает сердечную дробь...
Я лечу – разойдись, кто не верит, –
Скоротала разбег по волнам...
А Земля, неотменно, отмерит
Нечто вышнее, данное нам...
А Вода, без сомненья, иссушит
Слов нелепых ненужную сыпь...
Эта ночь будет нашей... так лучше...
Только раз... Навсегда... На двоих...

Бесцветной молью бьюсь в твои зрочки.
За ними – знаю – не искусственная ласка.
Воруя радостей минутные клочки –
Сама – на клочья рвусь, как наша сказка...
Неумолимость расстояний – скован бег.
Предсказанность прощаний – сердце стонет...
Не бабочка. Не моль. Не – человек,
Не – женщина... Ком. – Одиночества и боли...

Мне весь мой Мир – тебе отдать – бессловно,
Безропотно, – ты только сохрани!..
И наших встреч – в календаре, условно –
Распятые крестами цифро-дни...
Мой мир, хмельной и трезвый, глупо воеет,
Молчит, иссякнув пыльностью словес...
И только сердце – миррой успокоит...
И только взглядом – счастье до Небес!..
Не усмотри нас, Бог, и спрячь усмешку,
Тебе, Всевидцу, зависть не к лицу...
По пёрышку – небрежно и неспешно –
Расправлю крылья, как по образцу...
Ладони вскину – распинай – готова! –
Я дни раскрасила и расцветила сны...
Мне – весь мой Мир отдать тебе – полслова...
Тебе – полшага – в бездну Высоты...



Это Сумерки – на Восходе, –
 Оборвались, как корочка старой раны,
 Кровоточили о погоде,
 О том, что ложиться – рано.
 О том, что – ещё глоточек
 И уже наплевать – что завтра...
 Лишь души неразборчивый почерк
 Подскажет, кто вечера автор.
 Из ладони в ладонь перекину
 Колоду прожитых дней;
 С воском свечи – остыну –
 Боги решат – кто сильней.
 А мне – дотерпеть до Восхода,
 До Первой. Новой. Зари.
 До весеннего сердца года,
 До последней команды: «Гори!»
 С этой мыслью, как с божьим заветом
 В новый день окаянно ворвусь...
 Я пришла к тебе, Счастье, ответом
 На свою бесконечную грусть!..

Нет на пальцах перепонок,
 Над спиною – крыльев нет.
 Я состарилась – девчонкой,
 Не дождавшейся побед.
 Плесенью покрыла стены –
 Дом ждала – нашла приют...
 Не приученная к плену,
 Не принявшая уют...
 Били – бьют. И буду бита...
 Жгли – сожгут – согреюсь хоть...
 Но земным желаньем свита
 Полупризрачная плоть...
 К Небу – крик – не в долг, а в память,
 Танец глянцем на руках.
 Крылья. Взмах. И клювом ранить
 Чьё-то сердце – в зеркалах...

ЕЛЕНА РОСОВСКАЯ

ЖИТЬ ВЕЧНО

СВЕТЛО?

... ты просила меня рассказать о светлом...

всё когда-нибудь будет, не спрашивай только, когда.
я не знаю ответа, я знаю, что будет и ладно.
а пока мы лежим на ладонях и дышим на ладан,
согревая дыханьем своим города, города,
у которых от холода сводит замки и ограды.
понимаешь, и время и люди — вода.

ты смотрела так часто, как солнце летит под откос,
как на крышах весёлые дворники трогают небо.
я бы тоже по крыше под утро с тобою побегал.
или вышел туманом на каменный северный мост,
и лепил бы кораблики из почерневшего снега,
а потом превращался бы в воду и рос.

ты бы мне улыбалась... под воду уйдут корабли,
мы не станем чужими, мы будем дышать, как и прежде.
пусть на ладан, пусть с нами останутся там же и те же
согревать ледяные ладони замёрзшей земли,
и вода, и весёлые дворники в синих одеждах,
и все те, кто за ними под утро на крышу ушли...

ПУГОВИЦА

Иногда мне очень хочется спрятаться,
как в детстве, закрыть глаза и — под одеяло.
Чтобы ни для кого уже не было разницы,
почему и когда меня вдруг не стало.
Словно я вышла утром как все на улицу.
Уверенно кивнула соседям: здравствуйте,
а потом бы скользнула на землю пуговицей,
и пропала, вместе с отметками в паспорте.
Дата рождения, дата исчезновения,
дата моего первого и последнего имени
перестали бы существовать и иметь значение.
Словно пуговицу с земли подняли и в море кинули,
и лежит она на дне маленькая и никому не нужная,
наблюдает за рыбами, вспоминает прошлое
со всеми его пуговичными «любвями» и «дружбами»,
со свежими газетами и куртками ношенными...

И вот когда море и рыбы становятся для меня единственным настоящим,
а круглое пластмассовое тело самой удобной и надёжной формой,
я хочу оказаться сама собой, только спящей,
под одеялом, живой и глупой, а не круглой и мёртвой.



ИСТОРИЯ

Он был слишком гением, слишком всегда на Вы,
 с изумрудной памятью, с лёгким ажурным слогом.
 Он летал над радугой долго и говорил:
 ты такая глупая, носишься с чувством долга.
 У неё три корочки, третий бумажный глаз,
 вот она и носится с праведным небосводом.
 Вот она и думает: где затерялся Марс,
 в первом доме холодно, в третьем одни уроды.
 Во втором – не празднуют. . . Что ж вы, мои дома,
 все такие грустные, жёлтые, не жилые.
 Он дарил ей армию, злился и воевал,
 и солдаты радостно в небо бросали крылья.
 На иконах сумерки. Где-то за алтарём
 пахнет перемирием, пахнет зимою ладан.
 У неё закончились ампулы с январём,
 у него закончилось время лететь рядом.

И когда наивные шли к образам войска,
 он плевал им под ноги и хохотал над ними,
 а она уверенно шла для него искать
 имя.

«ПОКАХОНТАС»

она всегда считала, что это очень опасно:
 ходить по ночам в гости, носить яркие вещи,
 злоупотреблять алкоголем, есть ложкой масло,
 запоминать сны – а вдруг окажется вещим?
 она называла свой дом надёжной родной ямой,
 в которой было уютно и в тоже время тошно.
 на стенах ямы висели большие оконные рамы
 с портретами настоящего, будущего и прошлого. . .
 а с неба летели чайники, с неба летели плакаты.
 пахло дождём и серой, пахло земным воздухом.
 она затыкала уши и вслух читала Сократа.
 лучшие собеседники – умершие философы
 смотрели с книжных обложек, молча снимали шляпы,
 затем съедали шляпы и важно друг другу кивали.
 за стенами ямы темнело, и кто-то опять плакал,
 рассматривая сквозь окна обои в её спальне.
 она не спеша надевала платье жёлтого цвета,
 хотя вообще не любила режущий глаз жёлтый.
 все книги были прочитаны, все песни давно отпеты.
 она выходила из дому и шла как всегда. . . к чёрту.

ПОЧТИ СКАЗКА

смотрителю окон частенько бывает скучно.
 он молча и день, и ночь напролёт глядит,
 как город большой от смертей и от жизней пучит.
 как ходит речною дорогой крылатый кит,
 он может летать и ходить, потому везунчик,
 он может практически всё, даже делать вид,
 что жизнь городская чему-то его да учит,
 пока город жив, пока этот город спит. . .

за окнами как всегда существуют люди,
 ругаются, спорят, целуются, предают.
 толкают друг друга, жалеют и очень любят,
 хоронят и шлют повестки в народный суд.



а кит никому ни друг, ни весёлый спутник,
он сам выбирает и время, и тот маршрут,
где нет ни присяжных, ни выходных, ни будней,
где как-то давным-давно никого не ждут...

нелепая сказка, нелепый смотритель окон,
и люди, и кит – безымянный крылатый миф,
срастаются в белоснежный огромный кокон
пока город спит, пока этот город жив...

НАЧИНАЮ ПРОЩАТЬСЯ

Начинаю прощаться, сажусь за невидимый стол, открываю блокнот и пишу аккуратно с абзаца: новый год обещал, а потом ни к кому не пришёл, а над старым уже надоело до колик смеяться. Испекла пироги, нарядилась и на пол легла, потолок надо мной улыбнулся и начал вращаться. Если выживу, завтра надену домашний халат и отправлюсь в кино, или даже с друзьями на танцы. За окном шоколад, за окном разноцветный салют, из ладоней моих прорастают зелёные пальцы. Новый год ни к кому не пришёл, а лежачих не бьют, я считаю до трёх, а затем начинаю прощаться...

АНАБОЛИК

И улыбка станет вторым лицом, а потом и вовсе лица не станет.
И ни сна, ни дна, никаких высот, никаких потерь, никаких свиданий.
Постоянство, осень, зима, плюс ноль, и салфетка в клетку и смех на вынос,
и горячий свет до того сплошной, и по кругу, ноль, но со знаком минус.
Ничего, так нужно, закат-восход, а навстречу... нет никого на встречу.
Говорят, с улыбкой идти вперёд непременно в гору и сердцу легче.
И вверху песок, и внизу песок, и приходит время тоски и знаний.
И улыбка станет вторым лицом, а потом и вовсе лица не станет...

МЕЖДУ СТРОК

Я сижу на горе, я практически стала горой,
а внизу Магомет говорлив, суетлив, напомажен,
всё пытается прыгнуть и небо пробить головой.
Не жильцы мы с тобой Магомет – персонажи.

Нас талантливый автор закрыл на амбарный замок,
и теперь мы с тобой, Магомет, не живём между строк.

БОГДАНА БОНДАРЬ

«В ТАЙЛАНДЕ СЕЙЧАС СЕМЬ НОЛЬ ТРИ...»

V DOSTATKE

вот приходит август
дергает за рукав – говорит тебе
ты неправ, иуда, опять неправ

спотыкнувшись раз
поперхнувшись сто раз
говоришь себе –
это блажь
ненужная блажь

подперев колонной небушка клок
водосточность трубы расшатав и разрушив
наблюдаю как девочка, яблоко скушав
закрывает глаза
и больно ей
и пожалеть нельзя

TOUTE SEUL

а дальше родная живи сама
сама
как льдинка в пустом стакане
хромированная струна
пустота в тёмном зале
привокзальная мишура

одна как мёрзлая полынья
как медный всадник
купорос разлитый
первый тур игры восьмибитной
как тонкая тетива

подтаявший пломбир и будущий алыгеймер
провалы в памяти – неточный жест руки
сама
всё сделала
сама

Ю

иосиф просовывает руку в рукав пальто, пугается. на окне сидит кот, думает – быть беде. не ходи иосиф на чугун парадной, не холоди хребастую спину свою, ты же, мать твою, так толком и не случился, не выкурил и не исписал бумаг... на морозе здорово горит вывеска – Универмаг. мои магические университеты, парапеты, поребрики. прохожие подают ему сияющие серебряники, шекели, поднимают шторы и ворот пальто. когда за дверью я слышу вопрос – Кто? – отвечаю – это же



я, я – тот, кто не возвращается, теряет перчатки, чужое тепло, вычитывает не своё добро по ступкам слюны, кого в семью принимают слоны, но никогда люди, кто простужается часто, так как одет легко, у кого узловатые пальцы и голос звонче клаксона. речная вода просвечивает до дна, до ясона, до золотого руна – усатая рыба брюхом выглаживает течения, и я тебе зуб даю – пуля, точка опоры и проза у всех своя. как свая из самого чёрного моря, как свадьба, как пух тополиный. с чем там ещё сравнима любовь иосифа к словам? с олимпийским трамплином, с гимнасткой, вставшей на мостик, с матросом, прячущим кортик, с тобой, с картиной из третьяковки. слова у иосифа сгорают, как папироски, как больные раком и очень любимые дети.

ТАЙ

в тайланде сей4ас семь ноль три
там достает пустоты
4чтобы быть одному
как медвежонок балу,
лилипут в цирке монако
инверсия – я люблю
пущенный богом атом

о тебе думаю только матом
так полу4ается –
в детстве, с братом я всегда побеждала
в карты
марты приносили молодые побеги
бег на время
мена погоды
я о4ень любила
последнюю и предпоследнюю тоже
обо мне они думают толком матом
некрасиво и мелко

раньше я думала, 4то влюбляюсь сильно
теперь я знаю, люблю вишню и немного лимонного сока
окурками прожигать дыры в обоях съёмных квартир
бере4ь и греть руки на кухне
наблюдать разноразной посуды
луковый мармелад
пе4ёно4ные крокеты

мне б сохраниться

может поедем на кубу
соберу кубик-рубик
надгрызенное предсердье
больше не гонит кровь
в детстве я думала – румба –
пройдёт –
не проходит
втемяшивается
вращается в тебя
и живёт

в тайланде времени вообще нет
и ни для кого не секрет
4то любовь убивает
в тебе всё самое лучшее

СТ.

Знаешь, все эти наборные мозаики, почерки леонардо, моцарелла в рассоле – она часто просит – перейди море вброд. И сделай вид, что тот сорт яблок – любимый. А у меня иней и цыпки на пальцах, каждый круг становится уже, делая ясной картину. Посмотри, вот чашка вчерашнего чая,



остывшего и ненужного никому. Ни выпить, ни вылить — я стою и смотрю, тень от стакана ещё коротка, будто полдня не будет, всё говорит мне о том, что утро не задалось, что каждого проходящего терзает вопрос, что небо это всего лишь вспышка в её голове, что же мне делать с собой — без принадлежности, без сопричастности, без.

Земля прогревается скоро, скорее и вовсе меняет градус, я назвала бы тебя всевидящий Аргус, нежно-синее платье, писатель Стус, я говорю с тобой на французском — douce, но хочу намного нежнее, пусть слово размякнет фонемой, пусть будет немой продавщица фиалок, и места пусть будет мало и трубки пусть говорят алло... а потом молчат на меня. И шурупы выкручивают. Назло. Я хочу подарить ей золотое кольцо. Это вопрос. Тебе, отче. Ты же говоришь мне по воскресеньям — будь чётче и будешь услышана, это обещание абсолютно бессмысленно — за двадцать семь лет ты ни разу не отвечал мне. Да, про кольцо... знаешь, давай потом созвонимся.

STB

теперь, по прошествии лет,
 мне кажется,
 я б смогла
 уберечь тебя от сумы,
 тюрьмы,
 от беды
 я б смогла перестать так по-сухьи щениться словами
 жечь конфорки зимними вечерами
 ощущая тепло от тебя
 от тебя мне досталась точка
 три романа про осень
 и загнившие семена
 мокрый снег
 тишина
 до тебя сотня ложек прогорклого лета
 крым, плацкарты, горсть света
 до меня псинный лай, магазин на углу, аптека —
 не дойти
 не дойти до случившегося уже
 только тронь — дрожь по воде
 мелким речным драже
 сыплется сон —
 город угрюм и сер
 и так — много лет
 ощущая тепло от тебя

KOGDA RANO

Мой свет, здесь читают нострадамуса
 едят палтуса
 любят маттиаса
 здесь каждый глагол оканчивается на —us
 и они мотают-мотают на ус
 каждое твоё пусть и пуск
 ежевечерне солдаты говорят пли
 и короли есть у каждой девочки

Мой свет, жить здесь — такое безнадежное дело
 что есть тело, что без тела — всё одно невозможно
 можно только писать слова на телячьих лопатках
 стреножить и поворачивать реки вспять
 здесь нет сна как предмета
 все живут по заветам
 ходят по звёздам
 да по библиотечным полкам
 Мой свет, волками здесь не рождаются,
 но становятся
 пахнут псиной
 и ранодохнут

ИННА БОГАЧИНСКАЯ

«ОДНА СРЕДИ СИЯЮЩИХ ЛИСТОВ...»

эссе

Если у Давида Самойлова были «сороковые – роковые», то у меня «семидесятые – звёзднообъёмные». Мне, зажатой в Прокрустовом ложе одесских литературных вездеходов, больше всего хотелось вырваться на литературную планету, сверкающую созвездиями невиданной величины. Для меня такой литературной галактикой представлялась Москва. Как ни странно, именно там я чувствовала себя, как рыба в родном Чёрном море. Ибо в то время московская литературная жизнь была на высокой волне, вобравшей в себя самые разноцветные и разнокалиберные течения. Несмотря на то, что я довольно устойчиво чувствовала себя на журналистских лыжах даже при крутых виражах, на одесских литературных тропях мне почему-то было узковато: то ли они меня сбрасывали, то ли я соскальзывала с них. И тогда я стала совершать головокружительные налёты в Москву. Надо сказать, что даже в самых моих сказочных сюжетных поворотах я не могла предположить, что какой-то из них станет реальностью. И что я не только буду общаться с теми, кто представлялся мне поэтическими небожителями, но что даже буду вхожа в святая святых – места их обитания, где они сотворили свои шедевры.

Вы знаете, насколько упряма бывает царица Мнемозина в нежелании осветить какие-то участки своих затемнённых покоев? Но один из них высветился очень чётко: тогдашний директор Центрального Дома Литераторов (ЦДЛ) Борис Филиппов почему-то проникся ко мне доверием и уважением после того, как познакомился с моими стихами, избородившими тетрадные листки. И в результате этого выдал мне специальный пропуск на проход в ЦДЛ. Тут-то и началась моя эпопея «хождения по именам», которые, как я упоминала, были для меня тогда столь же нереальны, как появление какой-нибудь звёздочки из системы Альфа Центавра. Для меня поэтическим Богом был Андрей Вознесенский. Но, увы, неведомые волны вынесли меня на его берег несколько позже. Первый мост общения выстроился с Беллой Ахмадулиной. Конечно же, в ЦДЛ, за столиком, где восседало созвездие таких же недостижимых тогда для меня имён. Среди них был Евтушенко со своей будущей женой – англичанкой Джейн, и Римма Казакова, и директор зала Чайковского, и другие...

Ахмадулина сразу же бросалась в глаза своей «не-от-мира-сейгошностью». Было в ней что-то от минутку залетевшей птицы с блуждающими глазами, в которых читалась внутренняя неразрешимость: то ли взлететь, то ли остаться. Казалось, что она одновременно обитает в нездешних пространствах, и в то же время каким-то полутелесным касанием обозначает своё присутствие в моменте. Разговаривать с ней было непросто из-за постоянной необозначенности её присутствия. Но, тем не менее, сквозь неё проходила волна доброжелательности, соучастия и готовности прийти на помощь.

Я сказала Белле, как высоко ценю её творчество. Как трудно достать в Одессе её книги, что они продаются на чёрном рынке по баснословным ценам, также как и книги Вознесенского. Я поведала ей о том, что, помимо стихосложения, занимаюсь ещё и журналистикой, и что очень хотела бы сделать очерк о ней. Белла с интересом слушала. И в результате согласилась на то, чтобы я написала очерк о ней.

Не помню, при какой встрече она пригласила меня к себе домой в «тот дом на Поварской/в пространство, что зовётся мастерской/художника...». Там она обитала со своим мужем Борисом Мессерером. Моей целью тогда было написать очерк для газеты «Вечерняя Одесса». Белла подарила мне и газете свои фотографии и стихи. На одной из фотографий она сделала следующую надпись: «Милой Инне – на память о Москве, о разных разностях и о Белле Ахмадулиной. С пожеланием многих радостей и стихотворений». Вообще она была щедра на тёплые и вдохновенные надписи. Вот некоторые из них на подаренных мне книгах: «Инне Богачинской – с благодарностью за благосклонность – Белла Ахмадулина». Или: «Моя дорогая милая Инночка! Книжонка – плохая. А Вы – хорошая. Ваша Белла». А вот надпись на её первой книге «Струна»: «Милая Инна! Эта книга так давно была, я вспоминаю мою молодость, люблюю Вашей молодостью и желаю добра – Белла Ахмадулина».

Помню, что меня поразила огромность мастерской и хрупкая, парящая фигура Беллы, которая как бы периодически приземлялась то у кухонной плиты, то у стола. Кстати, запомнился тетрадный листок, висевший над плитой, на котором подробно описывалась методика приготовления бифштекса.



Белла пригласила меня принять участие в разделывании перепёлок. Мне стало ясно, что она, так же, как и я, не была наделена особыми дарами и пристрастиями к кулинарному искусству. Мне сразу стало спокойнее от этого.

Не изменяя своей особенности вляпываться своими откровениями в неловкие ситуации, я поведала Белле о том, какое тронное место в поэзии я отвожу Андрею Вознесенскому. Снисходительно улыбнувшись, Белла сказала:

– Действительно, только Андрюша может позволить себе рифмовать автопортрет с аэропортом.

Во время моих регулярных наскоков в Москву мы всегда встречались с Беллой. В качестве поэтической иллюстрации позволю себе привести своё стихотворение, посвящённое ей. Оно далеко не совершенно, но просто отражает моё тогдашнее видение Беллы.

БЕЛЛЕ АХМАДУЛИНОЙ

Когда предрассветная влага
Огнём проступает на теле,
Когда даже радуга в тягость –
Зайдёшь к Ахмадулиной Белле.

Как хрупкий цветок на морозе,
Теплом и отчаянием дышит,
И крылья расправит, как может,
И рвётся за тучу, и выше.

Какие в ней штормы и штили
За полувоздушной улыбкой?!.
Её никому не осилить,
Хотя она кажется зыбкой.

Обиду с тобою разделит.
Расскажет, как выжарить утку.
Такая, как все. Только еле
В ней боль проступает, как будто

Застряла в двух тёмных созвездьях,
Чуть-чуть занавешенных чёлкой.
Как будто бы – смелый наездник,
Навек обручившийся с чёртом.

Как будто бы – чья-то утеха –
Восславить искусство бумагой –
Дана ей как блажь, как орехи,
Как утро, как дети, как шпага.

Никто удивляться не вправе,
Здесь таинство слухи развеет.
Здесь женщина рифмами правит.
Здесь женщина выглядит феей.

Расшита стихами бумага,
И жемчугом каждый отделан
Рукой живописца и мага
И сердцем пылающим Беллы.

1974г.

Белла обладала качеством, которое я очень ценю – умением слушать. Меня всегда разрывали внутренние стихии, перманентно сражающиеся друг с другом. Мне казалось, что только переезд в Москву сможет меня исцелить. Тогда уровень моего духовного развития ещё не поднялся до понимания простой и одновременно непомерно сложной истины, что мы всё носим с собой и в себе. Об этом говорили ещё древние, сконцентрировав эту истину в одной фразе: *omnia mea tecum porto*.

И вот Белла в ту пору как могла старалась помочь мне в осуществлении моей идеи переезда в Москву. Помню, что, исчерпав все варианты, она сказала мне, что даже её друг – большой и влиятельный поэт Павел Антокольский – не смог сделать прописку своей домработнице. Так что единственным действенным выходом был только брак с москвичом.



Помню, что во время одного из моих визитов к Белле ей звонил Василий Аксёнов, только что вернувшийся из Америки. Белла говорила, что он взахлёб рассказывал о том, что увидел там. Потом это вылилось в его прозу «Круглые сутки нон-стоп». Звонил ей тогда и Высоцкий, сетовавший на трудности, которые так искусно воздвигали наши доблестные бюстители визового режима, препятствовавшие его соединению с Мариной Влади.

В доме Беллы и Бори я познакомилась с поэтом Александром Николаевым и его дочкой – начинающей поэтессой Олесей Николаевой, которая пришла тогда со своим женихом Володей Вигилянским. Наши отношения с Олесей, с лёгкой Беллиной руки, сохранились на всю жизнь. Сейчас она – талантливый поэт, автор многих поэтических сборников, профессор Литературного института им. Горького. Несколько лет назад она пригласила меня провести поэтическое выступление перед студентами её курса. Муж Олеси – Владимир Вигилянский – в настоящее время занимает пост руководителя Патриаршей пресс-службы.

За более чем три десятилетия, прожитых мной в Нью-Йорке, Ахмадулина приезжала в Америку с выступлениями всего несколько раз. Один её приезд совпал с днём её рождения, десятого апреля, который она праздновала в манхэттенском ресторане «Русский самовар». А другой её приезд совпал с моим днём рождения. Она пригласила меня в этот день к себе и подарила свои стихи, подписанные мне по случаю дня рождения. Продолжая тему дней рождения – в 2003 году мы встретились с ней в зале Чайковского на семидесятилетии Андрея Вознесенского, куда я прилетела из Нью-Йорка в качестве приглашённого гостя. Эпизод этой встречи запечатлён на нашей с ней фотографии.

Думаю, что многие уже осознали, что есть несчётные армии пишущих стихи и только единицы, которых можно назвать Поэтами. Кроме способности к версификации, эта категория литераторов обладает ещё так называемой поэтической натурой, с особой психической структурой и нервной организацией. Ахмадулина, несомненно, принадлежала к этой категории. Любой истинный талант предполагает наличие особой, магнетической энергетики. Именно это свойственно и произведениям Ахмадулиной, и её облику. Кроме всего, она читала свои стихи так, как будто сиюминутно сочиняла их. Она была окружена ореолом тайны. Но не искусственной таинственности, которую сейчас умело изображают специалисты по созданию нужного имиджа. Стихи артистично и естественно исходили из её облика. У неё был свой, я бы сказала, каминный голос, повествовавший даже о незначительных вещах на высокой художественной ноте.

Вспоминаю забавный случай, который произошёл с Беллой в один из её приездов в Нью-Йорк. Как я уже отмечала ранее, образ Беллы с её как бы бегущим по волнам взглядом, обитающим в только ей ведомых эмпиреях, плохо сочетался с бытовыми реалиями. И вот как-то она позвонила мне в панике, что чуть не отравила Борю. Дело в том, что в квартире, в которой они остановились в Нью-Йорке, на кухонном столике стояли бутылки с разным содержимым. И вот, когда Белла делала яичницу, она влила на сковороду раствор для мытья посуды, не сомневаясь в том, что это было подсолнечное масло. Боже, как мне это знакомо! – только и могла воскликнуть я. Слава Богу, всё обошлось без фатальностей. Ошибка была вовремя обнаружена.

Увы, сейчас Белла осваивает другие пространства, в которых отсутствуют и кухонные рецепты, и рифмотворные тропы. В своём некрологе, напечатанном и в Нью-Йорке, и в Одессе, я назвала Ахмадулину «хрустальным Атлантом Поэзии». В очередной раз мы стали свидетелями действующего во Вселенной закона парности: один за другим покинули земную обитель две гигантские личности – Андрей Вознесенский и Белла Ахмадулина. Опустела без них не только русская литература, но и Земля. Их последние пристанища оказались расположенными близко друг от друга. Как мне рассказала вдова Андрея Вознесенского Зоя Богуславская, во время похорон Беллы кто-то принёс горсть земли с могилы Андрея. Пусть же им обоим она окажется духом!

ВАЛЕРИЙ КУЗНЕЦОВ

ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ МОСКВЫ В ОДЕССУ очерк

Одесса. Лето. Желтизна солнца и синева моря. Белая сладкая акация с незабвенным запахом. На каждом углу киоск с газировкой и евреем – продавцом.

Трамвай целый час гремит в Лузановку. Лузановка – широкая полоса песка с утра девственно чистого, окаймлённого диким парком с запутанными аллеями, где можно спрятаться с девочкой и досыта нацеловаться.

Мы предпочитали добираться на попутных грузовиках, которые мчались мимо Лузановки по дороге в Николаев, Херсон, Каховку... Прыгнув на ходу в кузов, прятались, чтобы шофёр нас не заметил. Тогда, в основном, ездили без зеркал. Но если нас водители замечали, то некоторые останавливались и с монтировкой в руках сгоняли, а другие специально прибавляли скорость, чтобы мы не могли прыгнуть на ходу и, завезя далеко в степь, высаживали. Мы потом долго брели по жаре к вожделенной Лузановке. Это была наша игра, в которой принимали участие и шофёры. Иногда она заканчивалась трагически. Но речь не об этом.

Ранним утром Лузановка была чудесна. Вода чиста и прохладна. Песок обсыпал наши обнажённые тела. Накупавшись, загорали. Адреналин играл в крови и заставлял нас кувыркаться и прыгать. Дело в том, что я был акробатом и с гордостью носил значок перворазрядника. На песке, чувствуя себя как на матах, я прыгал сальто-мортале, флик-фляки и прочие акробатические трюки. Обучал своих друзей. На руках мы стояли лучше, чем на ногах и строили пирамиды, собирая вокруг себя толпы восхищённых пляжников. Напрыгавшись, мы отдыхали на песке, и восторженные поклонницы потчевали нас своими бутербродами, которые приносили на пляж. Потом отправлялись в поход на бахчу, которая была недалеко за Крыжановкой, и приносили добычу, а иногда и дробь в заднице. Так мы проводили летние каникулы, а осенью собирались в школе загоревшие и отдохнувшие.

В один летний день ко мне в Лузановке подошёл невысокий коренастый парень, положил руку мне на плечо и похвалил мои акробатические прыжки.

– А ты тоже акробат? – спросил я.

– Нет, я жонглёр.

Он подобрал несколько камешков и стал жонглировать ими. Я тоже умел жонглировать, но не больше, чем тремя-четырьмя предметами. А он без труда бросал пять и более камней.

– Где ты научился? – спросил я.

– Я студент московского циркового училища, – с гордостью ответил он.

– Я тоже хочу в училище.

– Поезжай, через неделю вступительные экзамены, тебя примут, – сказал он. – Ты хорошо прыгаешь.

Меня окружила компания друзей и стала уговаривать.

– Подумай, – заявил наш атаман Косточка. – Ты станешь артистом, будешь выступать на манеже в костюме, расшитом блёстками, под лучами прожекторов.

– Да он перестанет с нами здороваться, – рассмеялся кто-то из шутников.

– Но как я поеду? – спросил я. – Ведь у меня нет денег, да и одному как-то не по себе.

– Я поеду с тобой, – заявил один из моих друзей, Лорик, фехтовальщик и самый способный из моих учеников.

– Но где взять деньги?

– У меня в подвале есть куча старых мешков, – сказал один из компании.

– А у меня в сарае – старый велосипед и динамики от радиоприемника, – отозвался другой.

На следующий день вся компания отправилась на толчок, где лихо расторговалась и, собрав нужные на билеты деньги, отправили меня с Лориком в Москву. На дорогу вручили два десятка пирожков, которые стоили тогда по четыре копейки штука и бутылку газводы. К тому же все, скинувшись кто сколько мог, вручили нам на всё про всё пятьдесят рублей.

Одесса уплывала вдаль вместе с Лузановкой, пляжами и музыкой итальянских певцов, которая звучала из радиоточек. Утром, когда мы проснулись на третьих багажных полках, потому что места у нас были сидячие, увидели в окне вагона сосновые и берёзовые рощи. Мы с восторгом наблюдали



русские лесные пейзажи, невиданные в Одессе. В предвкушении новых приключений и переживаний с нетерпением дожидались Москвы, доедая последние пирожки и запивая их газировкой.

Москва нас встретила мелодией Шостаковича. Мы вышли на привокзальную площадь и сразу попали в лапы милиционеру. Уж очень экзотично для Москвы выглядели. В лыжных костюмах, белых парусиновых тапочках, без чемоданов и сумок. Милиционер долго не мог поверить, что вот так, налегке, мы приехали поступать в цирковое училище. Потом, проверив наши школьные аттестаты, метрики, а также заявления о поступлении, которые мы заранее заготовили (к тому же я, чтобы полностью убедить его, прыгнул прямо на асфальте задний сальто-мортале, а Лорик встал на руки и сделал пируэт), он поверил и отпустил нас, предварительно объяснив, как можно добраться до Бауманской улицы, где жила моя тётка, у которой я рассчитывал остановиться. Тётка была не в восторге от нашего появления. Она не ожидала двух одесских прожорливых пацанов, которых «легче похоронить, чем прокормить». Она так была категорична и холодна, что мы со своим одесским гонором на следующее утро очутились на улице. Лорик, более опытный в житейских вопросах, успокоил — мы прекрасно проживём на московских вокзалах. Мы шли по красивым улицам, разглядывая всё и всех, как в зоопарке. Впервые на витрине елисеевского магазина увидели ананас, потом ларёк, где продавали торты из мороженого. Такого в Одессе не было, и мы решили, что не уедем, пока не попробуем всех этих яств и не выкурим пачку сигарет «Герцеговина Флор», которые курил Сталин.

Шли пол-Москвы пешком, чтобы сэкономить те немногие копейки, которые остались на жизнь. Мы успели на последний отборочный тур. У нас взяли документы и разрешили зайти в манеж и сесть на барьер вместе с остальными абитуриентами. В одних трусах, щёлкая зубами от волнения, все выстроились в шеренгу, вдоль которой ходили педагоги, проверяя руки, ноги и даже зубы. Треть отсеяли, оставшихся экзаменовали — кто что умел. Ребята прыгали, подтягивались на трапеции, пели и делали немые этюды, которые им задавали. Меня приняли, а Лорика — нет. Пока я сдал обязательную конституцию и писал диктант, мы шлялись по шумному муравейнику, именуемому Москвой, спали на вокзалах и один раз даже умудрились переночевать в Александровском сквере, напротив кремлёвской стены под скамейкой. А однажды нам повезло. Сидели в сквере. Я учил конституцию, которая плохо шла на голодный бурчащий желудок. Лорик развлекался тем, что пытался из подобранных окурков смастерить папироску. Рядом с нами сел respectable мужичина с большим белым батоном. Он шипал его и кидал крошки воробьям, которых собралось множество. Не в силах выдерживать это издевательство над хлебом и моим пустым желудком, я бросил учебник в воробьев. Мужичина, понимающе ухмыльнувшись, ушёл, оставив на скамейке батон, в который мы сейчас же запустили зубы.

Наконец, я сдал эту клятую конституцию. Наши мамы, сжалившись, послали нам деньги на имя тётки, к которой мы изредка заходили в надежде перехватить кусок хлеба или пару копеек. Мы стали богачами и решили исполнить свою мечту: попробовать то, чего нет в Одессе — ананасы и прочие лакомства. Нет! Мы не просто обжирались, мы не были бы одесцами, если бы не посетили Останкинский и Шереметьевский музеи, о которых нам так красочно рассказывал учитель истории. Опомнившись, когда в карманах осталось несколько десятков рублей, которых не хватало даже на полбилета в Одессу.

Ночью мы пробрались на перрон Киевского вокзала, но близко подойти к поезду не смогли. Вдоль всего состава ходила милиция, бдитительно наблюдая за порядком. Тогда, обойдя ярко освещённый перрон, мы зашли с хвоста поезда и залегли под соседний. Тут в полутьме тоже ходила милиция. Мы рассчитывали сесть на ходу, когда наш поезд тронется. Лежали, затаив дыхание, мимо нас топали сапогами обходчики с молоточками на длинных ручках и сторожа.

Вдруг двинулся состав, но не наш, а тот, под которым мы прятались. Колеса со скрежетом прокатывались мимо нас. «Лежим, — сказал шёпотом Лорик. — Поезд пройдёт над нами, и мы убежим». Но тут тронулся наш одесский состав. Мы, не стовариваясь, выкатились между пробегавшими колесами и вскочили на подножку одесского поезда, прижались к дверям, стараясь в полутьме слиться с ними. Мимо проплывали фигурки сторожей, обходчиков и милиционеров. Пронесло. Состав набрал скорость. Нам уже не надо было прятаться. Мы взобрались на крышу и сели друг против друга на противоположных концах крыши вагона, уткнув головы друг другу в животы. Холодный ветер постепенно выдувал из нас запал, который мы получили, просмотрев перед отъездом фильм «Их было пятеро». Ветер забирался за пазуху, леденя не только тело, но и душу. Сажка, летевшая с локомотива, забивала глаза, уши, рот. Мы сидели как будто перед огромной аэродинамической трубой, которая выдувала из нас остатки тепла и жизни. Поезд оказался экспрессом и очень редко останавливался. На коротких стоянках мы не успевали согреться. На рассвете, не выдержав, выпили чекушку, которую свято хранили и оберегали всю ночь, закусив горбушкой хлеба, натёртого чесноком и густо посыпанного солью. Забыв осторожность и разомлев под вставшим солнцем, мы растянулись на крыше и, нежно обняв трубу вентилятора, торчащую из вагона, заснули беспечным сном. . .

Мама стояла над моей постелью и, откинув край ватного одеяла, тормошила меня, приговаривая: «Вставай, приехал!». Открыв глаза, я увидел над собой несколько склонившихся голов, которые, ухмыляясь, говорили: «Вставай, приехали!». Меня спустили с крыши на землю, где уже стоял Лорик в окружении людей в штатском, крепко державших его за руки.

— Ну, что ж, полезли под вагон на ту сторону, — сказал один из них, видимо, старший.

— Не лезу, — заявил я. — А вдруг поезд тронется, боюсь.



– Ну что ж, подождём, – ответил он и переложил из внутреннего кармана пистолет в боковой карман пиджака.

В станционной милиции нас допросили. Два следователя – один строгий, другой добрый. Один стучал кулаком, матеря, другой мягким голосом уговаривал нас в чём-то признаться. Первым делом они вытрусили торбу и, отложив в сторону остатки краяхи и чеснока, открыли папку, где мы держали документы. Там вместе с нашими аттестатами и справкой, которую я предусмотрительно взял в канцелярии училища, лежала стопка чистых почтовых конвертов, среди которых один был запечатан. В нём Лорик держал свои поддельные печати, которые изготавливал на фотобумаге. У него не было настоящего аттестата, и он сделал поддельный. Ему бы выбросить их, но он почему-то оставил. Может, как образец своего искусства.

– Что в этом конверте? – спросил следователь.

– Не знаю, – ответил Лорик.

– Откуда у тебя конверты?

– На почте взял.

– Украл?

– Нет, взял.

– Посмотрим.

Следователь вскрыл конверт, и у него глаза полезли на лоб. Там были поддельные печати и справка на имя Лорика.

Мы очутились на Брянской пересылке. Зачем нас, тринадцатилетних пацанов, туда отправили? Ужас и кошмар, которые я там увидел, остались на всю жизнь. Утром, проснувшись, мой сосед по койке, пожилой крестьянин, не помню за что сидевший, пожаловался на плохой сон.

«Слышь, пацан, приснилось, что надел свитер, а воротник тесный, душит, чуть во сне не задохнулся».

Он облокотился на столб, поддерживавший нары, и стал сворачивать козью ножку. Сзади подкралась пара парней и, накинув ему на шею полотенце, стали его душить. Я онемел от страха. Один парень показал мне пальцем на рот, потом провёл по шее. Крестьянин без сознания упал на пол, и тогда один из убийц вскочил на койку и прыгнул ему на живот. Второй затянул петлю, когда несчастный выдохнул остатки воздуха. Потом они засунули его под койку и стали тарабанить в дверь камеры, крича: «Хозяин! Забери труп». Ворвалась охрана, схватили парней и увели их. Начальник, подойдя ко мне, спросил: «А ты, пацан, что здесь делаешь? Иди за мной». В канцелярии пересылки я написал дрожащими руками показания, после чего мне сунули в руки мои документы и вытолкали из тюрьмы, посоветовав убраться, пока цел. Я побежал на вокзал, и тут счастье мне улыбнулось. Подошел поезд, который шёл в Одессу. Я вскочил на подножку и моментально взобрался на крышу, заполненную мешочниками. И только тут я вспомнил про Лорика, сидевшего в другой камере. Но что я мог сделать после пережитого ужаса?.. Решил добираться до Одессы сам.

Найдя среди мешочников на крыше место, выпросив на закрутку махры, я скрутил сигаретку и, затянувшись, решил, что мои мучения и ужасы кончились, и я скоро буду дома у самого синего, самого любимого моря и смою с тела и души всю сажу и грязь.

«Вон сколько людей едут на крышах вагонов, – думал я. – Никто их не тронет, а тем более меня. Нас, безбилетных, много».

Несколько часов я, развалившись на крыше вагона, грелся под августовским жарким солнышком. Неожиданно поезд стал замедлять ход, послышались крики и вопли. Я вскочил и увидел, что со стороны паровоза движется группа людей, которые ногами на ходу вышвыривают мешки и торбы, а испуганные люди торопятся слезть и спрыгнуть на ходу с подножки. Мне показалось, что среди этой группы находятся те, что меня сняли с крыши. Я повернулся и помчался к хвосту поезда, рассчитывая добежать до последнего вагона, спуститься на подножку и спрыгнуть. Вдруг сзади меня раздался выстрел. Я вспомнил про пистолет у старшего группы. Долго не раздумывая, я на ходу сиганул вниз на насыпь. Меня спасла акробатическая подготовка – я приземлился, сгруппировавшись в клубок, и покатился по насыпи, пока не очутился в луже, заполненной водой и отработанным мазутом. Несколько минут я приходил в себя. Потом бросился догонять поезд мимо несчастных людей, которые с плачем и воплями бродили вдоль насыпи, разыскивая свои сброшенные мешки и котомки. Я догнал поезд, который остановился на разъезде, и пристроился на тамбуре последнего вагона. Я понимал, что после облавы поезд оставят в покое, тем более, что он опаздывал по расписанию. Теперь я ехал спокойно. Меня знали все проводники и не гоняли. Вот только есть нечего. На одном разъезде я соскочил на землю и успел сорвать несколько подсолнухов и кукурузных початков. На станциях я сходил и гулял вдоль перрона, ожидая, когда поезд тронется, и тогда вспрыгивал на подножку. Спал в тамбуре на заплёванном и забросанном полу. Ночью ходили люди, равнодушно переступая и подсвечивая фонарем мне в лицо. Я знал, что это контролёры, и они меня не тронут.

На одной станции из окна вагона высунулись две миловидные девушки, видимо студентки, и позвали меня. «Мальчик, иди, мы покормим тебя, мы видели, как ты ел кукурузу и подсолнух». Ложное чувство стыда и достоинства погнало меня прочь в другой тамбур. Они нашли меня, и парень, их сокурсник, вынес мне свёрток с едой, говоря: «На, поешь, пацан». Я в панике бежал от студентов и очутился в тамбуре последнего вагона. Там ехала нищая женщина без ноги с младенцем на руках. Они сидели на куче грязного тряпья в углу тамбура. Дитё спало, время от времени просыпаясь и хныкая.



Нищая, не стесняясь, вынимала высохшую грудь и совала сосок в рот. Там, наверное, не было молока, но дитя по привычке хватало грудь и замолкало. Вот у этой бедной и нищей женщины я не стеснялся принимать кусок хлеба, а иногда и ломоть арбуза. Кормилась она подачками и подкармливала меня. Так я доехал до Одессы – не сыт, но и не умер от голода. Милиция и контролёры меня не беспокоили, вот только однажды я вылез на разъезде и встал под вагон по малой нужде. Рядом со мной пристроился какой-то мужичок и словоохотливо расспрашивал про Одессу.

– Что там за народ? – спросил он меня.

– Шпана блатных и шайка нищих, – шегольнул я одесским фольклором.

Потом, глянув на его брюки, я прикусил язык, увидев на них милицейский кант.

Я залез в тамбур к нищей, сел на пол и ногой упёрся в дверь. Нищей знаком показал, чтоб она молчала. Мужичок привёл двух милиционеров. Они дёргали дверь, а я держал её ногой. Всё это продолжалось, пока поезд не тронулся. И вот, наконец, поезд остановился на станции «Одесса-Сортировочная», что напротив Лузановки. Я, тепло распрощавшись с нищей, спрыгнул на землю и пошёл на пляж. Я знал, что в это время там купается моя компания, которая отправила меня в Москву. Они меня не узнали, я был чёрный от сажи и грязи. Всею компанией пытались отмылить меня, растирая песком и поливая морской водой. А над головой из радиоточки пел Карузо, Джилли, звучала музыка одесской Италии. Как будто я никуда не уезжал. Накормив меня пирожками, которых я съел множество, они посадили меня на трамвай, и я поехал домой. Но опять не доехал. Под пересыпским мостом потерял сознание и очнулся в больнице, где меня спасали от заворота кишок.

Я остался жить и к первому сентября уехал в Москву учиться.

АЛЁНА ЯКОВЛЕВА

НА ЛОШАДКЕ ПОКАТАТЬСЯ очерк

... Вот они сменяются один за другим, эти пейзажи, всегда какие-то скучные и однообразные. Вот так глядишь из замызанного окна плацкартного вагона и осознаёшь, что жизнь – всего лишь смена вот таких же безликих пейзажей. Унылые столбы, за которыми такие же скорбные голые деревья, высаженные словно под линейку, так сказать, для русской души, а за ними – бескрайние сырые, тучные вспаханные поля, чёрными квадратами они уползают за горизонт, словно танковая дивизия. По окну покатились первая за сегодня ленивая капля ноябрьского дождя, за ней другая...

Что такое лошадь, кто такая лошадь? Что вы знаете об этом чудесном существе, олицетворяющем дух свободы, а порой и заточения? Что для вас значит – работать как лошадь? Вы знаете, что это млекопитающее, а дальше?..

Они все разные, как и мы: кто-то из них спортсмен, кто-то игрушка, кто-то батрак. До чего же уменьшено и исковеркано понятие – домашняя лошадь, спортивная лошадь, прокатная... Смешно порой слышать вопросы о том, спят ли лошади лёжа или ах, что вы, неужели правда то, что подковы прибиваются прямо к ногам? А для чего они, для красоты ведь? А как она будет кушать с железячкой во рту, это вообще возможно?

Возможно. Да, они могут есть с трензелями, но ведь это неудобно. Да, они могут дремать стоя, но ведь всем необходимо крепко поспать, и для этого они тоже предпочитают ложиться. А подковы... А что подковы? Это всего лишь необходимость – вы же не ходите по колючим камням босиком? И ни при чём тут красота и удача? Вы ведь не тащите домой найденный на улице чей-то башмак? Да, к копытам их прибивают, специальными гвоздями...

Таких вопросов сотни, но почему-то никто не спрашивает, как правильно себя вести рядом с лошадью, как поступать с ней, чтобы она стала вашим товарищем, а не опасным соперником, а иногда и безучастным снарядом... Сколько же бестолковых вопросов задают люди кроме главного: а что же думает и что чувствует лошадь...

– Почём на лошадке покатаются? – задаёт вопрос respectable дама девушке, которая вывела на середину площади серую лошадь с облезлым хвостом, (возможно для какой-то странной, замученной красоты) очень туго заплетённым в «колосок». Даму за руку тянет мальчишка лет семи и не переставая твердит – кататься, кататься, мама, я хочу покатаются на лошадке. Обыкновенная картина для городского проката.

Девушка грубо одёргивает спокойную кобылу:

– Пятьдесят гривен по большому кругу и тридцать по малому. Так будете кататься?

Лошадь уныло смотрит на людей, не испытывая к ним почти никаких чувств, даже ненависти. Её взгляд обращен внутрь её лошадиной души...

– Да, пожалуй малого круга хватит, – сообщает теперь уже клиентка проката, – Мишенька, иди, тётя тебе поможет сесть на лошадку.

Мастерица городских катаний приглашает подойти с её стороны, но мальчик идёт почти у задних ног лошади. «Какой ужас, – мелькает в глазах у кобылы. – Вот я старая, ничто мне уже не страшно, ничем уже меня не проберёшь. А они как один не учат своих детей тому, что нельзя обходить лошадь сзади! Ведь я могу случайно отступить назад, махнуть хвостом не заметив, у меня же нет там глаз, и вот уже будет что послушать... А ведь молодая кобыла могла бы и нарочно задом отбить! Или от страха...» А что вы знаете о лошадином страхе?

Ребёнок уже в седле, колотит стремянами и пятками в тощие бока, и без того облезлые и испещрённые шрамами от предыдущих седоков. Особенно болезненны удачные попадания углами стремяни по торчащим как радиаторные секции рёбрам, изящно спрятанным за ширмой тоненькой попонки. Сверкнула боль во рту, изодранном не по размеру большим трензелем, с заботой дополнительно обмотанным в месте сочленения проволокой...

Кобыла двинулась работать, влекомая жёсткой рукой своей хозяйки, словно заключённый на прогулке. Пошла делать свой позорный круг.



Она хромала, казалось, на все ноги. В свои четырнадцать лет она – старуха, прошедшая долгий путь и чудом выжившая в освенцимских застенках... А ведь это волшебный возраст зрелой лошади – лишь половина жизненного пути. Для кого-то – лишь половина...

Она шла и думала о том, как когда-то была весёлым и задорным жеребёнком, которого ждали заводчики, специализировавшиеся на разведении орловских рысаков. Кто, ну кто сумеет увидеть в этой развалине чистые орловские крови? Её называли Уникальная, и она была перспективной резвой кобылкой. Она росла, тренировалась и верила, да тогда она ещё верила, умела верить людям. Потом пришло время испытаний, и она, увы, не показала хороших результатов на ипподромной дорожке. Из-за недостаточно хорошего экстерьера её не взяли на племенное производство, и будучи выбракованной, она попала в прокатную конюшню при КСШ на этом же злосчастном для неё ипподроме. Там она и получила свою первую травму: управляемая рукой новичка, она неудачно «взяла» препятствие и повредила ногу, после чего её наспех подлечили и продали в первый в её жизни прокат, настоящий прокат, который разительно отличался от ипподрома. Новым хозяином Уникальной оказался вечно злой и пьяный дядька, вымещавший всю свою злость на ней. Тогда-то и кануло в прошлое имя – Уникальная, а на её месте появилась Серая. Вместе с именем исчезли надежда и доверие ко всем двуногим. Потянулись однообразные дни, которые начинались и заканчивались побоями... Тогда она впервые ударила человека.

Из года в год – плохие всадники, жестокое обращение, мрачные условия, дешёвая амуниция, плохая еда... Однажды под левой её ногой провалилась истлевшая гнилая доска, и Серая простояла, безнадёжно застряв в полу, трое суток. Только к детям она относилась с теплом и приязнью. Она понимала, что они причиняют ей боль не нарочно – от незнания, от неумения. Ну кто, кто объяснит малышу, влюблённому в лошадь, что нельзя дёргать повод, что не нужно бить в бока? «Я сама давно знаю, как везти тебя, человек! Довезу, как хрустальную вазу, только, пожалуйста, не бей меня...»

Жеребят у неё не было. А дети любили и жалели её, приносили лакомства и утешали как могли. Не так, как другие – те взрослые, которые всё знают, но обижают специально...

Когда Серая была обнаружена, стоящая в проломленном полу, она почувствовала, что на этот раз ей грозит нечто более ужасное, нежели просто побои. Хозяин тут же решил избавиться от неё, и потому как никто особо не захочет возиться с большим животным и вероятность выгодной продажи отпадала сама собой, он решил сдать скотину на бойню.

Спас случай: уже на бойне её обменяли другому покатушнику на ещё более тяжёлую лошадь, и кошмар продолжился. Так прошла её юность и молодость – вся жизнь – в бесконечной веренице сменяющихся лиц, одинаковых дней и одинаковых хозяев.

Вот и сегодня она стоит здесь – голодная и больная. Для чего? Откуда ей было знать да и осознала ли бы лошадь, что она всего лишь инструмент для зарабатывания денег? Что для животного – деньги?

Мальчик, довольный, слез с лошади, погладил её и угостил печенюшкой:

– Пака, лашадка!

Может быть, он вырастет и поймёт, что... Но мальчик вместе с мамой уже скрылся за углом.

Сколько людей, сколько имён... Каждый называл её по новому: Серая, Крыса, Балерина... Какая балерина?! Уникальной вспомнился старый мерин, который жил в крайнем деннике их прокатной конюшни – бывший спортсмен. Тоже весь большой насквозь. Как и на ней теперь, на нём места не было живого. Может, так и должно – лошади быть рабом человека?

Новый седок вонзил пятки в бока. Новый, теперь большой, круг...

Лишь однажды подошла женщина и на уговоры «покайтесь на лошадке со скидкой» ответила спокойным тёплым голосом:

– Не буду.

– Денег жалко?





– Нет, девушка, мне не жалко, как вы выразились, денег. Я вам лучше так денег дам, чтобы вы ей кушать купили, – сказала женщина и положила перед лошадыю охапку свежей вкусной травы, которая росла здесь же в парке, но Серой не позволяли «жрать на работе».

– Какого чёрта? Это моё животное. Кормить без моего на то позволения! Вы что, не видите, она на работе находится!

– На какой работе? Вы же хот-дог позволяете себе съесть. Я за вами, между прочим, давно наблюдаю. Вы здесь с десяти часов утра до двенадцати ночи стоите! Почти каждый день! А ваша лошадь за это время не ест ни разу! Как она держится ещё?

– Не твоё дело!

– Ведь она живая! Она же всё чувствует!

– А меня не интересуют её чувства, я вообще последний сезон держу эту шкуру, на ней не заработать уже ничего. А ты вали и не суй нос не в своё дело! Поразвелось тут сердобольных! Может, я сама батрачу, как лошадь!

Добрая женщина погладила кобылу и поправила ещё с утра сползшее седло, не обращая внимания на брань «законной хозяйки» послабила капсюль и ушла. Серая потянулась было за ней...

Лошади не плачут, но... Уникальной показалось, что у неё вышло именно это – плакать. «Мы тоже плачем! Только вы не хотите видеть наших слёз...»

Лето уходило, отступая перед наступающей зимой, унося с собой последние искорки тепла и надежды. После площади Уникальная ложилась на пол и думала, что уже не встанет, но на следующий день приходили люди, били, поднимали, вели... Однажды наступил тот день, когда ей уже не удалось встать, не помогло битьё. Она закрыла глаза, и уже причудился ей удивительный зелёный луг, но кобыле поставили болезненный укол, придавший ей сил, и повели в фургончик.

– Всё, Макар, вези на бойню, а то завтра уже и с уколом не встанет.

Второй раз она оказалась здесь. Только теперь точно никто не вздумает – выменивать такую убогую. С язвой желудка и большим сердцем. Даже Уникальную здесь выменивать не хотели!

– Вы что, спятили! В ней же мяса нету! Посмотрите, при весе двести девяносто пять килограммов мы фактически шкуру покупаем! Нет, по десять не возьмём эту доходягу, по десять сами утилизируйте!

– Мы согласны по девять.

– По семь. Ни копейкой больше!

– По рукам.

– Деньги в кассу. Документы в регистратуру.

– Не первый раз...

Так отошла Уникальная во временную собственность мясного комбината.

– Куды её? – спросил рослый мужик в толстовке, пристёгивая карабин к драненькому недоуздуку, и повел её в ближайший загон, где держали особо худых лошадей с целью откорма последних перед убогом или, если кому повезёт, перед продажей. Дальний загон для породистых лошадей ей не светил никак, потому что за годы труда порода её стала неопределённой, а документы, претерпев многократные утери, гласили, что она беспородна и якобы ей девять лет.

– Не, не в загон. Веди её к Семёну. Не доживёт до завтра.

Уникальную уводили в тесное помещение со слабым жёлтым светом и спёртым тяжёлым воздухом, в котором плавал отвратительный запах хлорки и затхлости. Сопrotивляться сил не было вовсе, да и не особо хотелось. Она закрыла глаза. Ей послышалось далёкое, еле различимое, но такое родное мамино ржание, почудились запахи трав... Вот она только что родилась, вот она уже бежит догонять тени уплывающих облаков...

Её кровь медленно стекала с разделочного стола и капала на плиточный пол.

– Семён, твою так! Тряпку носи! Опять запачкали тут всё...

Оторваться от окна заставляет шуршание кулёчков. Стандартный набор: яйца вкрутую, картошка, и курица – обязательно. Но мой сосед изменил негласным правилам пассажирской железной дороги – у него нет с собой классической курицы. Минутку... да, та самая – «Салями крымская уникальная»...

ВЕРНИКА КОВАЛЬ

СТЕНО-КАРДИЯ рассказ

«Здравствуй, Миня!

Пишу, потому что по телефону ты можешь поторопиться ответить, а тебе нужно хорошо подумать. Дело вот в чём: мы с папой решили от Любани отказаться. Жаль безумно, но сил больше нет. У меня радикулит, у него почки. Документы, напоминаю, оформлены на тебя. Если согласен, привези уверенность. Да и не видались давно. Так что приезжай непременно до двадцатого августа. Целуем. Мама-папа».

– Умилительно! – сказал Дмитрий своему приятелю Стефану. – Мать пишет «Любана» без кавычек. Как про больную родственницу, а не про старую клячу – пардон, старую дачу.

– Что, так станция называется – я забыл?

– Нет, так её окрестила бабуля Ада Андреевна, для меня – Буля. Она дачу затеяла в условиях тотального дефицита, кровью и потом возвела, а выстраданное – оно самое дорогое. И мне Любана мила. Помнишь, всей кодлой наезжали? Обед в беседке...

– Обязательно окрошка с домашним квасом, – подхватил приятель.

– Картошка разварная, пупырчатые колючие огурчики из парника... Плотвичка в пруду... Пивко тайком... Рубенсовская дева на соседской даче... Нирвана!

– Была нирвана, пока твоя матушка мне от ворот поворот не дала. Почему – не знаю. Если честно, до сих пор обида.

– Не бери в голову! Слушай, давай махнем, а? Продавать Любаню надо, сомнений нет. Бизнес на бабкины бабки подтолкну.

– Замётано! – неожиданно легко согласился приятель. – Только вот что: жив дедов магнитофон? И плёнки?

– Помню, плёнки вешали на деревья ворон пугать. Но вообще-то в нашей семье старьё не выбрасывают. Так что маг и уцелевшие плёнки в твоём распоряжении. Но для истории ценного там – ноль. Дед, особенно сначала, когда привёз маг из Японии и даже в городе он был редкостью, писал всё подряд – застолья, агучки младенческие, интеллигентский трёп. Он наигрался – взялся я, вскорости тоже опостылело. Тебе-то эти реликты на что сдались?

– Идею одну надо проверить, – по лицу Стефана скользнула тень усмешки.

В электричке они почти не разговаривали. Им довольно взгляда или пустяшной реплики: неразлучны с молочно-восковой спелости. Классически разные. Дмитрий, он же для родителей – Миня, для приятелей – Митрий, первым бросался в глаза. У него всего в избытке: слегка оплывшего тела, неуёмной гривы, баса, жестов, улыбок по поводу и без повода. Большое всегда кажется надёжным, поэтому женщины к нему тянулись, ушлые работодатели – и те клевали на его неординарный экстерьер. На самом деле в свои двадцать восемь Миня оставался, если судить по строгости, полуфабрикатом. Родители хоть доставали его проповедями о том, что пора, пора взрослеть, но соломку дитяте подстилали, оттого он мог себе позволить долго и отнюдь не мучительно искать самого себя. На четвёртом курсе бросил истфак, в детском театре изображал медведей, чудищ заморских и прочих громогласных тварей, подмастерьем краснодеревщика трудился с полгода. Женился-разженился, оставил дочку. Сейчас вроде зацепился в рекламном агентстве. Даже собственную контору вознамерился отпочковать, дело было за малым – не на что.

Вот уж кто надёжный, так это Стефан. В детстве вокруг него клубился смерч дворовых драк. Мать приходила в отчаяние, учителя за уши его тянули в надежде, что возьмётся за ум башковитый хулиган. И вот что значит во время понять: мохнатой лапы нет, пробиваться придётся самому. Он обстругал себя, отсек от характера всё лишнее, как Роден от своих скульптур. Теперь Стефан Ловчик – инженер, у него двухкомнатная семейная крепость в кредит, умная, но послушная жена. Получил даже престижную премию за разработку какой-то звуковой аппаратуры. Однако симпатий, как ни странно, Стефан у окружающих не вызывал. Отчего? Виновата, наверное, бабка шляхетского рода. От неё горделиво-петушиное вздергивание головы, усмешка одним уголком рта. Про таких говорят: «Глянет – молоко скиснет». От бабки – и имя с претензией, причём называла она его «Стэфан». А Миня называл его Стёпкой.

Приятели, вроде, знали друг о друге всё. Но сейчас, кляня носом под песню колёс, бесконечную и однообразную, как у акына, Митрий не догадывался, что шпуковина размером с телефон, которую Стефан вёз в спортивной сумке, являла собой ещё не доведенную до кондиции, но принципиально новую звуковую систему...

Август с сентябрьским привкусом по-хозяйски распоряжался в садоводческом товариществе «Математик»: брызнул красным по тугим щекам яблок, придав им товарный вид, сбил спесь с гладиолусов, остановил уставшую расти траву. Набухшие тучи он исправно стирал с акварельного небосвода, чтобы бюджетники успели пополнить запасы кабачками размером с доброго поросёнка, помидорами-последышами, огурцами-переростками.

Шагая по утрамбованной дорожке, приятели с любопытством замечали, что всё окрест изменилось. Часть домов вообще пустовала. Челюсти замков под пластмассовыми бутылками намертво сцепила ржавчина, ставни перекосились («Будто покойнику глаза закрыли», — подумалось Минне), флора обезумела от свободы. На иных участках ещё копошилась возле щитовых домишек профессура в залатанных вельветовых пиджаках, спортивных штанах с белыми лампасами и дачной унисекс-обуви — кроссовках («уходящая натура!»). Но словно по мановению всевластного природного диктатора выперли из земли, как выходят на поверхность валуны в Прибалтике, крепости дурной готики или чуждые скромному пейзажу бессовестно-белые, словно из американских фильмов, коттеджи («приходящая, чёрт-те дерн, натура!»). Какие тебе грядки! Бархатные лужайки, по которым ландшафтные дизайнеры продуманно-небрежно раскидали купы цветов...

Стефан проскрежетал:

— Взрывчаткой бы их в хорошем тротиловом эквиваленте!

— Зависть — чувство, свойственное неимущим эпохи прожорливого капитализма, — упрекнул Митрий не столько друга, сколько себя.

Он отодвинул щеколду калитки. Никто гостей не встретил. Под крыльцом оказались опутанные паутиной ключи. Митрий отпер дверь. Показал Стефану нужные коробки, а сам осторожно спустился по ступенькам. С них он когда-то грохнулся, вывихнул запястье, поэтому до сих пор остерегался. Ему не терпелось осмотреть усадьбу, которую не видел с весны, когда перевозил родителей.

Довольно было одного взгляда, чтобы понять — Любана «занехаена». Миня любил ввёртывать это вкусное украинское слово: нехай, мол, как идёт, так и ладно. Бешеная сила сорной травы задавила грядки и малинник, выворотила плитку на дорожках, расщепила доски крыльца, выпила соки из деревьев. Даже самая мощная и щедрая яблоня сумела вырастить на сухих ветках лишь три плода с детский кулачок. Да, Буля в гробу перевернулась бы. Родители, а точнее, мать, потому что отец привлекался к хозяйству лишь в случае крайней нужды, делали только неотложное, а сейчас, видно, и того не могут.

Надо, надо отдавать Любаню в хорошие руки. Но сколько же с ней связано, бог мой! Здесь случилась их со Светкой брачная ночь — гораздо раньше официальной. Живо, всей кожей, вспомнилось Минне: он голышом выскочил тогда охолодиться и застыл — так низко висел крупный жемчуг мерцающих августовских звезд...

Приятель тем временем осматривался в доме. Он находил то, что запечатлелось в его мальчишеской памяти. Тогда здесь командовала бабушка Ада. Стефан вспомнил, как они тайком хихикали над её окриком: «Дети, мне холодно, наденьте куртки!» Но она же тайком совала им в карманы конфеты «Мишка на севере» и козинаки... Гость увидел, что на веранде стоит, как и прежде, её накрытое ветхим клетчатым пледом кресло, а на полочке — рукоделие и очки. После инсульта Ада не поднималась с кресла. «Терпеть ненавижу», — отзывалась она всю жизнь о дамских занятиях, но врачи велели разрабатывать руку, и Миня с приятелем соорудили эту полочку, проволокой прикрутили к подлокотнику.

Утварь комнаты Стефан с присущей ему точностью формулировок назвал для себя овеществлёнными пластами быта советской интеллигенции. Мосоловы, как и весь их круг, презирали «мещанский» уют. Подтверждением тому стоял перевезённый из квартиры стандартный шкаф из древесно-стружечной плиты, стулья без архитектурных излишеств, простой диван, такой же, как в коммуналке у матери Стефана. Богатством считались только толстые журналы, которые сейчас пылились в стопках, туго перехваченных проволокой. «Сами задушили свободу слова», — с иронией подумал гость о хозяевах.

В более поздние времена на дачу, как нетрудно было понять, скидывали ненужные дары. А они не хотели уживаться друг с другом: бронзовый подсвечник и дымковская игрушка, венецианская вазочка и Дон Кихот каслинского литья, проектор в дерматиновом футляре и затейливое бра. Современный «слой» — компьютер последнего поколения, на котором работал отец Митрия — преподаватель математики Евгений Львович Ланговой. «Можно ли бесстилье считать стилем?» — размышлял Стефан, оглядывая интерьер. Однако пора было браться за дело. Он распаковал картонные коробки. В одной нашёл магнитофон, в остальных — без разборку наваленные бобины с плёнками.

— Давно ждёшь, сынок? А у меня масло кончилось, пришлось бежать в магазинчик. Ты Леську не привёз?

Через путаницу душистого горошка пробиралась Нателла Муратовна. У Мини дрогнуло сердце. Как она изменилась! Левую ногу переставляла с трудом, словно вытаскивала из глины. С лица, по



нездешнему броского – вся в своего отца, осетина – словно кто-то стёр смуглость. Бабушкина стёганая жилетка совсем её опростила, а ведь одевалась матушка всегда полубогемно, с замысловатыми шарфами и шальями, поскольку вращалась в театральной среде. Миня упрекнул себя, что, привыкнув видеть родителей в порядке, он не обременял себя мыслями о них. А они явно сдали.

– Куда ты папаню дела? – прогудел он нарочито весело.

– Статью повёз. Давно ждут, да его прихватило – разогнуться не мог, называл себя равнобедренным треугольником. Ты же знаешь папу, ему только дай похохмить... Но, вообще-то, ему здесь работает в удовольствие. Никто не звонит, мелочные дела в городе остались.

Она увидела Стефана, нахмурилась, но виду не подала:

– Идите в кухню, кормить буду.

Наскоро перекусив – обедать решили, когда вернётся отец – они втроем устроились в гостиной слушать записи. Нателла и сын были не прочь вспомнить былое, а гость вообще уже весь изнервничался.

Приладил магнитофон, воткнул в тройник свою шпуковину. Если бы знали хозяева, какая дрожь мешала его пальцам!

Тренькнула гитара, хриплый голос надсадно завёл: «А в Ленинграде том – Обводный канал, а там маменька жила с папенькой, называли меня лапонькой, не считали меня лишнею, да им дали обоим высшую, ой Караганда, та Караганда...»

– Ма, обалдеть! Дед с Булей что, шестидесятниками были? Диссидентами?

Нателла неохотно, но всё-таки раскололась.

– Не только они. Мы с Евгением тоже, нам ведь уже по двадцать было. Настоящие диссиденты, конечно, на Колыме по краю смерти ходили, а мы так, кухонные бунтари. Читали самиздат, злые пародии писали. Между прочим, умные люди за этим столом собирались. Даже Синявский и Даниэль. Слава богу, стукача среди нас не было...

– Вы кроме этих куплетов низкопробных ничего не слышали? – бесцеремонно перебил её Стефан.

– Нет.

– Слушайте снова.

Когда хрип барда оборвался, выплыли шорохи, мягкий гудок электрички, захлёбывающийся смех ребенка... Вдруг:

– Ты вчера ела кисель, а с ложки текло по подбородку. И я понял: наш брак – ошибка. Мы оба обманулись. Менять ничего не хочу – дети, но ты вольна...

– Выключи! – крикнула Нателла.

– Ма, это дед? – изумлённо протянул Миня. – Я думал, они с Булей идеальная пара.

Мать помолчала, потом решила:

– Отец был интеллигентным человеком, – горько усмехнулась она. – К тому же, профессор Мурат Мосолов не мог уйти из семьи – партком ждал такого компромата с жадностью гиены. Да и притёрлись они. Отец ни во что не вмешивался. Работал, работал...

– Ни фига себе! А ты знала?

– Догадывалась, – запинаясь, сказала мать, будто сама была в чём-то виновата.

– А меня они пилили, когда я от Светки ушёл. Кстати, кто же это записывал? Неужели сам дед? Зачем?

– Давайте ещё послушаем, – вмешался Стефан. Он был удивлён не менее друга, но совсем по другой причине.

– ... Степановну-то видала нонче? Ну, прям гроб и крышка с музыкой.

– Бабка Разуваева молоко принесла, – узнала Нателла.

– Так я ей: твёрзый он к тебе на четырёх костях приползёт...

– Кому нужно было такую белиберду записывать? – раздражённо бросил Миня.

И тут Стефан его огорошил:

– Это никто не писал. Маг отключен.

В комнате зависла тишина.

– Не думайте, что у меня башню снесло, – запинаясь, произнёс Стефан. – Я считал, мой аппарат, я назвал его кетчер, от английского «catch» – просто более чутко улавливает звуки. На магнитофонных записях он при воспроизведении расширяет звуковое поле, как мы слышали на песне. Но сам в разных помещениях пишет по-разному. В нашей новой квартире в панельном доме он только четко пишет то, что звучит. А однажды я случайно включил аппарат у Федьки, он живёт в старом кирпичном доме. Вдруг что-то зашуршало, я уловил отдельные слова... Ещё раз прошу: не держите меня за шизика, но мне кажется, стены впитывают звуки и сохраняют, а аппарат их выявляет. Логично предположить, что в старом, обжитом деревянном доме «впитываемость» стен больше. В чём мы только что убедились!

– Не морочь голову! – разгневалась Нателла.

– Кончай, Стёпка, лапшу на уши вешать! – добродушие сползло с лица Мини. – Этого не может быть, потому что не может быть никогда.



– Ошибаешься. Несколько лет назад я прочитал статью норвежского физика Юлафссона. Он утверждает, что египетские пирамиды построены так, что их стены консервируют звуки. Он улавливал своей аппаратурой колебания и преобразовывал в слова. Но египтологи пока не могут их расшифровать. Устройство аппаратуры, естественно, не разглашается. Выходит, я сделал такой же аппарат?

– Это ещё надо проверить!

Стефан снова включил кетчер.

– Возьми, ну возьми, – в неокрепшем баске Мини, прорезавшемся сквозь шорохи, далёкую музыку и писк, слышались нотки униженности. – Продашь, ты же умеешь, а я нет.

– На кой мне дьявол эти серёжки? – лениво протянул тягучий мужской голос. – Живую деньги гони!

Секунда молчания, затем – странный звук, то ли вздох, то ли стон... Щелкнул тумблер. Миня побагровел. Мать схватилась за сердце:

– Ты? Мои серьги! Что ты за них получил?

Сын безвольно оседл на стуле. Молчал. Потом вымучил:

– Травку... Обещал всей компании. Но ты, мам, не думай. Мне не понравилось.

– Ты же сказал, что Стёпа их стащил!

– Вот почему, Нателла Муратовна, вы мне от дома отказали! – дошло до Стефана.

Он бросился к поникшему Митрию.

– Сволота! Как врежу!..

Тот прикрыл лохматую голову руками:

– Ну, подонок я, подонок! Что мне теперь, хакири сделать?

– Пошёл ты! – отмахнулся приятель. Он помолчал.

– Где ты разговаривал с этим хмырём?

– На веранде. Там никого не было. Но я не верю, не верю в твою технику! Ты что-то подтасовал!

– А мне иногда приходит в голову мысль, что дом всё помнит, всех помнит, – неожиданно призналась Нателла. – Почему бы не признать изобретение Стефана? Наука стремительно развивается.

– И ты туда же! – с досадой бросил Митрий.

– Давайте перепроверим, – сказал Стефан и снова включил магнитофон.

– ...берёт верх пристрастие к высокому слогу. Всё чаще государство именуется державой, русский мужик – хлеборобом, винтовка – мечом. Аллегорические фигуры...

– Это я читаю нашему кружку статью Андрея Синявского «Что такое соцреализм», – вымолвила Нателла. – Да, мы это записывали.

– И чего вы, диссиденты, лезли на рожон? – вспылил неостывший Стефан. – Высокими лбами о каменную стену! Свои жизни губили, близких делали несчастными! Чего вы добились?

– Берлинская стена тоже каменная была, а рухнула, – задыхаясь от обиды, выкрикнула Нателла.

– И что мне с того? Я ещё успел прыгнуть в последний вагон, получил фундаментальное образование – заметьте, бесплатное! А на высшее для сына мы с женой уже от себя отрываем, копим.

Миня только морщился, не любил он политические диспуты. Снова врубил магнитофон:

– Они мне: «Андревна, мы доски заныкали, а вывози сама». Институтские строители. И шифер обещали, – кому-то шептала бабушка.

Нателла переключилась:

– Скажи, сын, спасибо бабуле за ваше счастливое детство в Любане. Тебя она любила. Это со мной она непонятную войну вела. Сама при её-то способностях выше лаборанта кафедры не поднялась, а меня насильно тянула в заоблачные высоты. Увы – не получилось. Всю жизнь я при театре. Мне нравилось. Помнишь, Женю Евстигнеева с Галей привозила? Какой был чудный вечер у костра! Но мама считала меня предательницей.

– Почему же она не поднялась в заоблачные высоты?

– На защите её разнёс оппонент, профессор соседней кафедры Мурат Мосолов. Чёрных шаров оказалось больше. Ада подкараулила его в лаборантской за шкафами и дала пощечину. Это было так забавно, что кончилось свадьбой. Ну, дети, обихаживание мужа, работа. Дача вообще целиком была на ней. Я, каюсь, ленива была и нерасторопна. Приеду – раскладушку на солнце, новый роман... Только после её смерти поняла, как надо землеице кланяться, чтобы она рожала. И к Любане я привязалась. Честно говоря, не представляю, как расстанусь.

– У Були ко мне претензий тоже было навалом. Вот к кому она действительно неровно дышала, так это к моей Леське. Не забуду: когда Буля после инсульта уже не поднималась с кресла и говорить не могла, Лисёнок вечно сидела возле. Прически ей делала, бусы надевала, в общем, такой фамильярности Буля никому не позволяла.

– Да, – подхватила мать. – Только правнучка её и понимала. Прижмет ушко к её рту и выдаёт: «Буля малосольный огурчик хочет». Или: «Буля сказала, завтра Петрович придёт!» Летом они всегда были здесь. Может, потому Леська, слава богу, не подвержена простудам. Если уж честно говорить, взвалили мы на маму все проблемы. Она не жаловалась, тянула. Но надорвалась. А смерть отца её доконала. Корю я себя, корю...

– Ма, – задумался Миня. – Может, она только играла счастливую профессорскую жену? Жить с человеком и знать, что он тебя не любит... Я на такое не способен, не способен! И ещё – знаешь, о чём я думаю? Её недолюбили, потому и она нас недолюбила.



– Ах, сын, любить – не значит мурлыкать и облизывать. Да, мама была жёсткой. Да, требовала от нас много. Но потому, что хотела нам добра. Мне, наоборот, хотелось дать тебе ласку, которой я не дождалась от мамы. А что получилось? Недоросль, прости за прямоту.

– А по-моему, если любят – ничего не требуют. Принимают, как есть! – неожиданно страстно сказал Стефан.

Нателла вдруг увидела его в новом свете. Вот тебе и сухарь! Сколько же всего в каждом человеке намешано! Хороший, плохой – всё относительно, поди разберись...

На пороге возник Евгений Львович. Просто удивительно, до чего он был похож на своего тестя. Не лицом, а характером и даже судьбой. Сначала ходил в дипломниках у Мурата Сослановича, затем в аспирантах, потом оказался коллегой – доцентом на той же кафедре. В семью Мосоловых вошёл как-то незаметно, естественно.

– Привет, молодёжь! Что, ностальгируете? Жена, перекусить бы. Я сёмги привёз, будем вечером гудеть, да, пацаньё?

Когда родители удалились, Стефан с нетерпением бросился к аппарату. Миня молчал, он ещё не сбросил с себя груз вины. И вообще – столько всего сегодня навалилось! Такую спящую собаку Стёпка разбудил!

Щёлкнул аппарат:

– ... выше моих сил. Ну почему меня к нему тянет? По возрасту – отец, лысеет на глазах, ростом не вышел. А как улыбнётся, морщинки в углах глаз соберутся – такая доброта из них! Нет, подруга, Минька не в него!

И опять – тихий стон где-то в стороне, всхлип.

– Митрий, с табуретки не грохнись, – не без издевки произнес Стефан, в котором ещё kloкотало желание отомстить. – Только не говори, что не знал, что Светка на Евгения Львовича запала. Мы-то догадывались, почему ты от неё слинял.

Миня вскочил:

– Чтoб ты провалился со своей хреновиной! Ушёл я из-за светкиного ора. А у них ничего не было, не было!

– Это известно. Ладно, брось, – протянул приятель. – Ушёл и ушёл. Может, к лучшему. Ты лучше вообрази, какие перспективы открывает кетчер. Археология, психология, криминалистика...

– Шпионаж, камера пыток, – мрачно продолжил Митрий. – Ну ладно, я подозреваю, что мать не хочет отца этим нагружать. Пока их нет, давай ещё.

Они долго экспериментировали. К магнитофонным записям кетчер добавлял всё звуковое пространство окрест: возникала полифония ушедшей жизни. Бревенчатые стены, как оказалось, впитали отрывки важных разговоров, пустяшных перебранок, случайных реплик, песен, плача новорожденных, философских бесед, тайных откровений. Миня со жгучим интересом узнавал, что Буля – кто бы мог подумать? – глубоким чувственным голосом пела романсы; что сестра Ксана сама уговорила мужа уехать в Австралию, а не он разлучил её с родиной, как считалось; что мать с отцом не решились завести третьего ребёнка. Какие минуты жизни хранили стены, был ли в этом отборе какой-то принцип – непонятно.

Они не заметили, как вошла Нателла. Она безумно волновалась.

Все они обратили внимание на то, что самые неприятные, тяжёлые разговоры заканчивались идущим со стороны мучительным стоном. Странно!

Иногда внятные звуки не проявлялись, но стены сами по себе скрипели, шептались, охали, выдыхали и выдыхали – словно в них прерывисто бился пульс, как у больного-сердечника.

– Стенокардия, – с мрачным юмором поставил диагноз Митрий. – У Любани стенокардия.

А Нателле казалось, что Любани изнемогает – то ли от старости, то ли от тяжести накопившегося в стенах духовного багажа.

– Мама, не пугай меня! – вдруг отчётливо раздался нателлин голос. Хрип, бульканье...

– Евгений, вызывай «Скорую!»

Опять тяжкий хрип, сдавленный стон.

Голос Евгения:

– Пульс исчезает!

Стон перешёл в парящий свободный звук, который становился всё нежней, тоньше, выше. Вот словно бабочка о стекло стукнулась, и тишина...

Стефан нажал на кнопку.

Миня ерошил кудри, мать похолодела.

Когда все чуть-чуть пришли в себя, Нателла, никогда не верившая в силы небесные, тихо, с болью, произнесла:

– Это отлетела мамина душа. Мама не могла говорить, но душа её стонала, болела за нас.

Миня с приятелем, потрясённые, и слова не могли вымолвить.

Появился Евгений Львович с тарелкой жареной сёмги. Сын достал из рюкзака коньяк. Нателла – она ещё не пришла в себя – молча накрыла на стол. Вынула из ящика доверенность. После недолгих колебаний Миня подписал.



Выпили. Помолчали.

– Хороним Любаню, – до ужаса спокойно сказала Нателла.

– Ладно, мать, – Евгений Львович приобнял её. – Ещё Толстой задался вопросом – сколько человеку земли надо...

– А советское государство ответило: шесть соток, – недобро пошутил Миня. – Сейчас Светке звякну, она вроде покупателя нашла.

Он вышел на крыльцо.

В трубке раздался деловой голос бывшей жены. Вдруг его перебил детский – с тихим отчаянием:

– Папка, ты Любаню продаёшь?

Эхо в мобильнике накатывало на звук, и Дмитрию слышалось: «продаёшь, предаешь»...

Он огляделся. Отработавшее дневную смену солнце падало за кусты смородины. Травяные джунгли померкли, от них тянуло холодом, но желтизной и фиолетом полыхали астры на пригорке, и он казался ладьёй, которую несёт в темноту уходящей жизни.

«А может, нам только кажется, что жизнь уходит? Что безвозвратно уходят близкие? Может, они всё время разговаривают с нами, просто уху нашему не дано их слышать. Может, Стёпка каким-то образом усилил наш слух: внемлите!»

Что нужно делать, он не знал. Но знал: главное – захотеть.

Миня вернулся, потирая руки, крякнул:

– Ну, что приуныли? Жахнем ещё по стопарю!

Жахнули.

Вдруг Миня схватил доверенность, зажал её в зубах, как кинжал, и пошёл лезгинкой. Запихал бумагу в рот. Сжевал. Выплёвывая, подумал – весело и с отчаянной лихостью: «Накрылся мой бизнес медным тазом! Ни черта, прорвёмся!»

АНАТОЛИЙ МИХАЙЛЕНКО

ОДНАЖДЫ В КАМЕНЦЕ НАД СМОТРИЧЕМ... ретро-новелла

Сергей и Каролина по мраморной лестнице спустились в вестибюль техникума, вышли на улицу и направились к мосту, распростёршему своё железобетонное тело над глубоким каньоном Смотрича.

– Я живу далеко, на Польских фольварках¹, – сказала Каролина, когда они вышли на середину моста. – А там, если пойдёшь за мной, нас могут встретить местные ребята и, боюсь, тебе не поздоровится.

– Ничего, я проведу тебя и быстро вернусь, – ответил юноша, хотя хорошо знал, что девушка права: у местного хулиганья давно сложилась практика доказывать «кто в городе хозяин». И на этот раз они не упустят возможности унижить его, чужака. Но отступить уже было поздно.

Перейдя длинный широкий мост, соединявший Новый план со Старым городом, Каролина и Сергей вышли на небольшую площадь – слева от них виднелся фундамент Троицкой церкви, разрушенной во время последней войны. Перед ними на стене городского управления культуры висел плакат со словами Никиты Хрущёва: «Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!»

Молодые люди свернули направо на узкую улочку, в конце которой напоминанием о средневековом прошлом города возвышалась под остроконечной черепичной кровлей, посеревшей от времени и непогоды, Кушнирская башня с пристроенной к ней Ветровой браной. Как гласит предание, эти ворота названы так потому, что во время посещения Каменца Петром I, на этом самом месте с ним произошёл забавный случай: ветром с головы царя сорвало шляпу. . .

Ступив под своды ворот, по булыжной мостовой они спустились к пологому берегу реки, где в пойме зеленели огороды, росли, склонившись над водой, ивы и вербы. Прошли по деревянному мостку и оказались на Польских фольварках – в одном из районов, где с давних времен обитал простой люд, снабжавший горожан всем необходимым.

Девушка по-прежнему держалась независимо. Иногда она скашивала свои чёрные как виноградные глаза на спутника. Ей, по всей видимости, было приятно, что её сопровождает молодой человек, не обративший внимание на предупреждение о возможной встрече с «местными». Юноша же чувствовал гордость потому, что идёт рядом с такой красивой и неприступной панночкой.

Перебрасываясь изредка короткими незначительными фразами, Сергей и Каролина оказались на Торговой площади, на которой стояла единственная достопримечательность – православная церковь Святого Георгия, вознося к небу свои ярко синие купола.

Они приближались уже к улице Заньковецкой, на которой жила Каролина, когда им повстречалась колоритная компания: трое парней, примерно такого же возраста, как и Сергей, в зелёных китайских брюках по шесть рублей за пару и в безрукавках неопределённого цвета.

– Ты что это пристаёшь к нашим девушкам? – спросил старший из троицы. – Ты разве не знаешь, что за это бывает? – И пошёл прямо на Сергея.

Каролина вдруг вышла вперёд, чего от неё не ожидали ни Сергей, ни тем более её мнимые защитники. И начала темпераментно объясняться с парнями на местном наречии:

– Казик, ту Сергей, хлопец з нашего потоку, разэм складамы экзамины до техникуму, я сама просилам проваджич мне до мешканья. . .

Но вмешательство девушки только подзадорило парней. Сергей попытался договориться с ребятами и разойтись с миром. Но из этого ничего не вышло, и он сумел нанести-таки один или два сильных и точных удара по лицу Казика, и у того по верхней губе на подбородок потекла тёмная струйка. И если бы летний густой воздух неожиданно не пронзила милицейская сирена. . .

Хулиганье ретировалось, насильно утащив с собой в ближайший переулочек и Каролину. Она кричала, пыталась вырваться, но и на этот раз силы оказались неравны. . .

Два подоспевших сержанта, усадив Сергея в милицейский газик, зачем-то надели ему на запястья наручники. Парня доставили прямо в городской отдел милиции, располагавшийся на той же улице Шевченко, где несколько часов назад всё так счастливо для него начиналось. Дежурный следователь, просмотрев Сергея, дал расписаться в протоколе дознания и сказал угрожающе:

– Ну и влип же ты, хлопец, дальше некуда! – И отправил его в камеру предварительного заключения, до дальнейшего выяснения обстоятельств.

Камера, куда поместили Сергея, была с одним зарешённым и забранным железным листом окном – так, чтобы находящийся в ней человек мог видеть только узкую полоску неба. Из мебели – голые деревянные нарты. А вместо туалета – «параша» у двери. От нечего делать он обследовал каждую щель камеры и в одной из них обнаружил припрятанное лезвие от безопасной бритвы. Хоть бейся об стенку головой! А ведь следующий вступительный экзамен в техникуме он теперь точно пропустит. . .

Примостившись на деревянных нарах, Сергей неожиданно для себя уснул.

Ему приснился такой же знойный летний день, какой был сегодня. На отцовской пасеке, расточая медовый аромат, цветёт липа. Пчёллы, вылетев из ульев, взмывают к её соцветьям за новой порцией нектара. Бабушки Ольга и Штефа, сидя на маленьких табуретах, ошипывают листья шавеля для борща. . .

Рядом крутится он, непоседливый шестилетний Сергей, лакомясь сладковатыми плодами топи-намбура. Иногда он прислушивается к беседе бабушек о пережитом за годы войны. Штефа в который уже раз рассказывает, как самолеты «Люфтваффе» бомбят Каменец. А она с детьми убегает из-под бомбёжки в сторону пригородного села Подзамче. На всю жизнь после этого «смертельного марафона» у неё осталась бронхиальная астма. Поэтому, чтобы как-то остановить долгий изнуряющий кашель, она курит сигареты, набитые вместо табака измельчёнными листьями дурмана. Это ей помогает. . .

Проснулся он от стука и крика дежурного сержанта, охранявшего подследственных. Тот протянул ему через окошко в двери небольшой пакет. Сергей, ещё полностью не проснувшись, взял его и развернул промасленную газету. В ней, к его большому удивлению, оказались десятка два домашних румяных пончиков с яблочным повидлом. Очень кстати. Именно здесь, где кормили кислыми щами, перловой кашей, по-настоящему чёрным хлебом и едва подслащенным чаем.

«Неужели Каролина!», – подумал он, но отбросил свою догадку. Правда, Сергеем было приятно думать о ней, как о самом близком человеке в этом городе, хотя они и были знакомы всего ничего.

Сергея ещё несколько раз вызывали на допросы, запугивали, требовали каких-то признаний. Спрашивали, в какой он состоит банде и кто у них за главаря. Он же в который раз рассказывал всё, как было. Правда, ни словом не обмолвился о Каролине.

На третьи сутки его всё-таки выпустили, напоследок предупредив, чтобы больше не попадался, не то будет хуже. Выйдя на улицу, Сергей смутился и одновременно несказанно обрадовался: под старым каштаном, одетая в простенькое ситцевое платье в синий горошек, его дожидалась Каролина Шиманская. Ничего не объясняя, она увела Сергея в сторону улицы Князей Кориатовичей. На перекрёстке она твердо сказала:

– Иди домой, отдохни. А завтра встретимся и поговорим. . .

– А де ж це тебе, хлопче, носило три дни и дві ночі?! – встретила его тётя Галя, у которой Сергей снимал комнату. – Я вже думала, чи не втопився ты, часом, на ричці, чи може побили тебе и ты лежиш в лікарні. Та мени там сказали, що такого у них нема. – И увидев на лице Сергея царапины и шишку на лбу, запричитала: – Ой, Боже ж ты мий, таки влучили в твою дурну голову. Дай тобі чогось холодненького прикладу!

Но Сергей, не дослушав, быстро умылся, переоделся и упал ничком на незастланную кровать.

На следующий день ровно в полдень, как и условилось, он был у Ратуши. Когда он подошел к ней, она, потупив глаза, тихо сказала:

– Извини, Сержа, это я во всём виновата. Не разреши я тебе итти со мною, ничего бы такого не случилось. А так и побили тебя, и экзамен по литературе ты пропустил. Что теперь с тобой будет?

– Ничего, Каролина, я этот экзамен и так завалил бы, – ответил Сергей. – Пойду в ПТУ. А потом видно будет.

Каролина решила показать Сергею Старое място – так она называла старую часть города, в котором прошла вся её недолгая ещё жизнь.

Каменец, расположенный на исконно украинских землях, в своё время был центром удельного Литовского княжества, затем – крупного Подольского воеводства Речи Посполитой, потом, когда Украина стала частью Российской империи – одноимённой губернии, чьи границы простирались от Полесья на севере и до Причерноморских степей на юге.

И только после февральского, а затем октябрьского переворотов в Санкт-Петербурге, когда на кон была поставлена украинская государственность, он стал действительно центром. После гибели УНР и создания Украинской Советской социалистической республики Каменец продолжал оставаться ещё губернским, а затем областным городом, пока эту роль не передали Проскурову, переименовав его в Хмельницкий.

Став на время гидом, Каролина водила Сергея по древним улочкам. Рассказывала о польских королях и российских императорах, посещавших Каменец, о выдающихся деятелях украинской, польской, русской и европейской культуры, живших здесь в своё время.

Осмотрев средневековую крепость – гордость Каменца, молодые люди снова вернулись в Старый город. Поднимаясь от Турецкого моста по крутому спуску, они вышли к Армянской площади.



– В этом здании, где сейчас швейная фабрика, в 1919 году, когда Каменец стал столицей Украинской Народной Республики, доживало свои последние дни её правительство, – говорила Каролина. – А на этой самой площади Симон Петлюра принимал парады войск, уходящих на фронт...

Ступая по неровной, выбитой во многих местах брусчатке площади, Сергей слушал Каролину, вспоминая немногословные рассказы отца о дедушке Степане. Дед, конечно, ничего не смыслил в политике, он даже читать толком не умел, но страстно хотел получить в собственность землю и свободно на ней работать. Поэтому и ушел добровольцем с такими же, как и он, «гречкосеями», защищать УНР. Но после неудавшейся попытки Петлюры договориться с Махно, разгром войск и гибель республики стали неотвратимы.

Под натиском большевиков руководители Директории с преданными им воинскими частями, вынуждены были уйти за Збруч, на территорию, подконтрольную Польше. А Степан Огниенко, как и другие крестьяне, вернулся в родное село Руда. С тех пор его за глаза и стали называть «петлюровец». И доживи он до сталинских репрессий, ему бы непременно припомнили, за кого и против кого воевал в годы революции...

На башне Ратуши ударил колокол старинного часового механизма. Стайка голубей, до этого мирно ворковавшая на развалинах костёла бывшего Доминиканского монастыря, испугавшись мелодичных, но громких звуков, взмыла в белёсое летнее небо.

Миновав Польскую площадь, Сергей и Каролина подошли к Триумфальной арке. На её фризе неизвестный резчик сделал надпись на латыни: «HAC INTRAVAT STANISLAV AVGUST REX DIE XI 9BRIS 1781 ANNO».

– Здесь 11 ноября 1781 года был король Польши Станислав Август, направляясь в Петропавловский костёл, – перевела Каролина. – Это произошло во время третьего его посещения Каменца.

Ей нравилось, что многое в этом городе связано с её прародиной. Под сводом арки девушка шепнула Сергею, чтобы он загадал своё самое заветное желание и прикоснулся левой рукой к мраморной стене, как этого требовала древняя легенда.

– Загадал? Вот и хорошо. Только ты никому не говори. И всё, что ты пожелал, обязательно сбудется, – заговорщицки продолжила она.

Девушка настояла, чтобы они зашли в кафедральный собор, превращённый теперь в музей атеизма. Очутившись под сводами бывшего храма, перекрестились: Каролина – слева направо, Сергей – справа налево. Под куполом, как антирелигиозный символ, висел маятник Фуко. Следя за его колебаниями, Сергей вспомнил Галилея и его «E pur si muove!».

Выйдя во двор, они обошли храм с южной стороны.

– В середине девятнадцатого столетия одна юная панночка сильно полюбила молодого шляхтича, – говорила экскурсовод группе туристов. – Так сильно полюбила, что жить без него не могла. А он или не обращал на неё никакого внимания, или насмехался над её чувствами. Не выдержав мук неразделённой любви, однажды ночью девушка взобралась по крутым ступеням на самый верх минарета и бросилась с его балкона вниз...

– Вот к чему приводит любовь! – неожиданно сказала Каролина, когда они с Сергеем отошли в сторону.

Миновав это печальное место, они пошли дальше средневековой улочкой, мимо развалин, камни которых были покрыты мхом, и остановились над глубоким каньоном. Его за многие тысячелетия проточила в скалистой породе река Смотрич.

Не сговариваясь, Сергей и Каролина опустились в густую, пожухлую от зноя траву, остро пахнущую чабрецом, полынью, и ещё чем-то, чему трудно подыскать название. Может быть, самой историей?

Уставшее солнце медленно садилось за башни средневековой крепости. Каролина, откинувшись на спину, смотрела в небо. Сергей, примостившись рядом, пытался найти в бесконечной вселенной точку, куда устремила свой взгляд его спутница.

О чём они думали в этот тихий предвечерний час? О глубинах космоса, о своей будущей профессии или о тех таинственных изменениях, происходящих в их душах, благодаря которым девушка становится женщиной, а юноша – мужчиной? Кто знает!

Позади них, на самой макушке минарета, попирая серповидное изображение месяца, высилась четырёхметровая позолоченная фигура Богородицы Непорочной Девы – Покровительницы города. Мария, вся в сиянии лучей заходящего светила, воздев руки к угасающему небу, благословляла этот мир и всё сущее в нём.

¹ Польские, Русские фольварки, Старый город, Новый план – названия районов современного Каменец-Подольского.

² «E pur si muove!» (лат.) – «И всё-таки она вертится!».

ОЛЬГА ИЛЬНИЦКАЯ

КОГДА ОДЕССА НЕ МАМА, А МАЧЕХА (мои Одесса, Россия и «Очарованный Странник» начала 90-х) эссе

Бывают встречи и разговоры, влияющие на многие события, определяющие и направленность, и развитие их. В 1992 году беседовали литераторы – критик И. Золотусский и писатель Б. Черных. Результатом беседы стало рождение литературной газеты русской провинции в Ярославле.

...К этому времени «Литературная газета» под редакцией А. Удальцова отшатнулась от собственно литературы, потеряв профиль Пушкина в заглавии, и оказалась задействованной политическими страстями. Либеральные партии призывали россиян к более тесным контактам с западной цивилизацией.

Игорь Золотусский, «старомодный ревнитель изящной словесности», говорил о том, что, не чураясь духовных контактов с миром, должно сохранить «нашу культуру в парадигмах отечественных ценностей».

Борис Черных с радостью открыл для себя, что «Золотусский погружается в русский космос Николая Лескова, как ранее выдающийся критик уходил к Гоголю, и собирается написать о Лескове серьёзное исследование».

Литераторы сошлись во мнении: «Лесков не только кудесник и мыслитель, но и хранитель запovedного мира, наследником которого в новом качестве – предстанет сейчас Александр Солженицын (и плечо в плечо с Солженицыным – Виктор Астафьев, Борис Можаев, Василий Белов и несравненный Фазиль Искандер в великом романе “Сандро из Чегема”)»...

В этой беседе и возникла идея создания подлинно литературной газеты, но возникли и сомнения – тот, кто материально может поддержать новое издание, поймёт ли, что мир очарованного странника есть неразменный мир русской провинции. Увы. Предположение, что И. Золотусский станет редактором, не сбылось.

Прошло время. И газета «будто на опаре всходит на нереализованной мечте старого моего друга» – пишет в статье «Игорь Золотусский благословил» («Очарованный странник», № 2/9 1994 г.) Борис Черных, ставший редактором и реализовавший идею провинциальной литературной газеты в старинном русском городе Ярославле.

Литераторам Одессы всегда недоставало журнала, литераторы Одессы проживают не дома, а в Москве и Нью-Йорке, Хайфе и Сиднее, став гражданами мира. Думаю, не последнюю роль сыграло отсутствие профессионального поля деятельности. Смешно ведь предположить, что можно бесконечно долго терпеть в чемодане собранные рукописи вместо того, чтобы помешать их в журнал. Рано или поздно, но чемодан сыграет свою роль – поведёт автора в путь...

Читая многочисленные программы кандидатов в депутаты Верховного Совета Украины – я не увидела, не прочитала ни слова подлинного понимания всего ужаса положения нас, граждан своей страны, задыхающихся от отсутствия общества свободных и культурных людей. Я отчётливо увидела, благодаря этим программ-братьям, что мы все, и кандидаты в депутаты, и мы, голосующие за них или против, – задыхаясь, мёртвый воздух едим... и совершенно не понимаем, что пора открыть окна и двери, а не ставить на них решётки и обивать бронёй.

Что ни одни государственные преобразования не стоят того, чтобы граждане вместо тёплого дома жили в разгорячённом борьбе за выживание броневике.

И что пока вместо решёток мы не станем публиковать тех, кто силой слова открывает двери вольному чистому воздуху – нам травить себя и детей своих отработанными дурными газами.

Казалась бы, малость какая, ну, подумаешь, с 1918 года по 1994 год культурное население миллионной Одессы лишено литературного журнала... Подумаешь, за 1992 год в одночасье из города выехали литераторы Паша Лукаш, Рита Бальмина, Сусанна и Феликс Гойхманы, Толик Гланц, Петя Межурицкий, читает лекции в Израиле уехавшая Белла Верникова, «закатилось солнце русской поэзии в Одессе, чтобы взойти над Австралией» – горько шутят одесситы, любящие поэта Юрия Михайлика, который в мёртвые времена застоя – более пятнадцати лет – поддерживал «второй эшелон культуры». Юрий Николаевич сумел пробить и, таки да, издать ту самую первую книгу с 1918 года, которая прорва-



ла брешь умалчиваний. Но не смогла заменить, нет, не смогла – журнала. Она открыла в мир литературную форточку, и мир узнал – в Одессе есть не только «Союз писателей», но и собственно литературный процесс, формирующий актуальную литературу, новое слово, не отравленное ложью криводушия.

Книга называется «Вольный город». Под своей обложкой она объединила имена двадцати четырёх поэтов. Их много, «красивых и разных», Юрий Михайлик пишет в предисловии: «Вольный город... Вряд ли так можно назвать Одессу в 1991 году, но подлинное творчество всегда вольность. Одесса умеет не только считать деньги, но и считать, что можно их тратить на стихи. Я же убеждён, что это прибыльное дело. Что выгодно – писать стихи, издавать их. И даже просто читать. То, что получают при этом, нельзя купить. И вообще, нельзя приобрести другим путём, только так – страдая, волнуясь, чувствуя и сочувствуя. И никак иначе.

...Много лет меня коробило определение «одесский поэт», всё виделась в нём некая снисходительность, скидка на заведомую провинциальную долю. На самом деле, это беседовала с нами иерархическая структура. Это она много лет вела необъявленную войну со всем своеобразным, не вписывающимся в ранжир... И загоняла в областную судьбу Ленинград и Одессу, Кутаиси и Свердловск, а кого и вовсе в районную... И стирали в порошок тех, кто в наивности своей пытался цепляться за ветхие полумифические предания о родном городе, крохами памяти пытался утвердить – и что же? Да всего лишь право на своеобычие, на непохожесть, на уникальность, на собственное выражение лица. Всего лишь – и так много! Ведь если это признать, оно напрочь отменит всякую шеренгу, всякий общий строй, весь распорядок, на котором и держится имперская, иерархическая пирамида...»

*Построим дом. Но – по порядку.
Не можем мы и не должны
тюремных стен воздвигнуть кладку
лишь только с внешней стороны.*

Ю. Гончаров

– Неужели мы хотим жить в таком доме, имя которому Независимая Тюрьма?!

Не верю и не принимаю.

Должен же быть КТО-ТО, кто понимает, что Одесса не может быть на обочине литературного процесса, не должна переживать унижение отъездом – теряя детей своих, вывозящих кровную южнорусскую культуру и рассеивая её по миру, делая мир провинцией Одессы.

Горькая основа у одесского юмора, и, сколько не юмори, Одесса, твои Жванецкий, Лившин, Павловский, Михайлик, Альперина, Ратушинская, Милкус, Брейтер, Левитин, Игрунов, Геращенко, Лошак, Барабанов, Новикова, Швец... – проживают в ближнем и дальнем зарубежье, основывая и множа «Одеколонны» – одесские колонии.

И это не в заслугу тебе, Одесса, а совсем наоборот. Это больно, горько и стыдно. Я остро это чувствую и понимаю, я сама уехала и живу в таком «шизофреническом» расщеплении – на два города – Одессу и Москву, Москву и Одессу. А это уже две страны – что очень странно, но надо привыкать...

Уезжая из Одессы, Юрий Михайлик написал стихотворение, которое не оставляет меня, не даёт себя забыть и звучит во мне постоянно уже много лет:

*Времена не выбирают.
В них живут и умирают.
А. Кушнер*

*Ах, как сладко выбирать –
где придётся умирать.
То ли там, от ностальгии –
задыхаясь и дрожа.
То ль от здешней хирургии –
от кастета и ножа.
На излёте глупой жизни
этот выбор всё трудней:
там – от нежности к отчизне,
здесь – от ненависти к ней.*

А «Очарованный Странник» был слишком живым, чтобы продолжать работать, развиваться, вбирать в себя литературу Новороссии – Одесса часто видела работы своих авторов в этой продвинутой, прекрасной газете литературной провинции России.

Здесь вышла полоса стихов Бориса Нечерды накануне его ухода к большинству, мне много чего одесского приходилось отправлять в «Очарованный Странник», думая о журнале – который бы хотелось видеть с пропиской одесской...

«Очарованный Странник» не выжил. Вместе с ним – сгорел (сожгли, сволочи, дом первого в России демократически избранного редактора литературного издания!) и дом главного редактора Бориса Черных (выстроенный на реабилитационные деньги отсидевшего по политической статье два года в тюрьме, за роман об умирании в провинции), сгорела библиотека писателя, и Борис Черных уехал из Ярославля в Сибирь (писатель Борис Черных в начале семидесятых жил и работал в Одессе, в издательстве «Маяк» редактором, его жена, Валентина Юдина – журналистка, заведовала отделом сельского хозяйства в областной газете «Знамя Коммунизма», теперь «Юг»).

Время идёт, вот уже и сбылась мечта – появился в Одессе толстый литературный журнал «Южное Сияние», с чем я всех нас и поздравляю – а путь к нему был долгим... Как и воспоминания об этом пути...

Иногда, гуляя по Москве и оглядываясь по сторонам, я думаю, что и Москва уже вполне провинция. У Европы. Или у Азии. А лучше бы уж – «У моря»!

1994 – 2003 – 2012 гг.

FEDERICO GARCÍA LORCA
ФЕДЕРИКО ГАРСИЯ ЛОРКА

в переводах Анатолия Яни

О, ПОЛНОЧЬ, ЗЕЛЁНАЯ ПОЛНОЧЬ!

PATIO HÚMEDO

Las arañas
iban por los laureles.
La casualidad
se va tornando en nieve,
y los años dormidos
ya se atreven
a clavar los telares
del siempre.

La quietud hecha esfinge
se ríe de la Muerte
que canta melancólica
en un grupo
de lejanos cipreses.

La yedra de las gotas
tapiza las paredes
empapadas de arcaicos
misereres.

¡Oh torre vieja! Lloro
tus lágrimas mudéjares
sobre este grave patio
que no tiene fuente.

Las arañas
iban por los laureles.

ДВОРИК В КАПЛЯХ ВЛАГИ

Тихо
сквозь лавра листву
ползли пауки.

Превращалась случайность
в снег,
а они проползали,
и уснувшие годы
гвоздями скрепляли
ткацкие их станки.

Смеясь над смертью,
поющей за кипарисом



уныло и нервно,
тишина становилась сфинксом.

Плющ из капель
полез на стены,
как в час атаки,
окропляя церковную службу
псалмами влаги.

О, старая башня! Арабскими
слезами плачь неустанно
о дворике этом безрадостном,
где нет фонтана,

где тихо ползут пауки
в сером дворике старом
по листьям лавра.

LLAGAS DE AMOR

Esta luz, este fuego que devora.
Este paisaje gris que me rodea.
Este dolor por una sola idea.
Esta angustia de cielo, mundo y hora.

Este llanto de sangre que decora
lira sin pulso ya, lúbrica tea.
Este peso del mar que me golpea.
Este alacrán que por mi pecho mora.

Son guirnaldas de amor, cama de herido,
donde sin sueño, sueño tu presencia
entre las ruinas de mi pecho hundido.

Y aunque busco la cumbre de prudencia
me da tu corazón valle tendido
con cicuta y pasión de amarga ciencia.

ИЗРАНЕННАЯ ЛЮБОВЬ

Меня сжигает яркий пламень света.
Пейзаж – как складки серого мундира.
Всё та же боль в висках стучится где-то –
тоска небес, и времени, и мира.

Рыдает кровь дрожащего сонета.
Теряя пульса скорость, гаснет лира.
Меня терзает тяжесть моря эта.
И скорпион ужалил, как рапира.

Обитель ран моих, любви гирлянда!
В груди уснула ты мечтой бессонной.
Чуть слышный стон в развалинах таланта

стремится к пику страсти потаённой.
И вкус цикуты жгуче и галантно
дарилу мне речной долины лоно.



PAISAJE VISTO CON LA NARIZ

Un temblor frío,
cauterizado
por los gallos,
enturbia la llanura.

En la casa,
quemán paja
de trigo.

Los arados vendrán
al amanecer.

ПЕЙЗАЖ, ВОСПРИНЯТЫЙ ОБОНЯНИЕМ

Дрожащее холодное безмолвие,
разорванное криком
петуха,
волнует эту степь полупустынную.

Дрова закончились —
солону золотую
жгут в деревенских избах.

Скоро землю
распахнут на рассвете
лемеха.

SEIS CONETES

Seis lanzas de fuego
suben.
(La noche es una guitarra.)
Seis sierpes enfurecidas.
(Por el cielo vendrá San Jorge.)
Seis sopletes de oro y viento.
(¿Se agrandará la ampolla
de la noche?)

ШЕСТЬ РАКЕТ

Шесть копий яро,
шесть пик-огней
(ночь — как гитара),
шесть злобных змей
вверху маячат.
Шесть ярких оргий.
(По небу скачет
Святой Георгий.)
Шесть ламп охочи
жечь всё сильнее.
(Не больно ль ночи
от тех огней?)



NOCHE VERDE

Noche verde.
 Lentas
 espirales moradas
 tiemblan
 en la bola de vidrio
 del aire.
 Y en las cuevas dormitan
 las serpientes del ritmo.
 Noche verde.

НОЧНОЙ ПРОСТОП

О полночь, зелёная полночь!
 И только трепещут слабо
 фиолетовые спирали
 в воздухе, что застыл,
 подобно стеклянному шару.
 И звуки задумчивой тайны
 ритмично звучат в закоулках
 сознания животворного.
 О полночь, зелёная полночь!

TARDE

Tarde lluviosa en gris cansado,
 y sigue el caminar.
 Los árboles marchitos.
 Mi cuarto, solitario.
 Y los retratos viejos
 y el libro sin cortar...

Chorrea la tristeza por los muebles
 y por el alma. Quizá
 no tenga para mí Naturaleza
 el pecho de cristal.

Y me duele la carne del corazón
 y la carne del alma. Y al hablar,
 se quedan mis palabras en el aire
 como corchos sobre agua.

Sólo por tus ojos
 sufro yo este mal,
 tristezas de antaño
 y las que vendrán.

Tarde lluviosa en gris cansado,
 y sigue el caminar.

ДОЖДЛИВЫЙ ВЕЧЕР

Дождливый вечер в серости унылой,
 мне кажется, уже не прекратится.

Листва, темнея, вянет на деревьях.
 И в одинокой комнате моей
 со стенки смотрят старые портреты
 и книга неразрезанной лежит...



По шкафу, по столу печаль струится
и по душе. Хрустально-светлых чувств
нет для меня, как видно, у Природы.
Рыдает сердце, и душа болит.

И если я сказать решусь о чём-то,
слова мои удерживает воздух,
как поплавок из пробкового дуба -
густая, полусонная вода.

Лишь из-за глаз твоих могу терпеть я
всю эту боль и все свои печали:
и те, которые остались в прошлом,
и те, которые ещё нахлынут.

Дождливый вечер в серости унылой,
мне кажется, уже не прекратится.

EN LA NARIZ...

En la nariz de Newton
cae la gran manzana,
bóldo de verdades.
La última que colgaba
del árbol de la Ciencia.

El gran Newton se rascal
sus narices sajonas.
Había una luna blanca
sobre el encaje bárbaro
de las hayas.

Я СЛЫШАЛ: НА НОС НЬЮТОНУ...

Я слышал, на нос Ньютону упало
большое яблоко, как яркий метеор
реальной, неопровержимой правды.
Последнее, которое висело
на пышной ветке дерева Науки.

Великий Ньютон почесал слегка
свои саксонские тугие ноздри.
Светилась в небе белая луна
над буклями высоких
крепких букв.

EL ÚLTIMO PASEO DEL FILÓSOFO

Newton
paseaba.

La muerte lo iba siguiendo
rasgueando su guitarra.



Newton
paseaba.

Los gusanos roían
su manzana.

Sonaba el viento en los árboles
y el río bajo las ramas.
Wordsworth hubiera llorado.
El filósofo tomaba
posturas inverosímiles
esperando otra manzana.

Corría por el camino
y tendíase junto al agua
para hundir su rostro en
la gran luna reflejada.

Newton
lloraba.

En un alto cedro dos
viejos búhos platicaban
y en la noche lentamente
el sabio volvía a su casa
soñando inmensas pirámides
de manzanas.

ПОСЛЕДНЯЯ ПРОГУЛКА ФИЛОСОФА

Ньютон прохаживался,
гулял.

Ступала смерть за ним по пятам
и кромсала гитару в щепки.

Ньютон прохаживался,
гулял.

А в это время голодные черви
грызли его яблоко.

В кронах деревьев ветер шумел,
река журчала под их ветвями.
Зарыдал бы и Вордсворд на месте его.
Наш философ особую видел картину,
ожидая нового яблока.

В поисках яблока мчал по дороге
и останавливался у реки,
своё лицо погружая медленно
в отражение бликов луны.

Ньютон
плакал.

На кедре высоком
два филина старых беседу вели,
а мудрец той ночью неторопливо
возвращался домой, мечтая
о гигантских и многогранных
пирамидах горных
из яблок.

ИЗ РУССКОЙ ПОЭЗИИ
в переводах Семёна Вайнבלата на язык эсперанто

АЛЕКСАНДР БЛОК
ALEKSANDR BLOK

В ДЮНАХ

Я не люблю пустого словаря
Любовных слов и жалких выражений:
«Ты мой», «Твоя», «Люблю», «Навеки твой».
Я рабства не люблю. Свободным взором
Красивой женщине смотрю в глаза
И говорю: «Сегодня ночь. Но завтра –
Сияющий и новый день. Приди.
Бери меня, торжественная страсть.
А завтра я уйду – и запою».

Моя душа проста. Солёный ветер
Морей и смольный дух сосны
Её питал. И в ней – всё те же знаки,
Что на моём обветренном лице.
И я прекрасен – нищей красотой
Зыбучих дюн и северных морей.

Так думал я, блуждая по границе
Финляндии, вникая в тёмный говор
Небритых и зеленоглазых финнов.
Стояла тишина. И у платформы
Готовый поезд разводил пары.
И русская таможенная стража
Лениво отдыхала на песчаном
Обрыве, где кончалось полотно.
Так открывалась новая страна –
И русский бесприютный храм глядел
В чужую, незнакомую страну.

Так думал я. И вот она пришла
И встала на откосе. Были рыжи
Её глаза от солнца и песка.
И волосы, смолистые как сосны,
В отливах синих падали на плечи.
Пришла. Скрестила свой звериный взгляд
С моим звериным взглядом. Засмеялась
Высоким смехом. Бросила в меня
Пучок травы и золотую горсть
Песку. Потом – вскочила
И, прыгая, помчалась под откос...



Я гнал её далёко. Исцарапал
Лицо о хвон, окровавил руки
И платье изорвал. Кричал и гнал
Её, как зверя, вновь кричал и звал,
И страстный голос был – как звуки рога.
Она же оставляла лёгкий след
В зыбучих дюнах, и пропала в соснах,
Когда их заплела ночная синь.

И я лежу, от бега задыхаясь,
Один, в песке. В пылающих глазах
Ещё бежит она – и вся хохочет:
Хохочут волосы, хохочут ноги,
Хохочет платье, вздутое от бега...
Лежу и думаю: «Сегодня ночь
И завтра ночь. Я не уйду отсюда,
Пока не затравлю её, как зверя,
И голосом, зовущим, как рога,
Не прегражу ей путь. И не скажу:
«Моя! Моя!» – И пусть она мне крикнет:
«Твоя! Твоя!»

EN DUNOJ

Ne ŝatas mi vortaron bagatelan
De amaj vortoj kaj mizeraj frazoj:
“Vi estas mia”, “Via”, “Porĉiam”.
Ne ŝatas mi sklavecon. Mi libere
Rigardas en okulojn de virin'.
Kaj diras mi: “Nun estas nokt', sed morgaŭ
Aperos nova radianta tag'.
Pasi' solena, venu, prenu min
Kaj morgaŭ mi foriros kaj ekkantos”.

Animo mia estas simpla. Vento
De maraj ondoj kaj odor' de pin'
Plenigis ĝin. Kaj sur vizaĝo mia
Ventotuŝita, estas samaj signoj.
Feliĉa estas mi per la beleco
De sablaj dunoj, maroj de la nord'.

Mi pensis tiel ĉe finnlanda limo,
Vagante mi aŭskultis la murmuron
De finnoj verdokulaj, nerazitaj.
Silentis ĉio. Apud griza kajo
La trajno estis preta por vojaĝ'.
Kaj rusa doganca gardistaro
Oscede ripozadis sur la sabla
Deklivo ĉe la fino de relvoj',
Kaj tie jam videblis nova ŝtat' –
Rigardis detruita rusa templo
Al tute fremda, nekonata land'.

Mi pensis tiel. Kaj alvenis ŝi,
Ekstaris sur deklivo. Pro la sun'
Okuloj ŝiaj iĝis flavaruĝaj.
Kaj la rezinaj haroj kiel pinoj,
Rebrilis blukolore surla ŝultroj.
Rigardon sian bestan krucis ŝi
Kun mia bestrigardo kaj ekridis
Per laŭta rido. Ĵetisŝi al mi
Jen herban faskon, jen plenmanon
De ora sablo. Poste ŝi eksaltis
Kaj ekkuregis rekte sub deklivon...



Mi persekutis ŝin, gratvundis
 Vizaĝon mian, sangokovris manojn,
 Disŝiris veston, kriis, pelis ŝin,
 Samkiel beston. Ree vokis, kriis
 Per voĉ' pasia kiel son' de korno.
 Leĝeran spuron nur forlasis ŝi
 En sablaj dunoj. Poste malaperis
 Ŝi inter pinoj, kiam venis nokt'.
 Mi kuŝis anhelante pro la kuro.
 Mi solas. Kaj en miaj flamokuloj
 Ankoraŭ ŝi kuregas kaj ridegas:
 Ridegas haroj kaj ridegas gamboj,
 Ridegas vesto, pufa pro la vento...
 Meditas mi... "Hodiaŭ estas nokt'
 Kaj morgaŭ estas nokt'. Mi ne foriru
 Ĝis kiam mi ĉaskuros ŝin kaj poste
 Per voĉ' vokanta kiel son' de l' korno
 Mi baros vojon. Kaj ne diros mi:
 "Vi estas mia!" – Sed ekkriu ŝi:
 "Mi estas Via!"

НИКОЛАЙ ГУМИЛЁВ
NIKOLAJ GUMILEV

Из «Абиссинских песен»

II. ПЯТЬ БЫКОВ

Я служил пять лет у богача,
 Я стерёг в полях его коней,
 И за то мне подарил богач
 Пять быков, приученных к ярму.

Одного из них зарезал лев,
 Я нашёл в траве его следы,
 Надо лучше охранять крааль,
 Надо на ночь зажигать костёр.

А второй взбесился и бежал,
 Звонкою ужаленный осой.
 Я блуждал по зарослям пять дней,
 Но нигде не мог его найти.

Двум другим подсыпал мой сосед
 В пойло ядовитой белены,
 И они валялись на земле
 С высунутым синим языком.

Заколол последнего я сам,
 Чтобы было чем попировать
 В час, когда пылал соседский дом
 И вопил в нём связанный сосед.



IV. ЗАНЗИБАРСКИЕ ДЕВУШКИ

Раз услышал бедный абиссинец,
 Что далеко, на севере, в Каире
 Занзибарские девушки пляшут
 И любовь продают за деньги.

А ему давно надоели
 Жирные женщины Габеша,
 Хитрые и злые сомалийки
 И грязные поденщицы Каффы.

И отправился бедный абиссинец
 На своём единственном муле
 Через горы, леса и степи
 Далеко, далеко на север.

На него нападали воры,
 Он убил четверых и скрылся,
 А в густых лесах Сенаара
 Слоно-отшельник растоптал его мула.

Двадцать раз обновлялся месяц,
 Пока он дошел до Каира,
 И вспомнил, что у него нет денег,
 И пошёл назад той же дорогой.

2. KVIN BOVOJ

Servis mi kvin jaroj ĉe riĉul',
 La ĉevalojn liajn paŝtis mi,
 Kaj donacis li al mi en fin'
 Kvin bonegajn bovojn por plugad'.

La unuan murdis la leon',
 Liajn spurojn vidis mi en herb' -
 Bone devas domon gardi mi
 Kaj bruligi fajron en la nokt'.

Frenezigiĝis dua mia bov',
 Ĝin ekpikis la sonora vesp',
 Vagis mi kvin tagojn en densej',
 Sed nenie povis trovi ĝin.

Al duop' alia la najbar'
 Ĵetis la venenon en trinkaĵ,
 Ili kuŝis longe sur la ter',
 Blukolora estis bova lang'.

Lastan bovon mi ekbuĉis mem,
 Por ke festi horon de l' feliĉ',
 Kiam brulis la najbara dom'
 Kun ligita per la ŝnur' najbar'.



4. ZANZIBARAJ JUNULINOJ

Foje aŭdis povra abiseno,
Ke en nordo, fore, en Kairo
Dancas zanzibaraj junulinoj,
Ili vendas amon pro la mono.

Kaj al abiseno longe tedis
La virinoj grasaj de Habeŝo,
Somalianinoj ruzmalicaj
Kaj el Kafo taglaboristinoj.

Jen iradas povra abiseno
Kune kun la mulo unusola
Tra arbaroj, montoj kaj kamparoj
Al la fora foro, al la nordo.

Foje lin atakis la ŝtelistoj.
Li mortigis brave kvar el ili,
Kaj en la densej' de Senaaro
Lian mulon murdis elefanto.

Dudek fojoj renoviĝis luno
Dume li alvenis al Kairo,
Sed en poŝoj jam ne estis mono
Kaj li iris hejmen en malĝojo.

ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ
VLADIMIR VISOCKIJ

МОСКВА-ОДЕССА

В который раз лечу Москва-Одесса –
Опять не выпускают самолёт.
А вот прошла вся в синем стюардесса, как принцесса,
Надёжная, как весь гражданский флот.

Над Мурманском – ни туч, ни облаков,
И хоть сейчас лети до Ашхабада.
Открыты Киев, Харьков, Кишинёв,
И Львов открыт, но мне туда не надо.

Сказали мне: – Сегодня не надейся,
Не стоит уповать на небеса.
И вот опять дают задержку рейса на Одессу –
Теперь обледенела полоса.

А в Ленинграде с крыши потекло,
И что мне не лететь до Ленинграда?
В Тбилиси – там всё ясно и тепло,
Там чай растёт, но мне туда не надо.

Я слышу – ростовчане вылетают!
А мне в Одессу надо позарез,
Но надо мне туда, куда три дня не принимают
И потому откладывают рейс.



Мне надо, где сугробы намело,
Где завтра ожидают снегопада.
А где-нибудь всё ясно и светло,
Там хорошо, но мне туда не надо!

Отсюда не пускают, а туда не принимают,
Несправедливо, муторно, но вот —
Нас на посадку скучно стюардесса приглашает,
Похожая на весь гражданский флот.

Открыли самый дальний закуток,
В который не заманят и награды.
Открыт закрытый порт Владивосток,
Париж открыт, но мне туда не надо.

Взлетим мы — распогодится. Теперь запреты снимут.
Напрягся лайнер, слышен визг турбин.
Но я уже не верю ни во что — меня не примут,
У них найдется множество причин.

Мне надо, где метели и туман,
Где завтра ожидают снегопада.
Открыты Лондон, Дели, Магадан,
Открыли всё, но мне туда не надо!

Я прав — хоть плачь, хоть смейся, но опять задержка рейса, —
И нас обратно к прошлому ведёт
Вся стройная, как ТУ, та стюардесса — мисс Одесса,
Доступная, как весь гражданский флот.

Опять дают задержку до восьми,
И граждане покорно засыпают.
Мне это надоело, черт возьми,
И я лечу туда, где принимают!

MOSKVO – ODESO

Mi ofte flugas al Odes' – patrino,
Nun ne forflugos sen permes' pilot'.
Jen venis stevardino, kvazaŭ estas ŝi princino,
Fidinda kiel la civila flot'.

Ne ŝvebas super Murmansk' eĉ nubet',
Kaj Aŝhabad' min tute ne konsolas,
Invitas min Kievo en kviet'.
Kaj Kiŝinev', sed tien mi ne volas.

Ne pensu, oni diras, pri sukceso,
Atendas, vidu, eĉ delegaci'.
Denove jam aperis malpermeso por Odeso –
Malhelpas nun forflugi la glaci'.

En Leningrado gutas de l' tegment',
Sed la gutado tute min ne miras.
Jen, en Tbiliso blovas varma vent',
Sed tien mi forflugi ne deziras.

Mi aŭdas: «Jen forflugas rostovanoj!»
Sed mi rapidas, certe, al Odes'.
Mi tien volas kie min atendas oni vane –
Tri tagoj jam forestas la permes'.



Mi celas tien, kie velkas sun'
 Kaj amasiĝas neĝo, oni diras.
 En lok' alia lume estas nun,
 Sed tien mi forflugi ne deziras.

El Moskvo ĝis Odeso avio nun ne flugas,
 Ĉar havas malpermeson la pilot'.
 Al kampo alteriĝa stevardino nin kondukas,
 Fidinda kiel la civila flot'.

Kaj mi al ajna povas flugi lok',
 Pri kiu oni nun eĉ ne parolas,
 Eĉ al fermita urb' Vladivostok'
 Aŭ al Pariz', sed tien mi ne volas.

Mi revas: suprenflugas ni kaj baroj malaperas...
 Turbinoj laŭte fajffas jam sen paŭz',
 Sed pri vojaĝo nia mi dubas, malesperas,
 Malhelpas eble iu grava kaŭz'...

Mi celas al la suda urb' Odes',
 Sed tie falas neĝo, oni diras,
 Mi trafus al Londono kun sukces',
 Sed tien mi forflugi ne deziras.

Mi pravas – ridimpreso, sed forestas la permeso
 Kaj flugi for ne povas nun pilot',
 Nin vokas interesa stevardino – miss Odeso,
 Fidinda kiel la civila flot'.

Forestas la permeso ĝis maten',
 Kaj pasaĝeroj dormas en kvieto,
 Diablo prenu punkton de l' alven',
 Mi flugu ien ajn kun ĉi bileto.

СЕМЁН КИРСАНОВ
SEMJON KIRSANOV

У ЧЁРНОГО МОРЯ

Есть город, который я вижу во сне.
 О, если б вы знали, как дорог
 У Чёрного моря открывшийся мне
 В цветущих акациях город
 У Чёрного моря!

Есть море, в котором я плыл и тонул,
 И на берег вытасчен, к счастью,
 Есть воздух, который я в детстве вдохнул,
 И вдоволь не мог надышаться
 У Чёрного моря!

Вовек не забуду бульвар и маяк,
 Огни пароходов живые,
 Скамейку, где мы, дорогая моя
 В глаза посмотрели впервые
 У Чёрного моря!



Родная земля, где мой друг-одессит
 Лежал, обжигаемый боем,
 Недаром венок ему Родиной свит,
 И назван мой город героем
 У Чёрного моря!

А жизнь остается прекрасной всегда,
 Состарился ты или молод,
 Но каждой весной так тянет туда,
 В Одессу, в мой солнечный город
 У Чёрного моря!

ĈE LA NIGRA MARO

Mi sonĝis pri urbo tre kara al mi
 En sunaj radioj brilanta
 Kaj dolĉaj odoroj de la akaci'
 Min vokas al urbo floranta.
 Ĉe la Nigra maro.

Ekzistas la maro, mi dronis en ĝi,
 Sed bordon feliĉe mi trovis,
 Ekzistas aero amata de mi,
 Sed ĝin mi satspiri ne povis.
 Ĉe la Nigra maro.

Neniam forgesos mi pri la lumtur',
 Fajretoj de l' ŝipoj, bulvardo,
 Moment', kiam en la ĝardena angul'
 Tre ĉarmis min via rigardo.
 En la Nigra maro.

Ĉi-tie amik' mia kun bajonet'
 Pereis, sed tute ne plendis.
 Ne vane sur tomb' lia kuŝas kronet',
 Li l' urbon heroe defendis.
 Ĉe la Nigra maro.

Kaj restas belega la viv' ĝis la fin',
 Ĉu olda vi estas, ĉu juna,
 Sed ĉiuprintempe alvokas ĝi min,
 Odeso, la ter' mia suna.
 Ĉe la Nigra maro.

«ДРУЖБА ЖУРНАЛОВ»

ОТ РЕДАКЦИИ

Дружба литературной Одессы и литературного Ростова-на-Дону началась более двух лет назад, весной 2010 года, задолго до появления на свет первого номера «Южного Сияния». К тому времени уже не один год среди наших целей было издание «толстого» одесского литературно-художественного журнала. Возможность вырваться за пределы своего литературного «гетто» для одесситов – всегда желанна, но и непривычна одновременно, стремление это за многие десятилетия XX века стало атавистичным, а то и напрочь выродилось... Но рождение одесского номера иногороднего литературного журнала, чья история насчитывала бы не один десяток лет, для нас казалось не менее важным событием. Тем более, с момента выхода одесского номера «Октября» прошло пять лет, ситуация в литературе заметно изменилась, а замечательное начинание «Октября» требовало, мы чувствовали, превращения в традицию. Мы задумались о том, какой город мог бы прислушаться к нашему стремлению.

Этим городом стал Ростов-на-Дону, наш побратим, город, с которым нас связывают, не побоюсь этого слова, кармические узы и который по-своему так похож на нашу Одессу... В то время я позвонил главному редактору одного из старейших литературно-художественных журналов «Дон» Виктору Петрову и озвучил предложение. Надо сказать, что предложение было принято мгновенно (на тот момент уже вышли «белорусский» и «харьковский» номера «Дона», но Одесса, думается, в этом списке заняла особое место). Так что весьма скоро произведения более чем тридцати одесситов мчались в Ростов. При отправке посылки за границу на Главпочтамте нужно было выбивать номер посылки на специальном терминале. Номер посылки с произведениями одесситов оказался знаковым – на квитанции значилась цифра «333». Можно было не сомневаться, что не пройдёт и полгода, и выйдет «одесский» номер литературного журнала «Дон» (№ 7-8 за 2010 г.). А затем пройдёт получасовая презентация номера на ростовском радио с чтением произведений профессиональными актёрами, а в Одессе презентация соберёт полный зал. Равно как не сомневались мы в том, что число опубликованных авторов в номере будет равно тридцати трём.

Сейчас, когда «Южное Сияние» доказало свою жизнеспособность, мы по возможности, медленно, но уверенно отвечаем Ростову-на-Дону взаимностью – произведения уже нескольких авторов южной столицы России были напечатаны в журнале, в этом же номере рубрика «Дружба журналов» целиком посвящена постоянным авторам литературного журнала «Дон». Причём Ростовской областью география рубрики не исчерпывается – здесь есть произведения московского публициста и историка Роя Медведева, главного редактора минского литературного журнала «Новая Немига литературная» Анатолия Аврутина, представлены произведения авторов из Харькова, Воронежа, Волгодонска, Токио.

Будем надеяться, что наша дружба имела начало, но не имеет конца, и впереди ещё множество общих проектов!

*Сергей Главацкий,
выпускающий редактор журнала «Южное Сияние»*

ЗАВЕТНЫЙ ТИХИЙ ДОН

Красные буквы названия «Дон» на белом поле обложки словно несут на себе начертанное пушкинской рукой слово – «Донъ». Символ и смысл нашего издания. Литература современного письма от древа русской классики единственная, пожалуй, способна одаривать общностью разных мировосприятий, пробуждать чувства добрые. Своё предназначение редакция журнала «Дон» видит в соединении двух веков отечественной литературы на родине Чехова и Шолохова.

«Заветным» назвал Дон Александр Сергеевич Пушкин, и вот через сотню лет шолоховское – как выдох! – «Тихий Дон». При полёте к Ростову речные изгибы сравнимы с линией судьбы, только уже на земной ладони. «Тихий Дон» – линия судьбы России в прошлом веке и, не дай Бог, в настоящем. Метания Григория Мелехова суть не только наших дедов, отцов, но и нас самих на ином, современном уровне.

Зачин романа – «Мелеховский двор на самом краю хутора» – не содержит ли ключевое слово ко всему повествованию? Казачий Дон на краю России тем самостийен и пропитан вольницей. До Бога – высоко, до царя – далеко. Люд здешний не терпит узды. Из чужих мест накачивает вал братоубийства, и вот уже Дон взволновался, замутился, переливается через берега. «Неправильный у жизни ход», потому что подступает край и разверстая бездна поглощает родных, близких... После того, как Мелехов в страшную минуту увидит над собой чёрный диск солнца, оно останется уже навсегда для него холодным.

Дантовы крути на донской воде:

Не с того ли и вода свящёная?

Всадник проскакал – всадник тот везде.

Красный тал, белый тал... Солнце чёрное.

«Шолоховская линия» в понимании редакции – не только материалы о Шолохове. Дав когда-то название журналу, вёшенский гений словно переложил на «Дон» часть ответственности за нашу литературу. Стремимся публиковать добротную отечественную прозу и высокую поэзию. Литературу реалистическую по восприятию, глубоко народную – по содержанию.

Россия – страна рек. Славных, любимых в народе, воспетых им. Но только один наш край, образуя ранее Всевеликое Войско Донское, а ныне – Ростовскую область, зовётся именем реки – Дон! Знаменитая река, правда, течёт и в других местах, но словом «Дон» обозначается лишь узаконенная временем земля. Причиной тому – значимость Донщины для державной судьбы.

Именно на Тихом Дону трагедийный разлом явил миру правду – собственно благую весть. А если пророк не услышан, то горе пребывающим в ереси. Но и в новом веке даётся срок, чтобы собрать рассеянные силы, донести правду до всех и каждого. Здесь роли подлинной литературы не переоценить.

Дон... Это слово сродни удару колокола. Оно собирало и собирает людей, возвышает душу. Российский ордена Дружбы народов литературно-художественный журнал «Дон», издаваемый с апреля 1925 года, хотел бы соответствовать высокому имени. Русская и советская классика – родники печатного издания. Публикации современных авторов дают стремительный ход журнальной реке. Приписанные к журналу «Дон» авторы проживают не только в Ростове, а и на русском Севере и Волге, в Дагестане, Оренбуржье и Москве, в дальних и ближних зарубежных пределах... Ростов-папа, конечно же, рад привечать и писателей-одесситов.

Печать Войска на Дону имела по круту надпись «Елень поражён стрелою» и изображённого в центре красавца еленя, обитавшего прежде в наших местах. Уже в казачьей эмиграции елень со стрелой преобразился, совершая прыжок через терновый венец. Не так ли и русская литература пробивается ныне к читателю?

Невообразимая крутизна Лебяжьего яра возле Вёшенской открывает дальние дали. А донское стремя тотчас уносит мысли вниз по течению, чтобы увидеть и невидимое здесь – хутора, станицы до самого Ростова, далее – лукоморье Азовья, венчаемое чеховским Таганрогом... Оттуда представляют Чёрное, иные моря-океаны.

Русская словесность – чем не Мировой океан! Восемьдесят семь лет тому назад с лёгкой руки Александра Фадеева наудалую пустился в плавание по его волнам литературный корабль-журнал. Вначале назывался «Лав», потом – «На подъёме», «Литературный Ростов», а вот уже более полувека – наречённый Шолоховым – «Дон». Неизбежные в пути бури и мели подстерегают его – он же под красно-белым с пушкинским автографом-флагом идёт себе и идёт.

И даст Бог, будет выходить в свет всегда – как выходит ныне к читателям «Южного сияния».

Виктор Петров,

главный редактор журнала «Дон»,

лауреат Всероссийской литературной премии М. А. Шолохова

**АЛЕКСАНДР НЕСТРУГИН**

с. Петропавловка Воронежской области

КРУТОЯР

Да не надо мне ваших хватистых благ,
И прикормленных куц, и прирученных вод!
Мне милей это небо, что смотрит, как враг,
И крупой ледяной воду серую рвёт.

Мне нужна эта хмурая, мягкая рань,
Что снежком ледяным дух болот перебьёт,
И накинёт на плечи куговую рвань,
И пустой камышинкой в груди запоёт!

И обмёрзший челнок, что от ветра зверел,
И весло, что металось, как будто в бреду,
Вдруг замрут, чтоб не сбить золотую свирель,
Что звучала допрежь лишь в Господнем саду!

И покажется вдруг: не избыть, не иссечь,
Камышинкой к остылой воде не пригнуть
Этот русский простор, эту странную речь —
Бессловесную, стужей схватившую грудь...

РОДИНА

Здесь щемяще, высоко, обрывно;
Здесь легко, заступив за черту,
С тополями лететь неотрывно
На ту сторону грусти, на ту!

И узнать, что там воздуха нету,
И отдать всё, до вздоха, тоске,
И поплыть через бездну на эту
На сухом тополином листке...

Свет судьбы остывающей болен и хмур.
И летящей листвой отрезает пути.
Но за этой рекою лежит Чевенгур —
Сколько ветер ни вой, сколько снег ни мети.

Ну а ты, сколько пламя щекою ни грей,
Ты отыщешь ли берег смеркающий тот?
...Окликает, очнувшись, эпоха: «Андрей!» —
И сутулится сумрак, и листья метёт...

Мужики увозят лодку,
Грузят на прицеп.
Тянут выстывшую водку
И ломают хлеб.



И опять стеклом гранёным
 Руки холодят.
 И туда, где жарко клёнам,
 За реку глядят.

Медлят. «Приму» разминают.
 – Осень...
 – Да, дела...
 Вспоминают, поминуют
 Жизнь, что утекла,

Никого впотяг не кроя,
 Сглатывая грусть.
 И опять садятся трое
 В трактор «Беларусь».

Апрель... Сошлись, дрожа, где ивы –
 Серёжки, взятые взаймы,
 Чужой басок... И – чувств наплывы,
 И, желторотенькие, – мы!

Я умный: «Вон Кассиопея...» –
 И от тебя восторгов жду.
 Ты ждёшь, когда я поглупею
 И тёмной стёжкой поведу...

Моя подруга – тень лесная,
 Мы с ней из этих дней ушли.
 Но оглянулся: мать честная! –
 Весь, подчистую, свет свели.

Да, весь: полянный и приречный,
 Полянный свет седых былин...
 И только русский свет сердечный
 Покуда держится один.

Один он бьётся с чуждой тьмью,
 Один зовёт бывшего дым.
 И нужно расставаться с тенью
 И становиться рядом с ним.

Быть простором – нет, не получилось,
 Быть дыханьем – может, научусь.
 Вон река морщинками лучилась –
 Я теперь такими же лучусь.

Я на ветер точно так же шурюсь,
 К устью так же путано спешу.
 Стойте, годы, стойте! – я прошу вас
 И прощенья тихо попрошу.

И скажу вам что-то торопливо –
 Без надрыва, будто так, шутя, –
 И пойду, как донник, вдоль обрыва,
 Белыми губами шелестя...



СТЕПЬ

В снах калмыцких она родилась —
И рванулась, не ведая края!
И летит, по-монгольски стелясь,
Но по-русски простор забирая,

Разметав по ветрам племена,
Что пытались хвататься за гриву...
И летит сквозь столетья она
К моему заревому обрыву!

И храпит, и не знает судьбы:
Здесь, сейчас, у Стерляжьего мыса
Я её подниму на дыбы
Пред сплясавшим клинком Танаиса...

Ты снилась мне, Река,
А я не знал, что снилась:
В груди, как у мыска,
Течение теснилось.

И всё, как наяву,
Как наяву, бывало:
К тому мыску листву
И луны прибывало...

Восторг... И боль. И злость.
Заката угасанье.
И незнакомых лоз
Знобящие касанья.

Смыкала льды тоска.
Даль полыньёй дымилась...
Ты снилась мне, Река,
А я не знал, что снилась!

Смеялся. И тужил.
Шептал теченью: «Выгтай!»
И тем теченьем жил,
Как крутояр подмыгтый...

Стынут строки и дружества,
И в крови — ледостав...
Жить усталое мужество,
Как суров твой устав!

Всё с подъёмами ранними,
С лампой — строчки не вдеть.
И — с пустыми стараньями
В темноту не глядеть.

Но держу его бережно —
Не в руках, а в груди...
С ним к дозорному берегу
Краем света идти.

Чтоб с ветвями и травами
Слить в извечном строю
И осанку упрямую,
И невечность свою...

МАРИНА СТРУКОВА

г. Москва

ЗАСЕЧНАЯ ЧЕРТА

Казачеству посвящается

Здесь края чужие, лживые,
враг за каждым валуном.
Собрались друзья-служивые
над убитым казаком.

Кто его в разведке выследил –
не узнать в краю чужом,
кто из чащи в спину выстрелил,
кто по горлу вёл ножом.

Принимал он смерть суровую,
повстречал её один.
Верил он в Россию новую,
крест да меткий карабин.

Свет зари – вином на скатерти.
Виден дом среди ракиг.
Никогда не скажем матери
то, что сын её убит.

Чтоб не плакала потерянно,
не лила горячих слёз,
скажем – сын сейчас у Терека,
где стоит казачий пост.

Как лихой боец он славится,
шлёт ей радостную весть,
там в станице есть красавица,
там враги в аулах есть.

Сердце горестно сжимается,
мы утраты не простим.
Потеряли мы товарища
и жестоко отомстим.

Где теряли мы товарища,
и песок от крови ал,
там цветок огня-пожарища
над Кавказом расцветал.



Земли Войска Донского,
свечи чертополоха
на цветочном ковре.
Земли Войска Донского
проводжали в дорогу
казаков на заре.

Помнят наши станицы,
как хранили границы
на имперском краю,
бунтовали, случится,
и не чтили столицу,
чтили правду свою.
Помнят наши станицы
фронтовые зарницы,
эхо грозной войны,
вдов печальные лица,
похоронок станицы,
весть победной весны...
Земли Войска Донского.
Месяц словно подкова,
солнце – око орла.

Земли Войска Донского.
Наша доля сурова,
чтоб отчизна жила.
Мы далече бывали
и в тюрьме бедовали,
по этапу брели,
но креста не срывали,
веру не забывали,
возвратиться смогли.

Мы далече бывали,
нас на пир зазывали,
было всё по уму.
Крепче мы не пивали,
краше мы не певали,
чем в родимом дому.
Земли Войска Донского,
нам с обрыва крутого
даль степная видна.
Земли Войска Донского –
дар от господ бога,
дар на все времена.

Чайка, чайка речная,
что печально кричишь,
над водой пролетая,
опускаясь в камыш?
Вольно, белая птица,
в синем небе кружить.
Есть куда возвратиться,
свои крылья сложить.
Мне куда возвратиться,
свои руки сложить,
кто захочет склониться,
надо мной затужить?

Наша слава казачья
с чужаком на ножах,
наша служба собачья
у страны в сторожах,
мы за русские грады
на границе встаём,
нам бояре не рады —
мы о воле поём,
нам родные не рады —
не воюем, так пьём,
ни хором, ни награды,
лишь небес окоём.
Срежет пуля ночная,
кровь сольётся с волной.
Вскрикнет чайка речная
на заре надо мной.

ГЕННАДИЙ КОЛЕСОВ

п. Весёлый-на-Маныче Ростовской области

ПРОЩАЛЬНЫЕ ЗВОНЫ казачьи рассказы

ДОЛГ И ПЛАТЁЖ

Нижнеманычский казак Дудаков Кондрат Евсеевич в дружках с ростовским купцом Аркадием Абрамовичем Шинковским. Кондрат — первейший рыболов на Дону-Маныче, а Аркадий чуть не десяток лет у него рыбку-икорку скупает, прямым ходом на Москву, Питер отправляет. Поговаривают люди: аж на державный стол!

Дело предвоенное, четырнадцатый год, цены прут как опара из горшка на припечке, а рыбак, верный слову, как и в прежние времена, фунт белужьей икры по тридцать восемь копеек постоянно-му закупщику продаёт. О том по рукам и ударили за чаем с кренделями после городской настойки рябиновой.

Икорка в просторном подвале в бочонки закатана по тридцать шесть и сорок восемь фунтов веса, там же в бугах пласты белужатины сухого посола пудов под пятьдесят — казачий добыток. Кажен раз берёт Аркадий по двадцать бочат малого веса и двадцать пудов балыка, платит наличными — не вексельями. О той же норме на нынешний год договорились. Чай допили, принял расчёт хозяин, извинился, отгрузку товара старшему сыну Никите поручил, сам по срочному делу в хутор Арпачин выехал — в магазин братьев Куреновых, прикупить сетей.

И рассказывать бы не о чем, да опустился случаем на третий день Кондрат в подвал и ахнул: взято купчиком аккурат двадцать бочат, но не малых, а по сорок восемь фунтов! Добрый центнер икры лишку прихватил! С Никитки какой спрос? Он договора не слышал, по слову отдал, да и молод ещё — шестнадцатый годок пошёл с рождества парню. Матернулся казак: вот тебе и друзьяк многолетний! Помыслил: шла за чаем беседа о войне неминуемой с германцем, а он, Кондрат, со второй очереди возрастом не вышел. Выходит, в первых наборах, случ чего, быть призванным. А до будущей путины далеко, дожить ещё надо на фронтах, не приведи, Господи...

Аж голова заболела с расстройства: «Рано же ты, гусь, меня в покойники приписать замыслил! — Поднялся в курень, налил себе чарку водки, опять выдохнул: — Ну, Аркаша, ну, расчётчик, так тебе перетак...» Только вторую плеснул, Никитка заскочил с вестью:

— Бать, на майдане кубанцы сахаром кусковым с возов торгуют! Маманя просит с ведро прикупить для дома.

Как осенило Кондрата:

— Бери мешок.

Никита было:

— Куды его? Нам не съесть...

А батька:

— Бери!



Повеселед, третью чарку пелюсткой под олию загрыз, во двор вышел и ну с младшими ребятами жжёный кирпич кувалдой колоты. Жена с баляс в голос:

– Ты чего, рехнулся спьяну, зачем кирпич изводишь?

Кондрат на неё:

– Цыгть! Не лезь в мужчинское дело! Знаю, зачем извожу, слава богу, не ополоумел.

С полсотни перебил, лоб выгтер, пошёл под навес, час с карандашом в руках расчеты производил. Кончил. Малых заставил шесть новых мешков кирпичным боем затарить чуть не до верху, а сам кусковым сахаром доложил аккуратнo и суровой ниткой прошил каждый. Посопели, затащили со старшим в низы, рядком поставили. Хмыкнул Кондрат, лёг спать довольный.

Днями купцу Шинковскому с земляками переказал: мол, ночевали в дому торговцы сахаром станицы Платнировской Кубанской области, да не распродались. Оставили шесть мешков в обмен на рыбу. Не заберёшь ли? И цену назвал чуть не половинную... Не преминул Аркаша куш сорвать, тут же прислал своего человека с расчётом. Сорвали суровую нитку, кус сахара достали, чайку попили, кубанцев похвалили, помахал вслед гонцу купцову Кондрат Евсеевич. В дом вернулся, открыл тетрадь, вычеркнул долг.

Не ведомо, как купец сахарком распорядился, только с той поры у старых партнёров табачок явно врозь. Чем тебе не сказка: дружили лиса да журавль...

«ГНИЛОЙ ГОРОХ»

В станичном правлении – чужие люди. Пол давно не мыт и замусорен. Битые стёкла подоткнуты тряпками. Стены провонялись табачным дымом, потом, запахом давно не мытых тел, плохо приготовленной пищи. В атаманском кресле по-хозяйски восседает двадцатилетний Венька Онучин – командир части особого назначения, вершитель судеб станицы.

В низы согнаны и посажены под амбарный замок нетрудовой элемент и контра – полтора десятка казаков из справных, местный псаломщик, три офицера Добровольческой армии, сбитых с коней в недавней горячей стычке на донской переправе. По случаю революционного праздника – дня рождения Карла Маркса – Венька добр и благодушен. На конёк Правления водружено новое знамя кроваво-красного цвета, нарезанное из реквизированной поповской бархатной скатерти. Станичникам позволено принести передачи пленённым.

У Домны Никитичны Кондауровой в подполе правления томится муж. Три дня назад взяли его дома с кровати с только начавшей затягиваться пулевой раной на левом плече. Белжк. Враг. Выголкали прикладами под вой престарелой матери, визг и плач ребятшек, увели со двора. Пришла к правлению Домна. Принесла в плетёнке булку хлеба, лук, сало, узвар, отдельно привернула выгопленную из жира кружалку домашней колбасы. В узелке – сменная рубаха, нарванные из старой простыни бинты, мазь, спички, курево.

К красному командиру просителей допускают по одному. Дошла очередь и до Домны. Вошла, преклонилась – чего ради родного человека не сделаешь! – оглянулась на курившего в коридоре солдата с винтовкой, сняла с пальца и положила перед чужаком старинное, дедом с туретчины привезённое кольцо с синим камнем. Тот хмыкнул, вывернув губы в улыбке, покрутил польхнувший на свету фиолетовым огнём перстень, сунул его в карман, повернулся к Домне:

– Чего просишь, казачка?

– Гражданин-товарищ! Муж мой, Кандауров Анисим, в подполе у вас содержится. С вершей он шёл от Дона, а тут стрельба сильная началась, и попало в него случайно, – зачастила Дарья. – А вины никакой на нём нет. Отпусти его, милый! Детишки дома голодные, мать-старуха хвоя. Дело к посевной идёт – пропадём ведь все без кормильца. Отпусти, а?

Посуровел начальник, согнал улыбку с лица.

– Верши, говоришь, ставил? А вписано тут: «Урядник Донской армии, участник против нас боёв», – ткнул пальцем в бумажку на столе. Сунул руку в карман за кисетом – на кольцо наткнулся, подобрел. – Ладно, баба, о муже разговор оборвём, а коли детишки голодают, помогу. Знай: советская власть – она добрая. – Шумнул часовому. – Эй, Герасим! Нут-ко сыпани ей гороху из мешка, что со складов купца Мальшева припёрли.

– Дак он же вонючий, не разваривается!

– Сказал, сыпани – не болтай, сполняй команду. Тебе его не жрать. – Толкнул Домну к выходу. – Иди, иди...

В есаульской комнате – спальня незваных гостей. Выбитое окно заставлено иконой, пофамильная станичная книга разорвана на самокрутки. Разбросаны по прелому суну потники, шинели. В углу – реквизит: мешки с мукой, крупами, ящик сала. Герасим, пахнув самогоном, наклонил к ведру белый джутовый мешок с надписями на чужеземном языке.

Чуть не ахнула Домна: кофё! Подставила завеску, принимая, попросила пришельца:

– Сыпни ещё, детишков-то много.

Тот гыкнул:

– Да он же гнилой, горох-то! Ну да лопаите от пуза, – добавил щедро.

Разобрался ревтрибунал с урядником Кандауровым. Лунной ночью вывезли пленённых связанных на глинище за станицей, постреляли в упор. Прошла грудь его пуля рядом с чуть затянувшейся старой раной, пробила сердце.

Осиротевшие казачьи семьи реквизиции и поборы довели до полной нищеты. На нижнем Дону со времён турецких походов кофе был любимым напитком казаков. Неимоверно выросли на него цены в период гражданской войны и последующей разрухи. Спасли от голода семью Кандауровых в лихую годину те самые два ведра «гнилого гороха».

От Анисима осталась память потомкам — сохранённая в потайном месте старая фотография января семнадцатого года. Как живой, смотрит с неё в мир бравого урядника, кавалера орденов Святого Георгия, российский герой.

ПРОЩАЛЬНЫЕ ЗВОНЫ

В тридцатом году не случилось половодья на обычно шумном в марте Салу. Вялая, затяжная, с ночными заморозками весна незаметно источила лёд. Серые после бесснежной зимы бугры почти не парили. В оврагах, ярах не было обычных заносов. Обожжёнными, буро-коричневыми после жестоких зимних морозов вышли озими.

Горе природное — горе людское. Чуть не половина домов Атаманской станицы, юртовых хуторов разорены, стоят с распахнутыми настежь дверями, выбитыми стёклами окон, а то и вовсе без крыш. Хозяев их на бричках, под конвоем, вывезли на Дубовку или в Котельниково, лишив имущества и прав. Кулаки, противники коллективизации, одна им дорога — на холодный север. Туда же отправили священников, дьяконов, начётчиков старообрядческих. Вождём сказано: «Религия — опиум для народа».

В ночь под Благовещенье прискакал из Атаманской в хутор Гуреев с горькой вестью к дядьке Порфирию Зотовичу Антонову племянник Иван. Размазывая слёзы по лицу, сообщил о порухе, сотворённой нагрянувшей из города комиссией по изъятию ценностей в единственной сохранившейся ещё Троицкой церкви. Изъяли со взломом. Вставшему на их пути отцу Александру проломил голову тяжёлым засовом, звонарь Степан Гаврилов, отбиваясь, ушёл дворами от захватчиков. Видел своими глазами Иван, как прямо в церковном дворе срывали вандалы дорогие оклады с икон, а доски с ликами святых швыряли на телегу. Вывез их и свалил в реку с моста оторви-голова Петро Карасёв.

От такой жути Зотович ночь спать не мог. Утром, ещё затемно, вышел во двор, бродил бесцельно по базу, до времени вывел за чумбуры лошадей — Орлика и Линду, повёл через луг к Салу. Сосед, Прокофий Трефилов (договора не было!), в тот же ранний час своих упряжных к воде вывел. Сошлись молча, не сказав «Здорово ночевали!» друг другу, только выдохнули разом тяжело. Присели на поваленный ствол вековой вербы, отпустив коней вольно в прибрежные пырейки. Большое рассветное солнце наполовину выкатилось из-за горизонта, окрасило в малиновый цвет полнебосвода, парящую, зеркальную от безветрия гладь реки. Воистину сошла на мир благодать Божия в двенадцатый праздник, кабы не камень в душах от трагедийной вести.

И чудо свершилось. Прокофий — тот зорше — первый увидал: несёт к ним река нечто. А к берегу прибилась — ахнули в голос — икона, Богородица со младенцем! Принял её Порфирий Зотович дрожащими руками, рухнул со стоном на колени прямо в воду, осенил себя крестным знаменем, зашёлся словами молитвы:

— Заступнице усердная, благоутробная Господа Мати! К тебе прибегаю аз окоянный и паче всех человек грешнейший: вонми гласу моления моего, и вопль мой и стенания услыши. На Тебе, Владычице моя Богородице, возлагаю всё упование моё. Ты, Мати Божия, сохрани и соблюди мя под кровом Твоим ныне и присно и во веки веков. Аминь! — Приложился губами к образу, затрясся в плаче, вопрошая преснодевупречистую: — За что? За что такое роду людскому?

Опять чудо: поплыл над речной долиной колокольный звон с атаманской стороны, гулко и басовито зазвучал большой колокол, рассыпью вторили ему высокие тона.

— Стефан! Стефан Гаврилов, как сам архангел Гавриил, яко в добрые времена благовесть народу доносит. Ах ты, родной же наш! — всхлипнул, задохнулся и Прокофий, тоже преклоняя колени и крестясь непрерывно.

Звоны крепили, малиновое солнце всё поднималось над кромкой тумана, направляя лучи свои на их влажные от слёз лица.

Хруст выстрела, затем — второго и третьего вдруг донесла до молящихся река, эхо повторило страшные чужеродные звуки.

Оборвался звон. Оказалось — навсегда. Тем же летом заложили взрывчатку под колокольню лихие люди, взорвали, лишили голоса осиротевшую, погибающую станицу.

ЕМЕЛЯ-КАЗАК И НИКИТКИНЫ ГРЁЗЫ

Зима-зимушка. Снегу под самые окна навалило, метель подвывает, кувыркается, двор затуманила так, что ни ворот, ни калитки не видно. Взрослые на работу ушли, как-то добираются, в доме остались



двое: дед Михась и семилетний внук Никитка, первоклассник. Печь топится, тепло, но сумрачно, окошки заиндевели, покрылись узорчатыми разводами, пришлось лампу настольную включать.

За столом малый вслух по слогам сказку про Емелю-дурака читает, дед с другой стороны уместился, зажав чурку между коленями, надвинул на неё истёртый валенок, подшивая затеялся. Оба носами пошмыгивают: Никитка – оттого, что в снегу валялся, старый – от усердия. Вжик-вжик! вжик-вжик! – дед Михась драгву смолой натирает, внук голосу добавляет:

– По-езжай в лес за дро-вами, у нас дров нет. Съез-ди-те сами, не ба-ры-ни. Деда, а кто такие барыни? Которые в бар ходят?

– Ой, Господи! До чего ж телевизор всех замордовал. Какой там бар! В старое время барин и барыня в своей усадьбе жили зажиточно, богато, уж за дровами сами точно не ездили, слуг посылали.

– Вроде как новые русские сейчас, да?

– Не морочь мне голову, пропади они пропадом, читай, что там дальше-то было?

– На-де-вает Емеля ху-дой каф-тан, берёт то-пор, в сани са-дит-ся, а ко-ня не запря-гает. . . – вздыхает школьник, трудно слова даются.

Старый подзуживает:

– Чего ж там ещё пишут? Небось без дров дом останется, коли коня не заложено.

Никитка сказку знает, конечно, старшие читали, поясняет деду горячо и про шуку и про волшебные слова и про то, что сани сами по себе в лес смотаются, топор вмиг дров наколет, а Емеля-дурак, знай себе, катается да посмеивается.

– Мудр?! – восхищается дед. – Ишь ты, какой оборотистый да сметливый, а ты говоришь – дурак.

– Да нет, деда, он догадливый и хитрый, Емеля, только, как бы с ленцой, с печи сильно вставать не хотел, даже к царю на ней ездил.

– Во-во, парень был вроде тебя, ты тоже на лежанке поваляться ой какой охочий. Ну не гневайся, шутейно я. Придержи войлок с той стороны, новую подошву на валенок с тобой соорудим.

Вырезали. Дальше читает Никитка:

– Об этом слух до-нёс-ся до царя, что есть та-кой че-ло-век, у кото-рого сами ве́дра хо-дят и сани ездят.

– Деда, а Емеля, скажи, казак был? – вдруг задаёт он вопрос.

– Конечно дело, казак. Нечто бы кто другой изловчился шуку голой рукой изловить, да с ней на одном языке гутарить, а потом прижалеть, отпустить, а она, добро за добро, звона какими подвигами Емелю оделила. Не зря же его сама принцесса полюбила, а царь за своего признал. Без казачьей удали, брат, в России у царей ничего бы путного не свершилось! Вот смотри, – отложил он крюк и драгву, стал пальцы загигать, – Азов казаки у турка отбили, раз, наш Платов-атаман императора французского Бонапарта из державы выпер, за малым в полон не взял, два, Ермак Тимофеевич Сибирь под государеву руку подвёл, три, Казак Дежнёв с дружиною, те вообще до края земли русской дошли, небось, и Америку видели, да нужна она им была как зайцу на хвосте фонарь. Вот такими были наши с тобой предки! Мать, слышал, про Илью Муромца тебе сказание читала, у-у, тоже казачина был наипервейший, да пальцев на руках у нас обоих не хватит добром всех помянуть. . . Зевашь? Притомил я тебя маленько. Отложи своё чтение, каникулы, как ни возьми. Лезь на печь, отдохни, подреми, ишь как гудит, бесится ветрило, аж подвывает в трубе. Однако, примета есть, завтра уляжется, лыжи с тобой настроим, пойдём к речке. Вентирь у меня там притоплен, вырубим его пешнёй, рыбки на ушицу наберём, – гладит он внучка по головушке, шепчет уже, – а там, глядишь, и ты, казачок, шуку премудрую, говорящую подцепишь, вот чудеса-то будут!

И чудится Никитке всемогущая шука, и дарит она подарки: папе ноутбук, маме стиральную машину-автомат, что в рекламе по телику показывали, а ему самому квадроцикл, а лучше – ковёр-самолёт. Сажает он деда рядом, говорит волшебные слова: «По шучьему велению, по моему хотению», – и несёт она их хоть на северный, хоть на южный полюс, а лучше в жаркую Африку, где слоны, попугай и обезьяны. Трогает ладошкой он лежанку, шепчет, засыпая: «И земля там тёплая. . .» Хорошо-то как!

АРИФМЕТИКА

«Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек. . .» О полях, как имеющий отношение, кое-что могу вам сказать. . .

Разговор этот за столом полевого стана бригады заводит валяжный, кудрявый учётчик Пашка – рассказчик, видать, умелый и известный, к тому же успевший где-то хлебнуть. Выжидая, пока стихнут разговоры, он не спеша заточил ножом спичечку-зубочистку, потянувшись, подняв глаза в ясное июльское небо, сунул корочку хлеба привязанной тут же за невесомой изгородью лошади.

– Так вот, движемся мы с Лукрецией, в простонародье дорогой моей кобылой Лушкой, по полям на своём служебном экипаже под кодовым названием «бричка». И обгоняют нас, абсолютно естественно, умные люди на красивых машинах. Понапылили, спасибо им, тут же стали, зашли в пшеницу, колосья в руках мнут, урожаем оценивают. А поскольку их абсолютная скорость в эту минуту равна нулю, то мы их объезжаем, чего они по причине своей страшно важной службы, конечно же, не видят. Пока они в свои машины рассаживались, чтоб нас снова пылью накрыть, приходит нам с Лукре-

цией в голову такая глупая мысль: широка родная наша страна, в газете написано было, сорок девять тысяч колхозов и совхозов в ней, да взять, как в нашем, по четыре бригады каждый имеет — округлённо двести тысяч. Перед уборкой едут большие люди с города в сырые наши веси к хлебушку нам, дуракам, посоветовать, косить его или пусть постоит ещё... Если взять, как в нашем пыльном случае, что едет их шесть человек, да колхозных командиров для круглости до десятка добавим, то, если долго думать, посчитать можно — два миллиона колосков для оценки разомнут в ладонях начальники. И стопчут притом, опять же для круглости, по десятку каждый — подальше в поле горожанин заходит, любитесь, как хлебное море волнами идёт. Отсюда следует, что потери на каждом начальнике — одиннадцать колосков. Чтобы ваш драгоценный аппетит не расстроить — выдаю результат, отбросив промежуточные расчёты.

Если весь этот потерянный хлебушек собрать да в торбы затарить и скармливать Лукреции моей по кило в день, то жить, дай ей бог здоровья, голубушке, счас подобьём, сколько веков...

Не дали ему до конца довести свою арифметику — приехало очередное начальство, направил Пашку бригадир проводником, поля показать.

БЫВАЛО, В ГРАЖДАНСКУЮ...

Летом, в хорошую погоду, на паромной переправе всегда людно. Кто-то туда-сюда едет, кто фрукты-овощи продаёт, а есть такие, что Доном полюбоваться вышли, удочку с дебаркадера забросить. Под старой, крыгами льда избитой вербой издавна стол со скамьями устроен — три широких плахи, избитых костяшками домино, на вкопанных в землю столбах. Казаки-старики постоянно сползаются сюда подальше от жениных глаз на беседу, а то и баклажку вина распить, полечить душу.

В этот раз новая забава: старый рубака Шелудяков Фёдор Калинович соревнование затеял: кто кого на руку пережмёт. Рядом, поближе к прохладной воде — застолье.

Услужливый водитель голубой председательской «Волги» (дело было в семидесятых годах) раскинул полог на корме, вросшей в песок полуразрушенной баржи. Весёлая компания балуется лёгким вином, приобретённым здесь же у местного винодела. Широкоплечий и ладный начальник после очередного тоста под восторженные аплодисменты дам осушает посудину, театрально целуя донце стакана. Отвлекает гул голосов казаков, дружно болеющих за соревнующихся «на руку».

— А вам, Виктор Фёдорович, не слабо выступить за нашу сборную? — вдруг обращается к председателю искрящаяся улыбкой блондинка.

— Ваша просьба для меня звучит приказом, — раскланивается тот театрально. — Порву, как Тузик — грелку! Вперёд, вперёд, весёлые подруги! — поёт он хорошо поставленным баритоном в темпе марша и увлекает всю компанию к месту состязания.

Противоборствующие — старик лет семидесяти и подвыпивший рыхлый парняга. Победил опыт. Сконфуженный парень шлёпнул себя ладонью по животу — перепил, мол — и побрёл к гогочущим дружкам.

— Дедушка, простите, а можно, я попробую вашу руку на тягу?

Тот, кражистый, седуосый, оценивающе снизу вверх посмотрел на председателя, с задержкой негромко сказал:

— Оно, конечно можно, сынок, только мы на деньги барахтаемся, под пятёрку за раз.

— Десять ставлю, — подмигнул Виктор Фёдорович спутнице.

— Ну, гляди, парень! Только я, как всегда, пять.

— Нет базара! Вы уж звиняйте, если чё, батя.

— Садись на лавку, не расшаркивайся — не на танцы пришёл, боярин. А ты посуду, Стёпка, чтоб всё честь по чести было, — остановил его тираду дед, повернувшись к причальному.

Расселись друг против друга. Степан стал с торца стола, продиктовал:

— Три, два, один — пошёл!

После минутной борьбы рука Виктора уже была прижата к доске. Опешивший, он, передохнув, обратился к сопернику:

— Давай заново, не успел собраться.

— Дядя, червонец в казну, строго по договору, — напомнил судья.

— Цыгь, Стёпа! А ты соберись, сынок, соберись, — разрешил дед.

— Ну, три, два, один — агу! — отсчитал рефери, и две дрожачие от напряжения руки закаменели в вертикальном положении.

— Дави богатого, Фёдор Селиванович, не опозорь Дон, топи его! — дружно поддержали старого земляки.

— Витя, порви, заломай, докажи! — горячились подружка и компаньоны преда.

Не заломал... Всё закончилось тем же: рука его вновь была крепко припечатана к доскам. Зло бросил деньги, перехватился:

— А давай левой!

Левой продержался ненамного дольше. Встал, сконфуженный:

— Ну и рука у тебя, казачина!



- Ты не расстраивайся дюже, парень, я его ещё в гражданскую так намахался – не одного, прости, Господи... – оборвал разговор, поднимаясь, соперник.
 – ...белого? – закончил за него фразу председатель.
 Отойдя уже, обернулся старик:
 – С чего бы я своего рубил? Да и не надо об этом...

ПЕРВЕНЕЦ

- Вань, Ванечка, плохо мне... О-ой! Не могу, больно, Ваня!
 – Ты что? – сразу почувствовав перекатившийся из груди куда-то в ноги холодок, резко сел на кровати Иван. – Уже? Может, пройдёт? Ложись, перележи.
 – Нет, нет, нет, а-а-а! – уткнулась головой в кровать стоящая почему-то на коленях Мария, ухватила его цепко за руку. – Ваня!
 – Счас, счас! Потерпи маленько, потерпи, чуешь? Ой ты, боже мой! Что же делать-то? – засуетился, забегал, на ходу одеваясь, Иван, помог-таки лечь на кровать держащейся обеими руками за живот Марии. – Ты потерпи, – сказал, – я Тайку Маслачку шумну, чтоб с тобой посидела, а сам мотнусь за Воронком на конюшню. А, Маруся?
 – Потерплю. Отпускает вроде, а то, думала, я зари не дождусь, так прихватило.
 – А чё ж не будила?
 – Потом – всё, потом – беги, Ваня. О-ой!
 Напрямки через росную мочажину, то пробежками, то скорым шагом, заспешил к конюшне Иван. Двинул в ребрину дрыхнувшего ещё ночного Сашку Мыгова, оранул:
 – Гоном выводил Воронка, Мария рожает!
 На себе развернул линейку, цапнул сколько рук хватало в оберёмок сена, растолкал в задке, покрыл полстью. Оттолкнув конюха, сам набросил комут на мерина, едва коснувшись подножки просевшей на рессорах линейки, огрел его кнутом.
 От хуторка до райцентра напрямую километров шесть. Полевая дорожка накатана над камышовой музгой, через просторный сенокосный луг – прямо к деревянному мосту через Маныч. Слева со стороны быстро поднывавшегося июньского солнца громадным чёрным валом высится свежая плотина будущего водохранилища со шлюзом, дорогой, разводным мостом. С поймы видныдвигающиеся по гребню подсыпаящие насыпь грабари в воловьих и конских упряжах, катки, верховые охранники – там зона, работают подневольные люди. Двадцатый год советской власти приказано встретить большой трудовой победой – завершением строительства гидроузла.
 Всё это знает Иван, но видит стройку редко: с раннего до позднего – в бригаде, на полях неотлучно.
 Воронок без понуканий свежо рысит по изгибам знакомой дороги. Иван, полуобернувшись, успокаивающе беседует со стонущей женой.
 Крик резкий, злой: «Стой, архангела твою мать, куда прёшь, деревня!» – заставил его вздрогнуть, инстинктивно натянуть вожжи. Только сейчас увидел свежим шрамом рассёкший тело стени широкий ров будущего судоходного канала. Где по пояс, где вовсе с головой зарываются в грунт землекопы, редкой цепочкой выставлены по брустеру конвоиры. И кричал один из них – рябой, мордатый, с винтовкой наперевес.
 – По насыпи, по насыпи проезд! Обьезжай, чтоб тебе пусто было! – рад покомандовать он.
 – Так н-не могу, н-не успею! Надо, друг, скоро в больницу, – от волнения и неожиданности заикается Иван.
 – Друг нашёлся... Кругом! Кому сказано, кругом марш! – куражится стражник.
 – Стоп! – вдруг властно останавливает его отошедший от прибора на треноге инженер.
 – А-а, а-а! – чуть не в голос уже плачет качающаяся по полсти Мария. – Скорее, Ваня!
 Хутор – вот он, рядом, за мостом, а вокруг по свежей плотине и за час не успеть. Совсем растерялся Иван. Стал рядом с линейкой, задыхается от бессилия бессловесно.
 – Архипов, шесть человек сюда! – загремел инженер рядом. – Перенести женщину, чтобы не качнулась. Пилипенко, Збруев, всей бригадой перебросьте телегу! Ты, казак, не стой дубьём, выпрягай коня лихо! Сам переведёшь в низком месте. А ты потерпи, моя радость, потерпи... Первый?
 Только кивает утвердительно головой всхлипывающая Мария, зажав в губах кончик платка:
 – У-у...
 – Бегом выполняй, славяне! – подхлестнул криком бросивших лопаты людей начальник.
 Поплыла на руках поднятая вместе с полстью Мария. От боли не видит лиц, лишь ощущает: кто-то целует ей руки, плечи, а другой целует, гладит босую ступню. Бегут по рву люди: дай, я помогу, дай, дай хоть прикоснуться!
 Всклипнул молодой вдруг рядом:
 – И моя...
 И прокуренный голос сбоку:
 – Мужики, жизнь продолжается! Жива матушка Русь!

Вмиг перебросили лёгкую линейку, перевёл сам Иван Воронка, ход продолжил. Встали в ряд на бруствер бросившие тяжкую работу люди. Через час в больнице родила Мария сына. Первенца. Продолжается жизнь.

ВИКТОР ПЕТРОВ

г. Ростов-на-Дону

КРЕСТ-НАКРЕСТ

ТАЙНОПИСЬ

Чёрт завалится в чертополох,
Верстовая огорошит весть:
Между строк записываю вздох —
Сможешь ты ли тайнопись прочесть?

Родина моя бредёт в бреду —
И бредёт по свету босиком.
Хочет ветер отвести беду,
Катит листьев залежалый ком.

Листья палые — из книг листы.
Книги чёрные — их чёрт писал,
Чтобы сгинули и я, и ты
За рекою Дон, рекою Сал.

Эй, нечистый, запало костёр —
И метнутся дали до небес!
Тотчас выйдет — глаз да слух остёр, —
Выйдет из чертополоха бес.

Ну-ка, чёрт, иди сюда ко мне,
Морок, серный дух, заморский сон!
Ты казачьих зря пугал коней —
Слышишь, гул идёт со всех сторон?

Гложет перемен переполох,
И меняет Родина печать:
Между строк записываю вздох —
Ты одна сумеешь прочитать.

НИКОЛА

Восседает возле мусорного бака
Бомж Никола на разбитом стульчаке
И читает Блока... А у ног собака
Слушает стихи, витая вдалеке.
Жизнь вольготная — такая-растакая!
И ещё не вся... А всю — узнает кто?..
И серебряного Блока изрекая,
Бомж Никола распахнул своё пальто.
Хорошо как!.. Солнце — пиво разливное:
Всем его хватает — зенки заливай...
Только белый день решёткой разлинован,
Да поодаль катит, дёргаясь, трамвай.



Никаких медалей нету у Николы –
Даже пропил материнский крест давно.
До чего же голы русские соколы,
Если есть в ларьках молдавское вино!
Собирает банки из-под пива, колы,
Христарадничает – и жива душа...
Люди добрые, не те ли мы Николы:
Душу пропил, за душою – ни гроша?
Возвышается над всеми храм Николы,
И внутри угодник золотом горит.
А расколы... Снова русские расколы!
И об этом Блок с Николой говорит.
Горько смотрит Блок – такая, братцы, штука –
На окрестную муру и похабень.
Блоковские строки понимает сука,
Хоть и голодает псина каждый день.

СПОСОБ ВЫЖИВАНИЯ

Ты один, а другие никто,
Пусть и драное носишь пальто,
Ведь сияет в петлице зато
Одинокого званья звезда,
Что срывают с небес иногда...

Ты сорвал – и сорвался теперь:
Впору выть и метаться, как зверь,
Только пыл свой, избранник, умерь.
Ты – дитя и толковищ и смут,
А такие живут – не живут.

Способ этот сильнее врага,
Что смыкает зимой берега:
Мол, иди – прорубь скрыли снега...
И тогда надо всем воспаришь,
И окликнет совиная тишь.

Раскрылатятся полы пальто,
Обращая разлуку в ничто,
Чтобы встретили губы: «Ты кто?»
Объясняться тебе не с руки,
Если порваны черновики

И заветного жаждешь листа,
Но последняя близко черта,
Раз пристрелены в небе места,
Где такие бывают, как ты,
Набирая запас высоты.

А когда не достанет свинец
И в начало упрётся конец,
Улыбнёшься, живучий гордец:
Ты один, а другие никто –
На крылатку походит пальто.

БАЛЛАДА ЧЕТЫРЁХ

Четвёртый приходит ночами к тебе,
А с вечера третий припал к изголовью.
И север играет на дымной трубе,
И алчущих ты оделяешь любовью.

Где первый? Так вот он – стоит за окном.
И рядом второй озирается пёсы.
И сон этот кажется больше не сном,
И страшно подумать, что может быть после...

Баллада – блокада: уже никуда
Тебе не сбежать от настырной четвёрки.
Поднимется дыбом речная вода,
Ударит, срывая оконные створки.

Чего ты спросонья ревьешь? Не реви.
Опомниться можно – ещё есть минута,
Ведь слёзы твоей молодой нелюбви
Копила, скопила апрельская смуга.

Оставишь, как есть, четверых в темноте –
Падут на дождливые травы бесчестья...
И кинешься к сходням, похожим на тень
От мачты фрегата, что был неизвестен

Распатланным ивам и тихой реке,
Но стал и стоит у разбитого мола!
Ещё ты успеешь, как есть, налетке,
Взметнуться на палубу стягом подола.

Воздушный фрегат – без руля и ветрил,
Воздушный фрегат – паруса-домотканка.
Такую никто никогда не любил,
А то, что случилось, – всего лишь обманка.

Минута – и душу и тело сменить!
И, эту мгновенную смену оплакав,
Тому изумляться, того изумить,
Чей мир одинаковый не одинаков.

АЙСЕДОРА

Хмельные крики услышу – промолчу! –
И роняю, дурень, тяжёлую голову,
А тут ещё привалилась ночь к плечу,
Сманивает к Дону идти по льду голому.

Да и пойду! Так давай со мной, айда!
Что осталось, если иное неведомо?
Но Айседора, падучая звезда,
Мне глазами усмеяется, вредина!

В косых лучах пританцовывает зло.
Босая... А может, босая? Без разницы!
И я догадываюсь: мне повезло...
Скоро угомится, захочет подкраситься.

Порхание рук – танцевальные па
Всех десяти пальцев... Смотрю в изумлении!
Такое поставить мог бы Петипа –
Тема ресничная... Паду на колени!

Сейчас, Айседора, забудем себя,
А над самым краем вспомним с придыханием...
Убираешь лёгкие тени со лба –
После окажутся жесты эпохальными.



Колотится сердце до срыва уже –
Исчезаешь ты... И сразу – так соскучился!
И лифт обмирает на том этаже,
Шарф петлёю мёртвой на отлёте скручивается.

Он схлестнулся крест-накрест с тобою
И земные отринул пути.
И, распятые общей судьбою,
Разве можете с неба сойти?
Было то, что ещё не бывало,
А что было – рассыпалось в прах...
Ты руками его обвивала
И в подлунном и в прочих мирах.
Откликалась на редкое имя,
Постигала размолвок туман;
Неземная улыбка таима –
Холодит и волнует обман.
Он живёт у слепого экрана,
Затянул виртуальный портал:
Вместо сердца – открытая рана:
Сам бы рану не забинтовал...
Ты придёшь, ты омоешь слезами –
Тайно вылечишь рану его;
И с высот золотое сказанье
Явят звёзды, не зная того,
Что отчаялся сумрак осенний
И качается лодка вдали,
И дремотные запахи сена
Долетают с далёкой Земли.

ВАЛЕРИЯ САЛТАНОВА

г. Ростов-на-Дону

ЗА СТВОРКАМИ БОЛИ

Когда бы нам с тобой пришлось ещё,
Вот так обнявшись, проворонить вечность,
И под глазами чёрную отечность
Вручала б нам бессонница, как счёт?..

Когда б ещё так ладили уста,
Захваченные чувственной предтечей,
Блуждая лабиринтами предплечий,
Ни разу не остыв и не устав?..

И кто бы объяснил нам (слово – дым!)
То, что само явилось нам однажды:
Неведомое прежде чувство жажды
Мы постигаем лишь с глотком воды.

Моя непоправимая беда:
Разлуки, отвыканья, отстраненья...
Блаженный привкус власти – и смиренья,
Блаженное всегда – и никогда.

Не сравнивай. Ты тёмн был, и тьма
Тебя касалась мутными крылами.
Но ангел счастья воспарил над нами,
Сводя с ума.

Не им благодаря ты можешь снова
Зажечь свечу – сто свеч! – а не огарок.
И так легко теперь принять в подарок
Меня и слово.

МАРИЯ ПАРФЁНОВА

г. Харьков

РОСТЯ рассказ

Ростик поёжился, поправил пуховый платок, намотанный поверх короткого пальтишка, и свернул за угол. Холодный декабрьский ветер бросил в лицо горсть колючих снежинок, на мгновение застался, а затем со свистом, в котором Ростику послышалось что-то залихватски хулиганское, унёсся вверх – гулять по крышам, хлопать ставнями и выгв в трубах. Вот кому раздолье!

Ростик вздохнул и двинулся дальше – как говорил папка, «время не ждёт». До сумерек оставалось всего ничего, а дров для буржуйки собрать почти не удалось (две гнутые ножки от венского стула не в счёт: сгорят – не заметишь). Впрочем, в тот день помимо этих самых ножек Ростику удалось добыть ещё кое-что. И теперь это кое-что лежало в кармане пальтишка и, как казалось Ростику, даже тикало. То-то Катя обрадуется, когда увидит!

Катей звали старшую сестру Ростика. И не просто старшую, как у других ребят, а совсем старшую-престаршую. Вот кому повезло! Целых восемнадцать лет! Ростик обиженно шмыгнул носом: будь ему восемнадцать, он бы уже давно на фронте был, с немцами воевал, как папка. А вместо этого ему приходилось торчать тут, в городе, прятаться от бомбёжек, проржавевшим ведром таскать воду с Литейного и греться у старенькой, закопчённой буржуйки. Эх, то ли дело – печь у бабки Пелагеи в деревне! Ладная, белёная, большая-пребольшая! Такая и хлеб испечёт и в зимний холод согреет.

– Ростик! Рости-и-ик!

Мальчишка обернулся на голос. В дюжине шагов от него из узенького прохода между домами выглядывала его соседка – Лидочка Винникович.

– Ростик! Иди сюда, поможешь!

– Ничего себе! – Ростик даже рот открыл от удивления. – Ты где такую ветку здоровущую достала?

– Там, – Лидочка нетерпеливо махнула варежкой в сторону дворов, поправила напользающую на глаза шапку и скомандовала, – понесли!

Тащить ветку было тяжело. Длинная, суковатая, местами покрытая намёрзшей за зиму ледяной коркой, она то и дело выскальзывала из рук, нороя бухнуться на изрытую воронками от взрывов мостовую.

Когда до дома на Суворовском оставалась какая-то пара кварталов, тишину разорвал вой сирены. Ребята, не сговариваясь, бросили ветку, рванули в ближайшую арку и прижались к крошащейся старым кирпичом стене. А ещё через минуту загрохотало так, что Ростик втянул голову в плечи, зажал ладонями уши и совсем уж хотел зажмуриться, как вдруг вздрогнул – полыхнуло совсем близко.

– Бежим! – не слыша собственного крика, Ростик схватил Лидочку за руку и поволок за собой, всё больше углубляясь в лабиринт дворов.

С крыш летели осколки черепицы, сквозь облако мигом поднявшейся серой пыли не было видно почти ничего, а за спинами всё свистело и рвалось – вновь и вновь заставляя бежать быстрее, не оглядываясь и почти не надеясь, что повезёт и на этот раз.

И вдруг наступила тишина – неожиданная, звенящая: не слышалось взрывов, не доносилось роко-та бомбардировщиков, ни один звук не плясал эхом по каменным стенам дворового колодца. Какое-то время ребята молча смотрели друг на друга, словно боялись спугнуть удачу, и только когда с улицы донёсся топот чьих-то ног, Лидочка шумно выдохнула:

– Улетели.

– Улетели, – Ростик слабо улыбнулся и вытер варежкой нос. – Ну, что? Пойдём обратно?

Но когда спасительная арка осталась позади, и на ребят вновь обрушился гуляющий по улице ветер, Лидочка остановилась и всплеснула руками:



– Ростик! Ветка!

Ростик открыл было рот, но так и замер: ветки не было.

– Забра-а-али! – в голос заревела Лидочка. – Нашу ве-е-етку забра-а-али!

Ночью Ростик долго ворочался в кровати, пытаясь согреться и уснуть. Не получалось ни первого, ни второго. В буржуйке слабо тлела напрочь отсыревшая ножка венского стула, а из треснувшего оконного стекла тянуло сквозняком – повешенный прямо поверх окна ковёр от холода не спасал. А ещё, как назло, зудели ободранные веткой пальцы, и мальчишка тихо вздыхал: когда теперь заживёт?

На стенке тикали неугомонные ходики. От нечего делать Ростик считал эти бесконечные тик-таки и всматривался в темноту комнаты. Но неожиданно, когда полуявь уже была готова смениться полусном, в углу что-то замерцало. Мальчишка приподнялся на локте. Мерцание стало ярче, и вдруг прямо сквозь стену проступил лифт. Ростик видел такой несколько лет назад, когда папа брал его с собой в Москву. Металлические створки, открывающие дверь в шахту, и сияющая медью проволочная сетка на раме. Ростик улыбнулся: папа называл эту сетку «дверь номер два» и говорил, она для того, чтобы слишком любопытные маленькие мальчишки случайно не вываливались куда не надо.

Ростик отбросил одеяло, опустил ноги на пол, краешком сознания отметил, что тот почему-то совсем не холодный, и на цыпочках пошёл к лифту. Зайдя внутрь и потоптавшись на месте, Ростик почесал нос – чтобы лифт поехал, нужно было на что-нибудь нажать или за что-нибудь потянуть, но ни кнопок, ни рычагов тут не наблюдалось.

– Сигу-а-ация, – Ростик качнул головой и почти расстроился. – Неужели лифт так никуда и не поедет?

И вдруг он заметил её – поблёскивающую золотистыми искорками витую морскую раковину. Ростик порывлся в памяти и вспомнил умное слово: рапан. Но что эта штука тут делает? Мальчишка нагнулся, хотел поднять неизвестно как попавшую сюда морскую путешественницу, но раковина, казалось, приросла к полу. Ростик дёрнул раз, другой и вдруг понял – раковина вращалась. А вместе с ней закрывались обе дверцы лифта – главная и «номер два».

Яркий свет померк, превратившись в подслеповатое золотистое мерцание, лифт загудел и поехал. Вниз или вверх – Ростик понять не смог, ясно было только одно: ехать было ничуть не страшно, а в глубине души всё росла, всё силсилась неизвестно откуда взявшаяся уверенность, что там, куда его привезёт лифт, будет хорошо.

Предчувствие не обмануло. Стоило дверцам разехаться в стороны, как в кабинку хлынул солнечный свет, потянуло запахом хвои, а ещё через мгновение на Ростика обрушился целый водопад звуков: без умолку трещали птицы, где-то в отдалении звенел ручей, а сверху доносился счастливый смех прячущегося в вершинах деревьев ветра.

Поляна. Удивительно знакомая поляна! Ростик выбрался из лифта, потоптался на месте, с наслаждением втянул напоённый свежестью и запахом листвы воздух и вдруг увидел его. Старый кедр. Высоченный, могучий, стоящий в стороне от остальных деревьев. Ростик рванул к нему, обожал вокруг, раздвинул ветки колючего куста, примостившегося у основания ствола, и едва не запрыгал от радости – на него смотрели процарапанные на коре неровные буквы «Р-39». Р – это был он, Ростик, а 39 – тысяча девятьсот тридцать девятый год – год, когда они с папкой приезжали в сибирскую деревушку со смешным названием Галка повидать бабушку.

Отойдя от кедра, Ростик огляделся: всё сходилось. Если пойти направо – дойдёшь до ручья. А если обогнуть вот те заросли, спуститься в овражек, а потом идти всё время прямо и прямо – найдёшь тропинку, которая шагов через пятьсот выведет к мелкой речушке без названия, неподалёку и найдется бабушкина деревня.

Ростик закрыл глаза, раскинул руки, закружился на месте и захохотал от счастья – оттого, что пахло вокруг хвоей, а не пылью искрошившихся стен, оттого, что в небе кружили лишь птицы, и оттого, что здесь, неподалёку от глухой сибирской деревушки, ему впервые с начала войны вновь захотелось стать обыкновенным мальчишкой-сорванцом, а не маленьким десятилетним взрослым, которому надо заботиться о себе и старшей сестре, искать дерево на растопку буржуйки и прятаться в подвалах и подворотнях, когда из-за серых нависших туч вновь покажутся идущие на город бомбардировщики.

Но счастью не было суждено продлиться долго. Со стороны лифта донеслось глухое гудение, Ростик обернулся и с ужасом увидел: дверцы начинали медленно сходиться сами собой. Соблазн остаться здесь, в неожиданно наступившем лете, и не возвращаться в снежный Ленинград был велик. Но там были Катя и Лидочка, и папка, который защищает город где-то под Стрельной.

– Ростик! Ростик! Просыпайся! – Катя ласково потеревила мальчишку за плечо.

Ростик открыл глаза. Тяжёлое ватное одеяло укрывало его по самый подбородок, в углу разгоралась буржуйка, а из окна привычно тянуло холодом. Неужели это был всего лишь сон?

Ладони слегка покалывало. Ростик вытащил руки из-под одеяла и удивлённо присвистнул — от вчерашних ссадин и царапин не осталось никакого следа. Ну и дела! Мальчишка соскочил с кровати, подбежал к стене, провёл пальцами по старым обоям в выцветшую розочку и разочарованно вздохнул: всё как обычно — никакого лифта.

— Ты чего? — удивилась Катя. — Куда понёсся?

— Да я так... — Ростик махнул рукой. — Стенку проверить.

— Стенку? — Катя приподняла бровь. — А ну-ка, иди сюда. Ты у меня, случаем, не заболел?

Катя прикоснулась губами ко лбу Ростика и удивлённо качнула головой.

— Не горячий. Ладно, давай завтракать, а то мне совсем скоро на работу бежать. А опаздывать нехорошо. — И улыбнулась, — Правильно я говорю, а, Ростя?

Ростик нахмурился и ничего не ответил: он ужасно не любил, когда его так называли. Ну, что за имя — Ростя? Для кролика вполне сойдётся, ну, или для щенка какого-нибудь. А ведь он ни то и ни другое. Он Ростик, а по-правильному и вовсе — Ростислав.

Завтракали, как всегда, хлебом. Катя каждый день резала полученные в паёк ломтики на три части: завтрак, обед и ужин. Ростик бросил взгляд на полку, там, в холщовом мешочке, оставалось немного отрубей — горсти две, не больше. Но их Катя есть не разрешала, говорила, «на чёрный день».

— Я сегодня побольше дров достать попробую, — пообещал, одеваясь, Ростик.

А сам опустил ладошку в карман пальто, погладил найденные накануне часы и твёрдо решил идти на рынок. Вдруг удастся выменять находку на что-нибудь ценное?

В тот день ветер кусал за щёки сильнее обычного. Ростик втягивал голову в плечи, пригибался и брёл всё дальше и дальше вдоль рельсов, по которым уже давно перестали ходить трамваи. Мальчишка шмыгнул носом — именно сегодня ему отчего-то отчаянно хотелось себя пожалеть, но раскидать было нельзя. Другим ещё хуже. Эх, сейчас бы к папке — вот кто точно подбодрить сумеет! Но папка далеко. Туда пешком идти долго-долго. Зато там, говорят, окопы, как улицы — друг с другом соединяются, и командиры приказы по телефону передают, и пулемёты есть: папка бы точно разок стрельнуть разрешил!

Ростик представил, как надевает на голову самую настоящую каску, чучошку приподнимается из окопа, прицеливается и — «гра-та-та-та-та!» — строчит из пулемёта.

Ростик потёр нос варежкой и вздохнул, вспоминая тот вечер, когда отец уходил на фронт. Ростик весь день крутился возле него: то просил взять с собой, то грозился сбежать из-под опеки сестры и пробраться на фронт самостоятельно, то надоедал разговорами.

— Пап, а пап, а ты там самым главным будешь? А мы немцев быстро победим? А сколько человек в один танк влазит?

Отец отвечал односложно — думал о своём.

— Слу-у-ушай! — в голове Ростика закрутился ещё один вопрос. — А вот если человека на войне убьют, он потом совсем не возвращается?

Тогда, в неполные семь лет, ответ на этот вопрос не казался Ростикю очевидным.

— Так возвращается или нет? — Ростик дёрнул отца за рукав и задрал голову в ожидании ответа.

Отец остановился, отложил взятую было книгу, чуть помедлил и шумно выдохнул.

— Возвращается, Ростик. Обязательно возвращается.

Из всего разговора с отцом именно эти слова запомнились Ростикю больше всего. Он часто вспоминал их, когда от рёва рвущихся бомб и надрывного стрёкота зениток становилось особенно страшно. В такие моменты Ростик прикусывал губу, зажмуривался и говорил себе, что бояться не надо — ведь, если что, он всегда сможет вернуться. Надо только сильно-пресильно захотеть.

— Что меняешь? — Ростика толкнули в бок, мальчишка оступился, едва не упал и только тут заметил, что наконец дошёл до рынка. Поговаривали, что здесь можно купить или выменять всё, что захочешь. Ростик слотнул: первой на ум почему-то пришла большая банка яблочного повидла, а за ней замаячили плитки шоколада, банки с тушёной и кули с сахаром.

Сахара Ростик не видел почти с самого начала войны — с той поры, как сгорели Бадаевские склады. Тогда он с Лидочкой и другими ребятами тайком бегал к складам и отковыривал со стен потемневший и оплавившийся сахар.

— Эй, мальчик, заснул, что ли? — Толкнувшая Ростика женщина потрясла его за плечо. — Что меняешь, спрашиваю?

— Вот, — Ростик полез в карман и вытащил часы.

Женщина повертела их в руках, зачем-то попробовала на зуб и покачала головой:

— Безделища. За такую много не дадут. Могу пайку предложить. Детскую. Сто граммов.

— Сто двадцать пять! — возмутился Ростик. — И вообще! Настоящие часы, не разбитые, может, даже золотые!

— Золотом сыт не будешь, — женщина усмехнулась. — А не веришь, иди — другим свой товар предлагай. Посмотрим, что выменяешь.



Ростик фыркнул и углубился в рынок. Показывал часы то одному, то другому. Но ничего ценного ему и в самом деле не предлагали, а обещанные сто граммов хлеба никак не шли из головы. В желудке сосало, Ростик по минуте слгатывал слюну, и когда из-за спины вновь послышался голос давешней знакомой, почти обрадовался.

— Ну что, нашёл что-нибудь? — Женщина поправила платок и принялась притопывать ногами в валенках.

— Н-нет, — Ростик покачал головой и протянул часы. — Давайте ваши сто грамм.

— Так забрали уже, — женщина развела руками. — Опоздал ты.

Ростик оторопел. Неужели так и придётся вернуться домой, ничего не выменяв?

— Правда, ещё овёс есть, — продолжила женщина. — Но много не дам. Две горсти, не больше.

Дорога домой казалась бесконечной. Ростик волок за собой подобранную на развалинах дома дверцу от комода и время от времени опускал руку в карман. Там, завернутый в обрывок газеты, лежал овёс — старый, местами плесневелый. Но из него можно было сварить кашу, а из остатков каши — овсяный кисель. Эх, скорее бы домой!

Замечтавшись, Ростик едва не налетел на молодую девушку, тащившую за собой санки. На них, прикрытое клетчатым покрывалом и крест-накрест привязанное бечёвкой, лежало тело — из-под покрывала торчали толстые голые ноги с отросшими жёлтыми ногтями.

— Осторожнее! — девушка недовольно качнула головой, взяла чуть вправо, а Ростик зажмурился и отступил.

Месяц назад они с сестрой так же везли бабушку. Правда, бабушка тогда была не голая, а в толстой шерстяной юбке и двух вязанных кофтах. Санки пришлось попросить у Лидочки — своих не было. А когда они почти дошли до пустыря, Катя отобрала у Ростика верёвку, сказала: «Подожди тут» — и дальше потащила бабушку сама. Ростик ждал. Мёрз, дышал в ладони и подумывал о том, как хорошо бы попрыгать на месте, чтобы согреться, но не решался — последний раз после таких прыжков в голове всё поплыло, звуки стали далёкими, а земля под ногами — мягкой-премягкой, словно из ваты. Ростик тогда долго стоял, опершись о стену: моргал, старался отдышаться и раз за разом повторял детскую считалочку про зайца. Слова считалочки пугались, но останавливаться было нельзя — потеряешь сознание, упадёшь, замёрзнешь, а никто и внимания не обратит.

А потом вернулась Катя, отдала Ростикю пустые санки со свёрнутыми вещами — шерстяной юбкой и двумя кофтами — и, словно оправдываясь, объяснила:

— Потом продадим, если получится.

Ужинали хлебом. Принесённый Ростиком овёс Катя забрала и спрятала в старую жестяную банку из-под чая, а самого Ростика назвала добытчиком и ласково потрепала по голове.

А поздно вечером, когда Ростик совсем уж было собрался лечь спать, в дверь не то постучали, не то поскреблись. Катя бросила на брата вопросительный взгляд (мол, никого в гости не ждёшь?) и пошла открывать. На пороге стояла Ирина Александровна — бабушка Лидочки.

— Катенька, здравствуй. Не разбудила вас? Вы уж извините, что я так поздно — но дело такое, срочное. Лидочка моя заболела. Кашляет и кашляет весь день. Я уже всё, что было, в буржуйке пожгла, а в комнате всё равно холод. Дровишек у вас попросить можно? А я завтра собираю и вам отдам.

Катя качнула головой, бросила взгляд на тлеющие в буржуйке длинные занозистые щепы (кусочки той самой дверцы от комода, которую сегодня притащил Ростик), на мгновение задумалась и предложила:

— А давайте мы по-другому сделаем. Берите вещи и приходите с Лидочкой к нам. В тесноте, да не в обиде, правда ведь? Да и согреемся быстрее!

— Ой, Катенька! Ой, спасибо! — Ирина Александровна всплеснула руками и перевела взгляд на Ростика. — Золотая у тебя сестра, Ростя! Просто золотая!

Ну, вот, опять! Ростик надулся. И как все эти взрослые не поймут, что ему совсем-пресовсем не нравится это имя? Ну, не ругаться же с ними из-за этого, в самом деле?

На стене тикали ходики, спали умаявшиеся за день Катя и Ирина Александровна, кашляла в темноте Лидочка. А Ростик лежал и думал.

Вот он вчера ладони исцарапал, пока ветку нёс? Исцарапал. А сегодня? А сегодня ни следа нет. Это всё лифт, который его, Ростика, в бабушкину деревню отвозил. А если лифт его царапины вылечить смог, может, и с Лидочкиным кашлем справится?

Ростик вылез из-под одеяла, в темноте пробрался к старому дивану, на который уложили Лидочку, тронул девочку за плечо и шёпотом поинтересовался:

— Не спишь?



Лидочка не спала.

– Тогда слушай. Вчера ночью...

– Ну вот, как-то так... – Ростик закончил сбивчивый рассказ и вздохнул. – Только вот лифт... Он ведь мне вчера приснился. А сегодня... не могу же я его себе нарочно, – мальчишка запнулся, подбирая правильное слово, – приснить.

– А ты его попробуй так представить. – Лидочка глухо кашлянула и продолжила ещё тише. – Ну, подумай о нём. Сильно-сильно. Вдруг появится?

И Ростик подумал. Зажмурился, сжал кулаки, вдохнул поглубже и представил вчерашний лифт. Внешнюю и внутреннюю двери, золотистый свет от лампочки и смешную вращающуюся ракушку.

– Получилось! Ростик, получилось! – сдерживаясь, чтобы вновь не раскашляться, зашептала Лидочка.

Ростик открыл глаза. Вопреки ожиданиям, лифт оказался на новом месте – в узеньком коридорчике между комнатой и кухней.

– Пойдём! – Ростик потянул Лидочку за руку.

Но стоило ребятам войти в лифт, как оказалось, что раковины, повернув которую, Ростик запустил лифт в прошлый раз, не было на месте.

– Ерунда какая-то! – сквозь зубы возмутился мальчишка. – Куда она могла деться?

– А вот это не она? – Лидочка выгатила руку из-под наброшенного на плечи одеяла и указала куда-то вверх.

Ростик задрал голову и удивлённо хмыкнул: ракушка прилепилась к стене слева от косяка – в паре метров от лифта.

Миг – и мальчишка оказался рядом. Встал на цыпочки, дотянулся до беглянки кончиками пальцев. Крутись, родная! Ракушка плавно заскользила вокруг собственной оси, а вместе с ней, закрываясь, потянулись друг к другу дверцы лифта. Ростик метнулся назад и едва успел: с лёгким щелчком дверь закрылась, и лифт ухнул вниз.

– Ничего себе! – Лидочка стянула с плеч одеяло и улыбнулась, подставляя лицо под тёплые солнечные лучи. – А как это получается?

– Не знаю, – Ростик пожал плечами. – Получается, и всё. Ты не об этом сейчас думай. Ты воздухом дыши. Мне тебя завтра ещё бабушке сдать надо – и обязательно в здоровом виде.

И Лидочка послушно дышала. А Ростик рассказывал про деревню Галку, про то, какие блины печёт бабка Пелагея, и про любопытных белок, которые приходят посидеть на плетне, а иногда таскают сушашки на солнце маслята.

– Жаль только, – сокрушался Ростик, – далеко от этого лифта не уйдёшь. Он обратно сам едет. Не успеешь влезть – навсегда тут останешься.

– А что в этом плохого? Тут тепло, грибы, ягоды есть. Я бы осталась. Только надо сначала домой съездить – мою бабушку с собой взять и твою Катю. Её, кстати, ещё уговаривать придётся... Слушай! – вдруг осенило Лидочку. – Если я кашлять перестану, значит, тут кого хочешь вылечить можно!

– И? – не понял Ростик.

– И тогда надо об этом твоей Кате рассказать. Обязательно-преобязательно! Представь, приходишь ты в госпиталь, где она работает, заходишь в палату к раненым и вызываешь для них лифт. Полчаса – и они опять здоровы. Заходишь в следующую палату – и там то же самое делаешь. А потом ещё и ещё! Так за день весь госпиталь на ноги поставить можно!

– Ага! – Ростик так обрадовался этой мысли, что едва не заляпсал на месте. – А потом можно по другим госпиталям пойти. Представляешь, сколько народу сразу на фронт вернуться сможет? Мы тогда немца живо отгоним!

Ростик совсем уж собрался мечтать и дальше, как лифт, всё это время стоявший среди поляны за спинами ребят, тревожно загудел.

– А ну, давай внутрь! – скомандовал Ростик. – Домой пора!

Когда Ростик проснулся, за окном было сумеречно, а ходики показывали начало восьмого.

– Доброе утро, соня. – Лидочка улыбнулась. – Всё спишь и спишь! Бабушка уже давно хлеб получила и за дровами ушла, а Катя – в госпиталь. Я ей про лифт рассказать хотела, а потом подумала и решила тебя подождать. Всё-таки это ты его нашёл.

– Подожди-подожди, – тряхнул головой Ростик, выбираясь из постели. – А чего меня никто не разбудил?

– А это всё моя бабушка. – Лидочка хихикнула. – Всё утро рассказывала твоей сестре, как мы на улице промерзаем, когда ветки и деревяшки ищем. Вот она и решила тебя у себя дома оставить, выходной дать – боялась, что заболеешь, как я.

– Ерунда какая! – Ростик отмахнулся. – Кстати, ты как? Кашляешь ещё?

– Не-а! – Лидочка гордо задрала нос. – Ни капельки не кашляю!

– Значит, сработало?!

– Сработало!



Идти к Кате было решено сразу же. Наскоро сжевав оставленный сестрой хлеб, Ростик обул валенки, натянул пальтишко и едва не забыл про пуховый платок – так хотелось побыстрее поделиться радостью. Ну и, разумеется, чуток поважничать – как-никак, не у каждого мальчишки есть свой волшебный лифт.

Но быстро добраться до госпиталя, где работала Катя, не удалось. На углу Невского и Суворовского их застигла бомбёжка. Из-за низких облаков вынырнули «Юнкерсы», заревели, пошли на снижение. Секундой позже декабрьские сумерки распоролы направленные в небо прожекторы, а вслед за этим ожили, застрекотали зенитки. Лидочка взвизгнула и рванула было прочь, но, пробежав несколько метров, остановилась и обернулась. Ростик стоял посреди мостовой и смотрел в небо – словно не осознавал опасности, словно забыл, как рвутся сброшенные неприятелем бомбы, как сыплются на землю куски кирпича и бетона, как летит вниз звенящий хрусталь оконных стёкол.

– Ты чего? С ума сошёл? – Вернувшаяся Лидочка вцепилась в его старенькое пальтишко и потащила прочь с улицы.

– Я? – Ростик непонимающе захлопал глазами. – Я это... Мне кажется, сейчас что-то...

Ростик не успел договорить. Заглушая последние слова, в нескольких кварталах от них, ухнув, разорвались сразу две или три бомбы, поднялось облако серой пыли, а потом потянуло гарью – всё сильнее, всё отчётливее. И Ростик сорвался с места. Рванул что было сил, полетел, задыхаясь от пыли, слушая, как в висках тяжеленным молотом стучит кровь, побежал, забыв про всё на свете. Катя! Там Катя!

Половины госпиталя не было вовсе – на его месте осталась лишь груда дымящихся развалин, а из второй половины сквозь ещё не осевшую колючую бетонную пыль медленным потоком на улицу тянулись раненые. Кто-то шёл сам, кого-то несли другие.

– Ростя? – Мальчишка обернулся на голос.

Это была тётя Света, врач, с которой работала сестра.

Мальчишка бросился к ней, схватил за рукав:

– Катя! Тёть Света, где Катя?

– Успокойся, Ростя. Кати тут нет. Она ещё до бомбёжки уехала. На машине. Раненых в шестую больницу повезла. В нашей больше мест не было.

Ростик открыл было рот и вдруг замер, поняв страшное: прошедшие над городом бомбардировщики полетели в сторону проспекта Огородникова, а оттуда до шестой больницы – рукой подать.

Мальчишка сорвался с места и полетел прочь – туда, где у развалин соседнего дома стояло несколько стареньких ЗИЛов.

– Кто в шестую? Кто в шестую больницу едет?!

– Да мы теперь все туда, наверное, – горько усмехнулся старик-водитель. – Этот госпиталь того и гляди – рухнет. Вот сейчас людей погрузим и поедем. Если надо, могу и тебя подбросить. Только подожди маленько.

Но Ростик ждать не хотел. И не мог. Ему надо было туда, к Кате. Приехать, взлететь по ступенькам, промчаться по гулким коридорам и найти её. Целую и невредимую. А потом быстро-быстро рассказать про лифт и про бабушкину деревню, и про придуманный Лидочкой план.

Кстати, а где она? Где Лидочка? Ростик закрутился на месте, заозирался и наконец увидел её. Девочка стояла рядом с ещё одним ЗИЛом – первым в ряду выстроившихся друг за другом машин.

– Я к Кате поеду, – подскочил к ней Ростик. – Меня там один дяденька довезти согласился. Если ты со мной...

– Я тут подумала, – Лидочка, казалось, не слушала. – Если эта машина первой стоит, значит, она первой и поедет. И если мы в неё влезем...

Ростик едва не задохнулся от радости: вот девочка, вот голова! И как он сам до этого не додумался?

– Как думаешь, нас не выгонят? – шёпотом поинтересовалась Лидочка, забываясь в дальний угол крытого брезентом ЗИЛа. – Вдруг из-за нас места кому-то хватать не будет?

– А мы пока спрячемся. Вон, ящики, смотри, какие большие. Сейчас отодвинем их чуток и в щель залезем. А когда поедет, и вылезать можно будет. Угу?

Но время шло, а машина и не думала заводиться. И Ростик уже наверняка полез бы наружу, если бы не Лидочка.

– Не лети. Успеет. Скоро поедет, – уговаривала она его.

И Ростик ждал. А заодно шёпотом жаловался на жизнь:

– Вот почему они все меня Ростей называют? Что я им, младенец, что ли?

– Почему сразу «младенец»? – Лидочка даже улыбнулась. – Просто ты ещё ребёнок. Вот вырастешь, и будешь не Ростя, а Ростислав.

– Да ну! – Ростик отмахнулся. – Этого ещё ждать сколько!

– А знаешь, – девочка потёрла варежкой начавший замерзать нос, – моя бабушка говорит, что иногда человек становится взрослым не постепенно, а вдруг и сразу. Только для этого нужно понять что-нибудь такое, о чём сейчас не задумываешься, или поступок хороший и серьёзный совершить. Вот тогда и станешь настоящим взрослым. И будут тебя все Ростиславом звать, представляешь?

Ростик представлял, только понятия не имел, что же такое надо осознать или сделать, чтобы волшебное «Ростислав» приклеилось к нему и уже никогда не уступало место детсадовскому «Росте».

Но вот послышался топот ног, и в машину начали грузить раненых. А потом заурчал-завёлся двигатель, и ЗИЛ тронулся с места. Вылезать раньше времени Ростик боялся, поэтому сидел тихо-тихо и так же тихо и незаметно для самого себя задремал. А когда проснулся и осторожно выглянул из-за ящиков, едва не вскрикнул от удивления — сквозь неплотно затянутое брезентовое покрытие виднелся лёд. Много-много льда. И вокруг — ни домов, ни людей. Только серое небо и бесконечный лёд.

Высунувшаяся за Ростиком Лидочка тихонько ойкнула. Из-за брошенных друг на друга тюков выглянула пожилая медсестра в надетом поверх халата тулупе и удивлённо уставилась на ребят.

— Вы тут откуда?!

— Оттуда, из Ленинграда, — Ростик махнул рукой. — А мы сейчас где?

— На Ладоге мы, — помолчав, ответила медсестра. — В Катон едем.

— Ой, нам туда не надо! — испугался Ростик. — Нам обратно в Ленинград, в шестую больницу. Попросите водителя, пусть остановит. Мы быстро выйдем. Честное слово!

— Глупый ты ещё, — слабо улыбнулся мужчина лет пятидесяти, лежавший под одеялом у самого борта грузовика. — Куда теперь вылезать? И вообще — если живыми доедем, радоваться будешь, что из блокады выбрался.

Но стоило ему это сказать, как издалека донёсся гул, нараставший с каждой секундой. Стараясь ни на кого не наступить, Лидочка заторопилась к краю кузова, оттянула край брезентового покрытия, выглянула наружу.

— Самолёты!!!

Миг — и воздух пронзил силовый, словно простуженный свист. Грохнуло где-то далеко, машина дрогнула и взяла влево.

— Уйти пыгается, — объяснила медсестра, прижав к себе едва не упавшую Лидочку. — Но вы не бойтесь, детки. Не бойтесь. Держитесь только крепче. У нас шофёр, знаете, какой? В день по четыре рейса через озеро делает. Вывезет он нас. Обязательно вывезет.

Ростик во все глаза смотрел на медсестру и не верил. Слишком быстро побелело лицо, слишком глубоко залегла морщинка между бровями. Слишком, слишком, слишком. . .

С каждой секундой грохот разрывов слышался всё ближе и ближе, машина петляла из стороны в сторону, стонали раненые, всхлипывала вцепившаяся в медсестру Лидочка, а напуганный не меньше её Ростик всё сильнее сжимал зубы и старался не думать о том, что будет дальше.

Две бомбы упали совсем близко. Одна справа, другая слева от старичка-ЗИЛа. Самолёты унеслись вперёд, но даже сквозь гул мотора Ростик различил ещё один звук. Лопался лёд. Заскрипели тормоза, машина круто развернулась, подскочила на наметившемся разломе и понеслась вперёд. Быстрее, быстрее, ещё быстрее!

Ростик выбрался из-за ящиков и, шатаясь из стороны в сторону, пошёл к краю кузова. Туда, где плескался по ветру край старенького брезента. Именно сейчас ему почему-то очень нужно было знать, что там, снаружи.

Шаг, другой, третий. На четвёртом шаге машина затормозила так резко, что Ростик потерял равновесие и полетел вперёд, пребольно стукнувшись подбородком о борт грузовика.

А ещё через мгновение снаружи послышались шаги, брезент отдёрнулся в сторону:

— Вылезайте, живо вылезайте! — Усатый водитель откинул борт машины и протянул руку ближайшему из раненых. — Лёд треснул. На машине дальше нельзя.

Ростик спрыгнул на лёд одним из первых, дождался Лидочку, а потом крутился рядом с бортом — помогая спускаться раненым и, щурясь от яркого света, оглядывался по сторонам. Там, откуда они приехали, на белом полотне льда темнели чёрные провалы с водой, от одного взгляда на которую Ростик становилось жутко. А во все стороны от провалов разбежались трещины. Самая широкая была прямо за ЗИЛом. Метров пять, прикинул Ростик. Ни перелезть, ни перепрыгнуть.

— Вон там, — стараясь сдерживать дрожь в руках, водитель указал вперёд и чуть вправо, — трещина тоньше всего. А дальше лёд крепкий. Только всем сразу идти нельзя. Надо по одному.

И люди пошли. Медленно, словно во сне, поддерживая друг друга, они перебирались через трещину, отходили от края и останавливались — ждали остальных.

Последними, идя на расстоянии друг от друга и стараясь не раскачивать и без того ходящую из стороны в сторону лыдину, через трещину перебрались Ростик и усатый водитель.

— Вот и молодец! — похвалил он Ростика. — Даже валенки не замочил! А сейчас мы, — обратился он к остальным, — чуть южнее возьмём. Там обогревательный пункт есть. Идти неблизко, поэтому. . .

Последних слов водителя не услышал никто: из-за облаков с рёвом вынырнули три «Юнкерса», опускаясь всё ниже и ниже, пошли над ледовой трассой и — Ростик съёжился и втянул голову в плечи — сбросили свой страшный груз. Вокруг загрохотало, задрожал и пошёл трещинами казавшийся таким надёжным лёд, сполз и пропал в чёрной воде оставленный на льдине тюк.

— Бегите! — махнул в сторону один из раненых. — Бегите, пока не поздно!

Но времени уже не было. Трещины змеились повсюду, куда ни кинь взгляд, и даже Ростик было понятно: это конец.

— Ростик! — разорвал тишину Лидочкин крик. — Ростик! Лифт!!!



И как он сам до этого не додумался! Мальчишка остановился, закусил губу. Раз, два, три... Ну, появляйся! Появляйся же!!!

И лифт появился – прямо на льду, раскрыв обе дверцы. Как раз такой, как надо – вдвое шире предыдущего. На всех места хватит.

– Внутрь! Быстрее внутрь! – Ростик без особых церемоний подтолкнул к лифту медсестру, замахал руками на остальных. – Залезайте, времени мало!!! – а когда убедился, что остолбеневшие было раненные по одному полезли внутрь, закружился на месте, пытаясь найти заветную ракушку. Но ни в самом лифте, ни рядом с ним её не было. И когда Ростик уже почти потерял надежду, ракушка вдруг нашлась – поблёскивая золотистым боком, она лежала на подножке брошенного ЗИЛа, на той самой льдине, с которой они выбирались каких-то три минуты назад: под весом машины льдина продолжала крениться, позволяя ледяной воде облизывать припорошенную снегом поверхность.

Ой, мамочки! Ростик сделал несколько шагов назад, вдохнул поглубже и побежал. Сгруппироваться, зажмуриться – и-и-и – прыжок!

Красиво приземлиться не получилось – мальчишка плюхнулся на живот. Льдина покачнулась, черпнула воды, и ЗИЛ принялся сползать к краю ещё быстрее. Оскальзываясь, Ростик поднялся на ноги, в пять шагов оказался у машины и вцепился в ракушку. Так. Теперь надо сосредоточиться: быстро повернуть её и тут же бежать обратно, чтобы успеть в лифт до того, как дверки закроются.

Ростик шумно выдохнул, на мгновение прикрыл глаза, повернул ракушку и понёсся вперёд. Шаг, два, три... Но что это? Дёрнувшиеся было дверцы лифта вдруг замерли, а сам лифт внезапно просел в лёд, позволяя сочащейся из трещин воде лизнуть ноги стоявших в нём людей.

Ростик чертыхнулся, в три прыжка достиг машины и ещё раз повернул раковину. Но стоило ему отпустить её, как дверцы лифта опять отказались закрываться.

«Надо держать, – похолодев, понял Ростик. – Надо держать ракушку, иначе никто никуда не поедет».

Ещё один поворот морской упрямыцы, впившиеся в ребристый ракушечий бок детские пальцы, скользкий в воду старенький ЗИЛ...

Когда льдина, на которой стоял Ростик, раскололась надвое и старик-грузовичок ухнул в воду, двери лифта закрылись уже больше чем наполовину. Ледяная вода обожгла, разом потянули на дно промокшие валенки, Ростик забарахтался, захрипел, но ракушку не выпустил.

– Лида! Слушай меня! – заорал он. – За лесом овраг и тропинка! Идите к бабке Пелагее! Она хорошая!

– Ростик! – Лидочка вцепилась посиневшими от холода пальцами в медную решётку лифта. – А ты? А как же ты?

– Я потом! – захрипел Ростик, отплёвываясь от воды. – Я вернусь! Я обязательно вернусь!

– Я вернусь... – беззвучно шептали губы, когда выдавший виды ЗИЛ с намертво вцепившимся в него мальчишкой медленно уходил ко дну.

– Я вернусь, – вторил несущий снежную пыль ветер.

– Я вернусь! – эхом откликалась чёрная вода Ладоги.

В Ленинград возвращалась весна. Лучи солнца играли на осколках стёкол, хулиган-ветер гонял по небу мелкие кудрявые облачка, чирикали неизвестно откуда взявшиеся воробы.

А вдалеке от оживающего после блокады города, на крошечном островке у берега Ладожского озера, пробившись сквозь снег и лёд, к небу тянулся тоненький нежно-зелёный росток подснежника. Росток. Ростя. Ростислав.

АННА КОВАЛЁВА

г. Волгодонск

НА СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ

Сбегает тропинка к широкому долу,
качаются травы над нею, шурша...
По дому, по дому, по Тихому Дону
болит и тоскует бродяга-душа.



Полынные склоны, песчаные плёсы,
прибрежный, в жердѣлах густых, уголок,
подростшая дочка и русоволосый,
худой, голенастый, как птенчик, сынок...

Нет, неизгладимы и в памяти вечны
и эти картины, и эта тоска,
и пыльной дорогой спустившийся вечер
к подножью цимлянских оранжевых скал!

Куда б ни ушла я, в какие бы дали
меня ни пытались года увести,
не будет острее, чем эта, печали
по дому, по Дону, по молодости...

Нет дней похожих на Святой Земле,
нет вечера и утра равнозначных.
Рассвет сегодня утонул во мгле,
вчера же был – и не представить ярче!
Вчера был вечер – тихий, голубой,
сегодня рвёт и треплет тучи ветер.
С утра мой сад – таинственный такой,
и вдруг – жара, не хочется ответить!
Морит, да так, что спится на ходу,
и лучше сразу уходить под крышу.
А тридни ночь сияла, как во льду,
в час полнолуныя, говори – не слышу:
так околдовывают тишина
и блеск – нигде не виданный, нездешний...
А марь холмов, а небо цвета льна,
а жар закатов – всех тонов черешни!
Гляжу на золотую полосу –
след только что ушедшего светила, –
и кажется: барашков я пасу
на поле, по жнивью, в час детства милый...

ИЕРУСАЛИМ

Крик муэдзина на минарете,
звуки шофара¹ и праздничный звон
колоколов в ослепительном свете
раннего утра... Так помниться он
будет выдавшим и ныне, и присно
город, давно покоривший сердца
разных народов, чьи чувства и мысли
связаны верою с ним до конца.
Белые, чёрные, смуглые лица,
сотни наречий и сотни имён
центров, окраин... И вправду столица
мира и трон Всемогущего он.
Вот я, Масличную гору осилив,
сверху гляжу, словно с самых небес,
на купола золотые России,
на потрясающий храмовый лес!..
Эти зубцы древних стен мне знакомы
с детства по книгам священным и снам,
но удивительно кажется новым
вид их в просторе, открывшемся нам.



Толпы паломников, гидов, туристов,
щёлканье камер с разных сторон –
всё умолкает: в сиянье лучистом
солнечных далей открылся Кедрон². . .
Столько надгробий не видела сроду!
Здесь к новой жизни протянется мост.
Но . . . обрести дорогую свободу
всем ли поможет престижный погост?..
Спуск к «Магдалине»³ тропой «серпантина».
добрый привратницы ласковый взор.
Мрамор. Ступени. Запах жасмина.
Запах России . . . Мы входим в собор.

¹ Шофар – рог, в который по праздникам трубят иудеи.

² Кедрон – долина пересохшего потока, обращённая в кладбище, у Золотых ворот Древнего города.

³ «Магдалина» – русский храм Марии Магдалины.

НА ГРАНИ

Луны затенённой скобка –
на грани небытия . . .
Едва различима в топком
пространстве ночном и я.
Подобно луне – на грани
реальности и мечты,
слиянья простых желаний
с поэзией красоты:
полоски зари – с водою
и лесом береговым,
коня – с золотой уздою,
со рвением беговым . . .
Коня – с той страной далёкой,
куда нам не доскакать . . .
Луны затенённой скобка
Закрылась. И – не видать
ни зги в мировом раскладе:
кто ты? И кто я? Кто он?
Чего мы так рвёмся ради
за скобки, за небосклон?..
А скобки, блеснув подковой
летающего в ночь коня,
расширятся в око новой
Вселенной, где нет меня . . .

В ХРАМЕ МАРИИ МАГДАЛИНЫ

В тишине. В покое, полном чувства
соприкосновенья с дорогим . . .
Русский храм. И русского искусства
веянье. Здесь бедный пилигрим
отмякал душою . . . На колени
становлюсь и я, шепча своё
слово благодарности . . .
Ступени
к раке «елизаветинской». Её
мукой обретенное блаженство
на Святой покоиться земле –
воздаянье силе совершенства,
к счастью, не затерянной во мгле
революций, войн и святотатства.
Наклоняюсь с нежностью привета
от России помнящей, от братства
верящих в неё . . . Е-ли-завета . . .

Светлая великая княгиня...
 Рядом чудотворная икона –
 Матерь Бога нашего Мария,
 Образ Одигитрии – исконно
 странствующих посох и заблудших.
 Слева – Магдалина, свет надежды
 на возможность достижения лучших
 дней, когда и мы откроем вежды
 и созреем для живого дела,
 для Пути, для подвигов горячих...
 Как глядела... Как она глядела
 на дорогу, полную незрячих!..

РАДУГА

Красивы дождевые облака
 и дождик, серебрящийся на солнце,
 и радуга, и игры ветерка,
 и неба ярко-синие оконца,
 открывшиеся между облаков,
 плывущих в направлении востока,
 и листья, перебегшие легко
 дорогу и застрявшие в высоком
 кустарнике...
 Всё это я за пять,
 не более, минут преображенья
 в природе, выйдя утром погулять,
 увидела по мере продвиженья
 обычного: вдоль улицы и вниз
 по склону, по изученным ступеням...
 Вот тут она и выплыла, как из
 пиано выплывает пенопенье
 торжественное: синяя гряда
 холмов сферообразных, на чьём фоне –
 огромная, и вправду божий дар,
 та радуга! Та радость мне...
 Кто помнит,
 как в детстве мы плясали под её
 сияющей дугой, лупя босыми
 ножонками по лужам, тот поймёт
 меня и мои чувства...
 Опостылев
 когда-то сам себе, он, может, тоже
 увидит это чудо, и оно
 пускай на миг, на краткий миг, но всё же
 вернёт его в то детское «давно»...

МАРЬ

Как силён, однако, сизый этот зной!
 Кипарисы, вставши тёмною стеной,
 тень подержат надо мною полчаса,
 пока жёлтая до рези полоса,
 словно времени пролившийся песок,
 не накроет моей обуви носок,
 и отступят... Знак, что надо топать вспять.
 Кошки, выстелив ступени, мирно спят.
 Перешагиваю их, боясь хвосты
 повредить им, они прыскают в кусты.
 По ступеням: вниз – сначала, вверх – потом –
 ухажу, скрываясь в мареве густом.
 Обернусь: и – где-то дом мой, где-то я?
 Ощущение почти небытия...

АНАТОЛИЙ АВРУТИН

г. Минск

БЕЛЫЕ АНГЕЛЫ В ЧЁРНОЙ НОЧИ

К дороге – дорога,
К тревоге – тревога,
А там уже и недалече до Бога,
Где станут ненужными сны и печали,
Что так волновали в конце и вначале.
Где станут бесплотными грустные мысли
О смысле страдания и жизненном смысле.
И канут, закончатся эти терзания
О жизненном смысле и смысле страдания...
К дороге – дорога,
К тревоге – тревога.
Дорог и тревог остаётся немного.
Столкнутся в холодном небесном провале
Со вспышкой сомнения вспышка печали.
Душа воспарит вдоль лощины отлогой
Над Судной, над Млечной, над Вечной дорогой.

...И выдох мой пускай зовётся Русью,
И пусть зовётся Русью каждый взгляд.
Вберу я Русь в зрачки... И не согнусь я,
Когда враги согнуться повелят.

А Русь моя пускай зовётся мною,
Я – щит её, она мне – тоже щит.
Я заболёю – скажется больною,
Я возлечу – пусть тоже возлетит.

И станем мы парить над миром тленным,
Парить в больной, раздумчивой тиши.
Совсем одни, одни во всей вселенной,
Лишь я и Русь... А больше – ни души...

Спозаранку выскочишь, нечёсан,
На крыльцо... И дальше – напрямки.
Захлебнёшься болью над откосом,
Влага потечёт из-под руки.

Воротишься в дом. Слезу остудишь.
Вспомнишь, что не кончены дела...
Только тише: Родину разбудишь –
Поздно, позже мамы, прилегла...

Не жалею, не зову, не плачу...
Сергей Есенин

И плачу, и жалею, и зову,
Хоть вышел срок и некого дозваться...
С гортанным криком падаю в траву,
Глаза закрою: призраки теснятся.

А завтра что? Ну, сгинет этот год –
А там, добро и преданность иная,
Среди бесснежья вновь придёт черёд
Для жалости, для зова и для плача.

Вся правда – ложь...
Одна лишь ложь – не ложь,
И правотой бездомность не согрета,
Где ты жалеешь, плачешь и зовёшь,
Хотя вокруг – ни отзвука, ни света...

Сизый вечер никнет хромоного.
Тихо... Освещение зажгли.
На земле не так уже и много
Небеса взыскующей земли.

А когда душа – медвежий угол,
Где почти случаен человек,
Только удаль – если это удаль! –
Тяжело стекает из-под век.

Ну а чуть забудешься: примнится,
Что бредёшь по лужам дотемна.
И страна завёрнута в тряпицу,
Там, где соль да луковка одна.

Блудный сын с державою в котомке
У бездонной бездны на краю,
Вовсе и не ждущий, что потомки
Всё ж припомнят луковку твою...

Я опять, как всегда, побоялся обидеть природу,
И костёр затушил, и залил полуночный огонь,
И своё уронил отражение в звёздную воду,
И к воде потянулся, ладонь окуная в ладонь.

Золотая вода мне высокое что-то шептала,
И согласно кивали шептанию в такт камыши.
Был бескраен простор... Но и этого было мне мало,
И душой становились умолкшие струны души.

Думал, поздно гадать, разве вычислишь – чёт или нечет,
Если жизнь – не ромашка, где просто сорвать лепесток...
Но за дальней сосной то ли кочет стонал, то ли кречет...
И рыдал ручеёк... И никак нарыдаться не мог.



А куда это всё? А куда вы? В какие Стожары?
Что бывает звучнее, чем тихо кружащийся лист?
Что бывает печальней, чем лебедь, лишившийся пары,
И беззвучней гармонии, коль в небо ушёл гармонист?

Чуть светало уже... И воды со звездой отведав,
Я ладонь осторожно извлёк из небесной руки.
Стало больше вопросов... И не было вовсе ответов...
Сухо щёлкал валежник, как будто взводились курки.

Не ты ли там с кошёлкой рисовой
Бредёшь среди сумрака и лжи
И тихо молишь: «Не записывай
Слова, заветное – скажи...»?

Не ты ли это блузкой серою
Умеешь взоры погасить,
Безмолвно повторять: «Не верую...»,
Не лгать... Не плакать... Не просить?..

Не ты ли это, взгляд потерянный
От лиц стараясь отвести,
Всегда одна... Шаги размеренны...
И камень пучится в горсти?

Не ты ли?.. Я с ведёрцем вылитым
Стою, тая свою вину,
И всё шепчу: «Не ты, не ты ли там?..»
А вижу Родину одну.

И небо туманно, и люди ушли на закат,
И мысли слестнулись в каком-то неведомом споре,
И вечер подлунный пустыми надеждами смят,
Что станут совсем безнадежными мыслями вскоре.

И не о ком думать, и не о чем, не о чем петь.
Последние веси куда-то бегут врассыпную.
А хочется всё же к обедне вначале поспеть
И только потом отправляться на землю иную...

Как зыбко дыханье! Как зыбок измученный свет,
Что нехотя льётся сквозь эту обвисшую штору...
И нету восторга, и ужаса, ужаса нет,
Что часто является в эту напрасную пору.

Всё замерло – ветви, пружина в стоящих часах,
Напрасный упрек в обвинениях бывшему другу...
Засохшей полынью измученный воздух пропах,
И ворот застёгнут – да так, что дыханию туго.

Измята подушка... Неубранный, с крошками, стол.
Чуть звякает время, сползая на мокрые блюдца.
Всё так же, как было... Но чудится: кто-то ушёл,
Захлопнул замок и, конечно, не сможет вернуться.

По белизне неслышно ускользая,
 Неслышно растворяясь в белизне,
 Пронзает вены музыка немая,
 Больною кровью слышима вдвойне.

И вопреки тоске и непогоде,
 И самому дыханью вопреки,
 Неясный звук пришёл и не уходит,
 А остальные звуки – далеки.

Неясный звук... Он слышится без пеня,
 Пугая мрак загадкою двойной:
 Когда душа становится прозреньем,
 Когда прозренье сделалось душой?

РОЙ МЕДВЕДЕВ

г. Москва

РОМАН «ТИХИЙ ДОН»: ВЗГЛЯД ПО-НОВОМУ статья

Жизнь и судьба донского казачества привлекли моё внимание ещё в самом начале 1970-х годов в связи с работой над серией книг о русской революции 1917 года и Гражданской войне 1918-1921 гг. Одна из книг этой серии была посвящена специально судьбе донского казачества. Я написал её в 1972-1973 гг. по материалам и при участии Сергея Павловича Старикова, активного участника революции и гражданской войны, друга и соратника Филиппа Кузьмича Миронова, личность и деятельность которого находились в центре нашего исследования. Эта книга вышла в свет на английском языке в 1976 году в Нью-Йорке под заголовком «Филипп Миронов и гражданская война в России». В СССР эта книга была издана только в 1989 году под заголовком «Жизнь и гибель Филиппа Кузьмича Миронова» (Москва, изд. «Патриот», 1989).

Изучая события гражданской войны «с точки зрения “красных”», я не мог не взглянуть по-новому и на роман «Тихий Дон», который, по признанию М. Шолохова, он писал «с точки зрения “белых”». Естественно, я не мог тогда пройти мимо той новой дискуссии вокруг романа «Тихий Дон», которая была вызвана публикацией в Париже в 1974 году книги анонимного автора «Д» – «Стремя “Тихого Дона”». Эта книга с предисловием и послесловием Александра Солженицына вызвала тогда большое волнение и оживлённые домашние дискуссии в советских литературных кругах. Мой вклад в эту дискуссию и мои соображения были изложены в форме книги «Загадки творческой биографии Михаила Шолохова», которая вышла первым изданием в Париже на французском языке, а вторым и дополненным изданием – в Лондоне и на английском языке. На русском языке эта книга была выставлена в Интернете – не по моей инициативе, но и не без моего согласия – на специальном сайте, посвящённом проблемам авторства «Тихого Дона».

Конечно, и после 1977 года я продолжал следить за всеми новыми публикациями о «Тихом Доне», о М. А. Шолохове и по проблемам авторства; а эти публикации были многочисленными. Должен прямо сказать, что оппонентам Шолохова не удалось сколько-нибудь значительно продвинуться вперёд и убедительно обосновать свою точку зрения. Гораздо больше сделали шолоховеды. Были открыты и многие новые материалы и архивные досье, позволяющие по-новому оценить проблемы, связанные с романом «Тихий Дон». Это изменило и мой взгляд на роман. Его автор – Михаил Шолохов.

Глубина «Тихого Дона» – в его необычной, даже изошрённой живописности, которая завораживает читателя с первых страниц романа. Язык и поэтика романа удивляют читателя богатством оттенков и своеобразием, а учёных людей, претендующих на толкование образов и сюжета великого романа, сразу же начинает затягивать в разного рода омуты, которые встречаются здесь во множестве с первых и до последних глав.

О тайнах и загадках «Тихого Дона» говорил и писал не один лишь Александр Солженицын. Об этом писали и говорили даже самые авторитетные шолоховеды и соратники Михаила Шолохова. «По всем правилам, Шолохова и быть не должно! – восклицал ещё сорок лет назад известный литературо-



вед П.В. Палиевский. — Откуда ему взяться сразу после взлёта русской литературы XIX — начала XX века, особенно после Толстого, Чехова, Горького! Такое сосредоточение бывает не часто, и именно для того, чтобы светить вперёд, указывать дорогу. После них можно ожидать разочарования материала. Но чтобы тут же был совершён новый мировой поворот, когда ещё не усвоен прежний, это и предположить трудно. Но время идёт, специалисты примериваются, все мы читаем и всё же видим, что поворот был: новый шаг, другое отношение к жизни, иная точка зрения. Среди знатоков книга его вызывает изумление и недоверие. Как это могло быть? Откуда у молодого человека — в двадцать три года был уже написан первый том — такая зрелость? Специалисты по форме и литературной технике, популярной теперь, осторожно его обходят. Спросите: о, да, конечно, но это XIX век! Слышно и такое: ну хорошо, есть «Тихий Дон», а что же дальше, где остальное?» (П. В. Палиевский «Пути реализма», М., 1974, с. 197-198; 203-210). Другой именитый шолоховед — П. Якименко — с удивлением отмечал: «Шолохову, когда он “замахнулся” на “Тихий Дон”, было всего двадцать лет. За его плечами было всего два года литературной работы, и ещё не выходила та тоненькая книжка с предисловием А. Серафимовича, которая собрала его первые рассказы. И представьте себе его одного в глухой, далёкой станице на Дону, в отрыве от литературных центров, от дружеской и ободряющей поддержки тех, кто мог бы её оказать в силу своего авторитета и опыта» (Л. Якименко. «Творчество Шолохова», М., 1970, с. 68).

Литература XX века, по мнению многих исследователей и знатоков, не знала такого эпического и трагического полотна, которое можно было бы сравнить по мощи, глубине и размаху с шолоховской эпопеей. «Тихий Дон», — заявлял В. Баранов, — принадлежит к числу таких произведений мировой литературы, которые подобно мощным горным вершинам вырастают над породившим их временем. . . И такой роман рождался вне литературной среды, когда молодой автор, живший тогда в станице Каргинской, замыкался на ночь в полуподвальной комнате, снятой у соседа-кузнеца, и лишь вездесущие станичные мальчишки могли сквозь мутное стекло разглядеть склонившуюся над столом фигуру, утопавшую в клубах махорочного дыма». Без вмешательства сверхъестественных сил всё это трудно объяснить. («Вопросы литературы», 1975, №4, с. 34-35.) На причинах, лежащих за пределами нашего понимания, настаивал и писатель Г. Коновалов. «Вряд ли кто-либо нам объяснит, — писал он, — гений Шолохова. Почему и как он явился? Да и нужно ли объяснять? Объяснению поддаются явления обычные. Шолохов же создан природой на загадку — на разгадку — всё это в нём. Тайна и разгадка романа — в неповторимости его. . . Учёные объясняют происхождение мифов, но тайну художественного гения объяснить невозможно. Нам не дано знать эту тайну». («Москва», 1975, М., с. 5; «Дон», 1975, №5, с. 144.)

Писатель Фёдор Абрамов записывал в своём литературном дневнике, опубликованном уже после его смерти в 1983 году: «По густоте замеса жизни, по накалу и ярости людских страстей, по язычески щедрой живописности слова Шолохов не знает себе равных в русской литературе. Да, может быть, и в мировой. В искусстве двадцатого века он взмыл, как Василий Блаженный, и мир ахнул от восторга и изумления. Весь стихия по своей художественной сути, Шолохов, однако, заглянул в такие глубины нашей революции, что он и по сие время остаётся непревзойдённым. С чем сравнить? С половодьём. Невероятная сила. Чернозём, народные характеры, каких ещё не знала литература. Толстому не снилось. Шолохов как гений заглянул в бездну, отразил глубинное. Достоевский и Лев Толстой так не делали. Восхождение Шолохова всегда загадка. На грани фантастики. . . Было ли когда-нибудь такое?» («Литературное обозрение», 1987, №4, с. 110-111). «Русский Бог водил рукой Шолохова», — заявлял писатель А. Проханов («Завтра», ноябрь, 1999, №46).

Эти высказывания о загадке и о тайне «Тихого Дона» можно было бы приводить и далее на многих страницах. Такие высказывания звучали даже в 1929-х и 1930 годах, когда были опубликованы только первые части четырёхтомного романа. Евгения Левицкая, опытный литературный редактор и консультант издательства «Московский рабочий», одна из первых читательниц машинописного текста «Тихого Дона», была поражена силой первых же глав пришедших в редакцию журнала «Октябрь» первых частей романа неизвестного ей Михаила Шолохова. Позднее она записывала в своём дневнике, отрывки из которого были опубликованы только в 1987 г.: «С тех пор, как я увидела этого маленького паренька, с его усмешкой, — а он усмехается часто даже тогда, когда на душе кошки скребут, — с глазами “молодого орёлика”, как охарактеризовал его Серафимович, немного холодными и определённо насмешливыми, он глубоко заинтересовал меня. “Откуда он знает всё это? — недоумевала я. — Ведь надо же прожить хотя бы некоторое время на свете, чтобы так тонко понимать женскую душу, ребёнка, старика. . .” Загадкой всё это было для меня. Загадкой осталось и после пребывания в Вёшенской. За семью замками, да ещё за одним держит он своё нутро. Только изредка и всегда совершенно неожиданно блеснёт какой-то луч. И снова потухнет. Я знаю только, что если я, старуха, не разгадала этого человека, то и все окружающие тоже его не знают. Он живёт какой-то своей особой жизнью, иногда обращая внимание на мелочи, окружающие его, иногда не замечая или делая вид, что не замечает обстановки и людей, окружающих его» («Огонёк», 1987. №17, с. 6-7. Публикация Льва Колодного).

О величии и о тайне романа «Тихий Дон» писали неоднократно и оппоненты Михаила Шолохова и официального шолоховедения. «Тихий Дон» — это уникальное произведение как в русской, так и в мировой литературе, — утверждали, например, Андрей и Светлана Макаровы в своей книге о романе М. Шолохова. «Уникальность “Тихого Дона” — это соединение в авторе таланта писателя, знаний

историка, мудрости и наблюдательности летописца. Такое соединение основывалось на культурных особенностях формирования личности образованных слоёв дореволюционного русского общества. . . Стремление понять прошлое своего народа и в яркой выразительной форме показать его читателю рождало в писателе под влиянием горячей любви к своей родной земле пророческий дар. Каждое его слово для новых поколений наполнялось сокровенным смыслом, тайной, заставляя в трудные минуты жизни искать в них ответ “для дня сегодняшнего”. Эта великая сила художника и пророка воздействовала и увлекала за собой целые поколения читателей “Тихого Дона”. Она же требует от всех нас до конца разобраться с вопросом, кем и когда было создано одно из основных произведений русской литературы» (А.Г. Макаров, С.Э. Макарова. «Цветок-татарник» В поисках автора «Тихого Дона», М. 2001., с. 176-177).

Что определяет в первую очередь успех писателя? Художественное мастерство? Яркость языка, занимательность сюжета? Да, конечно, есть много составляющих успеха. Но самый крупный успех приходит к такому писателю, который – может быть даже неожиданно для себя – открывает для читателей новый мир, новый жизненный слой, новую и важную тему. Писатель, которого мы позднее называем «классиком», делает для нас открытие, хотя и в иных формах и формулах, чем это делает великий учёный или великий изобретатель.

Пушкин, Гоголь, Лермонтов были создателями русского литературного языка, и потому всё их творчество было работой первооткрывателей. Некрасов открыл для читателей мир русского крестьянства и городских низов 60-70 годов XIX века. Максим Горький открыл для нас в начале XX века жизнь российского «дна» – бродяг и босяков, но также рабочих, большой роман Горького «Жизнь Клима Самгина» мало что открыл на своих страницах, и потому наша публика знает и ценит его гораздо меньше, чем пьесу «На дне» или книгу «В людях». Александр Солженицын открыл нам лучше и полнее других жизнь сталинских лагерей, и именно это делает «Архипелаг ГУЛАГ» великой книгой. В десяти-томном «Красном колесе» Солженицына нет никаких открытий, и потому никто не будет изучать пререволюционную Россию начала XX в. по «узлам» Солженицына.

Я пишу здесь не исследование по теории и истории литературы, и моя мысль, как я полагаю, понятна и не требует новых примеров. Успех романа Маргарет Митчелл «Унесённые ветром», который вышел в свет в 1936 году и выдержал с тех пор сотни изданий на всех почти языках мира, определялся в первую очередь открытием для нас нового мира – американского Юга, – мира, который исчез в ходе гражданской войны в США в 1861-1865 гг. Вот и Михаил Шолохов рассказал нам об одном из миров, унесённых бурями русской революции и гражданской войны.

Неоднородность и неодинаковость художественного строя романа «Тихий Дон» очевидна при его внимательном чтении и сравнительном анализе разных глав. Однако простой читатель этого почти не замечает, так как целостности романа эти различия в художественной ткани романа не нарушают.

У романа «Тихий Дон» нет никаких идеологических оброчей, и он не занимает никаких идеологически ориентированных позиций, но предельно объективен. При описании событий гражданской войны он ни за «белых», ни за «красных». Он стоит на стороне трудового казачества, которое не рвалось тогда получить ни земли, ни фабрик, ни заводов, а только мира. Они поднялись на восстание, защищая свои дома и свои станицы; свой образ жизни и свои права. Читая «Тихий Дон», мы жалеем Петра Мелехова, который сдался в плен красным и которого как офицера заставляет раздеться и убивает выстрелом в сердце Мишка Кошевой. Но мы жалеем и красного командира советского отряда Лихачёва, которого захватили в плен и после допроса зверски зарубили пашками восставшие казаки.

В романе есть много неточностей в изображении казачьей формы и одежды, которая менялась на протяжении 1897-1917 гг., в определении чинов и званий в казачьих войсках. Автор в тексте продолжает называть и в 1918 году атаманов Войска Донского «наказными атаманами», хотя с лета 1917 года атаманов на Дону уже избирали на Войсковом круге, как и до Петра Первого. Ниже я приведу ещё много примеров на этот счёт, которых антишолоховеды нашли в тексте большого романа более ста. Автор может в одной и той же небольшой главе написать, что купец Сергей Мохов «крепко зажал хутор в смуглый кулачок», а через две страницы этот же купец «стоял на крыльце и сучил беленькие кулачки». Меняется форма рук и у Натальи Мелеховой – они то «широкие, раздавленные заботой», то «узкие и грязные».

Однако главной своей цели – доказать, что «Тихий Дон» написан не молодым Шолоховым, а каким-то другим и более зрелым автором – оппоненты Шолохова не достигли. Шолоховеды сделали много больше.

Шолоховеды – и в первую очередь донские краеведы – сумели определить прототипов для всех почти главных героев романа. Было неопровержимо доказано, что прототипом для Григория Мелехова послужил казак одной из верхнедонских станиц – Харлампий Ермаков. Все этапы службы этого казака в годы Первой мировой войны и в годы гражданской войны совпадают. В армии восставших казаков Харлампий Ермаков командовал 1-й повстанческой дивизией. Шолохов неоднократно встречался с Х. Ермаковым и записал его рассказы о восстании и о службе. Конечно, характер и свойства души Григория Мелехова создавал сам автор, как и в других подобных случаях. Во время одной из



депрессивных кампаний конца 1920-х годов Харлампий Ермаков был арестован и расстрелян. Этим, однако, объясняется скрытность Шолохова, когда ему задавали вопрос о прототипах «Тихого Дона» — судьба прототипов была нередко более тяжёлой, чем их судьба на страницах романа.

Шолоховеды раскрыли почти все из основных источников для исторических глав «Тихого Дона», и в этом им очень сильно помогли антишолоховеды. Мы знаем теперь, насколько широко привлекал автор романа разного рода мемуары о гражданской войне, статьи и заметки в донской печати ещё за 1914-1916-й годы для описания тех или иных эпизодов Первой мировой войны.

Была наконец найдена Львом Колодным и прокомментирована рукопись «Тихого Дона», которую Шолохов привозил в Москву на комиссию, созданную как раз для проверки разного рода слухов об авторстве М. Шолохова. Это не простой чистовик, а рабочая рукопись, с которой делался последний вариант рукописи перед передачей его на машинопись машинистке вёшенского райсовета или сельсовета. Уже первоначальный анализ этой рукописи, который был сделан Львом Колодным в книге «Как я нашёл “Тихий Дон”» (М., 2000, изд. «Голос») достаточно убедительно доказывает авторство Михаила Шолохова для первых двух книг романа. Между тем именно вокруг первых двух книг и первых пяти частей романа шли главные споры об авторстве романа.

Почти все шолоховеды относились к разного рода попыткам оспорить авторство М. Шолохова как к святотатству. Нет конца тем грубым и резким оскорблениям, которыми шолоховеды поносили антишолоховедов. А между тем и антишолоховеды проделали очень важную работу и помогли раскрыть если не все, то многие тайны «Тихого Дона». Один из очерков Феликса Кузнецова, который долгое время возглавлял ИМЛИ и много писал по проблемам авторства «Тихого Дона», так и озаглавлен — «Святотатство» («Наш современник», 2000, с. 268). К сожалению, и риторика «антишолоховедов» также оставляет желать много лучшего.

Мудрый мыслитель и литературовед Вадим Кожинов писал в одной из своих статей: «Ещё П.В. Палиевский прекрасно сформулировал, что “Тихий Дон” — это как бы сама жизнь, сумевшая мощно о себе заявить», а другие книги о том времени написаны словно бы теми или иными персонажами «Тихого Дона» — будь то не погибший Штокман, окончивший рабфак Мишка Кошевой, или же, напротив, не застрелившийся под Екатеринодаром, а эмигрировавший Евгений Листницкий. И в книгах этих — не целостность жизни, а определённый угол зрения.

Подводя итог дискуссии об авторстве романа «Тихий Дон», всякий объективный наблюдатель должен признать, что всем тем, кто оспаривал авторство Михаила Шолохова, не удалось доказать своего главного тезиса. Напротив, их оппонентам удалось найти и донести до публики немало новых и неоспоримых доказательств авторства молодого Шолохова. В любом случае дискуссия, которая возникла после большой публикации А. Солженицына в 1974 году, не была бесплодной, хотя её плоды далеко не всем нам пришлось по вкусу. Крушение авторитарного режима в СССР изменило и все внешние условия, в которых происходит развитие нашей российской литературы и литературоведения, включая и шолоховедение. Никто в современной жизни и не пытается внести «Тихий Дон» в списки лучших произведений «социалистического реализма», никто не упрекает Шолохова в том, что он даёт в своём романе слишком слабые образы казаков-большевиков, что он делает главным героем романа Григория Мелехова — казака, восставшего против власти и беззаконий, творимых большевиками на Дону. По существу, только сегодня и может быть проведено подлинно научное изучение романа «Тихий Дон», так как никто не может навязать нам примитивные схемы и догмы советского литературоведения. Если и можно говорить о соавторстве при создании «Тихого Дона», то несомненным соавтором Михаила Шолохова была народная память, рассказы и свидетельства людей, прошедших через труднейшие испытания своего времени и рассказавших обо всём пережитом молодому писателю. Десятки и сотни людей предоставили в распоряжение Шолохова свои свидетельства и свои ещё свежие воспоминания, а Шолохов сумел создать на этой основе и благодаря своему великому тогда молодому таланту великий роман. «Народ создаёт музыку, а мы только её аранжируем», — говорил Мусоргский. Но и в литературе происходят сходные процессы. Великие народные драмы дают почву для великих литературных свершений. В сущности, именно так создавался и «Архипелаг ГУЛАГ» А. Солженицына. К сожалению, в этом случае аранжировщик оказался более субъективным, пристрастным и не во всём добросовестным по сравнению с автором «Тихого Дона», каким он был не в 50-60-х, а в 1920-х годах.

Оппоненты Шолохова перебрали в своих публикациях более пятидесяти разных фигур, которые они предлагали на роль возможных авторов «Тихого Дона» — от Александра Серафимовича до тещи Шолохова Петра Громославского. Во всех случаях их ждала неудача.

Наиболее упорно и во многих случаях до сих пор среди кандидатов на авторство упоминается донской писатель Фёдор Дмитриевич Крюков (1870-1920). При этом одной из положительных сторон прошедшей дискуссии было возвращение Ф. Д. Крюкова из забвения. Однако чем больше мы узнавали о Крюкове, тем больше его портрет расходился с вероятным портретом автора «Тихого Дона».

Всякое великое произведение художественной литературы отличается множеством особенностей и характеристик, которые являются как бы слепком личности автора в пору создания шедевра. Конечно, личность автора может в дальнейшем существенно изменяться, при этом возможно не

только развитие, но и деградация. Но в пору создания книги фиксация почти точная. В 1974-1976 гг., когда по инициативе Александра Солженицына возникла и развернулась дискуссия об авторстве «Тихого Дона», все мы очень мало знали не только о Фёдоре Крюкове, но и о самом Шолохове. Ещё не было написано ни одной сколько-нибудь приемлемой биографии писателя, а сам он уклонялся от разговоров о своих источниках или прототипах. Поэтому авторство такого зрелого донского писателя, казачьего офицера и участника гражданской войны на Дону, как Фёдор Крюков, могло показаться возможным. Во всяком случае для меня это предположение могло казаться вполне допустимой гипотезой. Однако сегодня от этой гипотезы следует отказаться. Причин для такого изменения нашей позиции можно указать много. Но я скажу ниже только о самых главных и убедительных.

Фёдор Дмитриевич Крюков родился в 1870 году в станице Глазуновской на Северном Дону в семье станичного атамана. Он окончил с медалью Усть-Медведицкую гимназию и Петербургский историко-филологический институт по отделению истории и географии. После этого он стал работать преподавателем в Орловской гимназии и позже – в Нижегородском реальном училище. Писать Ф.Д. Крюков стал с 1892 года, и главной темой его рассказов и повестей была жизнь донского казачества. Крюков активно участвовал в общественной и даже политической жизни Донского края, и в марте 1906 года он был избран депутатом Первой Государственной думы от казачьей курии. За четверть века литературной работы (1892-1917) Ф. Крюков опубликовал около двухсот пятидесяти рассказов, очерков, статей и рецензий. Подводя итог его творчеству, известный тогда критик А.Г. Горнфельд писал: «Ф.Д. Крюков принадлежит к тем второстепенным, но подлинным создателям художественного слова, которыми по праву гордится русская литература» (Горнфельд А.Г. Памяти Ф.Д. Крюкова. Вестник литературы., 1920, № 6, с. 15). Очень положительно отзывались о творчестве Ф. Крюкова М. Горький, А.С. Серафимович и В.Г. Короленко. Последний писал в одном из своих писем: «А Крюков писатель настоящий, без вывертов, без громкого поведения, но со своей собственной нотой, и первый дал нам настоящий колорит Дона» (Короленко В.Г. Избранные письма. М., 1936, т. 3, с. 228).

После Февральской революции Ф.Д. Крюков совершил большую поездку по Дону. Он изучал обстановку на Дону, влияние революционных событий на казачество, перемены в казачьих округах и станицах, выдвижение новых и, по мнению Крюкова, далеко не лучших людей. Обо всём, что он видел, Крюков вёл подробные записи, публиковал заметки. Очевидно, что Крюков не испытывал никакой симпатии к рухнувшему самодержавию. Но он не испытывал никакой симпатии и к Временному правительству. Донская область не была готова к революции, здесь не было никакой революционной ситуации, и это вызывало беспокойство у Крюкова. Он много раз выступал на революционных митингах, произносил речи о судьбе страны, о необходимости созидательной работы, призывал дружно подпереть плечами Родину. Его выступления имели успех на Дону, но сам Крюков писал об отсутствии на Дону каких-либо значительных и пользующихся доверием новых сил, о творческом бессилии «новой России, поскольку она представлена нашим степным углом» («Русские записки», 1917, № 4-5, с. 308).

В конце мая 1917 года на Дону были проведены выборы Войскового казачьего Круга, органа казачьего самоуправления, старинного учреждения, которое отменил ещё Пётр Первый. Войсковой Круг был своеобразным донским казачьим парламентом, и на его первые заседания пришло около семисот представителей от всех донских станиц и полков. Преобладало, как и следовало ожидать, офицерство, но было и несколько большевиков или им сочувствовавших. От станицы Глазуновской делегатом Круга был избран Ф.Д. Крюков. И хотя роль его в решающих событиях на Дону в июне-декабре 1917 года была невелика, он мог непосредственно наблюдать за всем, что творилось в эти месяцы и в крае и в атаманском дворце в Новочеркасске.

Победу Октябрьской революции в России и образование первых органов Советской власти на Дону Ф. Крюков принял явно враждебно. В аграрной программе большевиков он видел угрозу самому существованию казачества как особого сословия, он опасался разрушения самобытного уклада и традиций донского казачества. К иногородним на Дону и к их претензиям на казачьи «юртовые» земли Ф. Крюков относился с явной неприязнью и не скрывал этого в своих публикациях. В апреле 1918 года Ф. Крюков принял участие в первом восстании казаков Северного Дона против Советской власти. Ф. Крюков не только принял участие в работе нового Войскового Круга, избравшего генерала Краснова атаманом Войска Донского, но и согласился на избрание самого себя секретарём этого Круга. В 1918-1919 гг. многие постановления и законы, принятые Войсковым Кругом, были подписаны не только атаманом П. Красновым, но и секретарём Круга писателем Ф.Д. Крюковым. Он согласился также редактировать официальный орган белого казачества – газету «Донские ведомости» и принял участие в создании трёхтомного «Свода законов Всевеликого войска Донского». Многочисленные статьи, очерки, заметки Ф. Крюкова публиковались в 1918-1919 гг. и во многих донских газетах и журналах. В эти два года Крюков жил не только в Новочеркасске, но и в родной станице Глазуновской. Несколько месяцев он работал директором Усть-Медведицкой гимназии. В 1918-м году он участвовал и в отдельных боях, был контужен. Когда в самом конце 1918 года на Дону широко отмечалось двадцатипятилетие литературной и общественной деятельности Ф. Крюкова, донской литератор С. Арефин писал в журнале «Донская волна»: «Он (Крюков) потом принимает участие в организации восстания в округе против большевиков и, кажется, участвует в самом восстании. Он не любил рассказывать о своей деятельности, но один раз в разговоре со мною у него вырвалась такая усмешка: «Вот пришлось собою и генерала на белом коне изображать»» («Донская волна», 1918, № 23, с. 5-6).



Находясь в Новочеркасске, Ф.Д. Крюков несомненно сочувствовал верхнедонским казакам, поднявшим восстание против большевиков и Красной армии в феврале-марте 1919 года. Уже в апреле в «Донских ведомостях» было опубликовано подписанное Крюковым воззвание к восставшим казакам-верхнедонцам: «Близок час победы, мужайтесь, братья-казаки, держитесь стойко...» («Донские ведомости», 14 апреля 1919 г.). После ухода немцев с Дона и отставки генерала П. Краснова Ф. Крюков поддержал нового донского атамана А. Богаевского и ещё активнее стал участвовать в донской печати. В конце мая Крюков написал новое воззвание к борющимся казакам: «Час возмездия недалёк. Вспыхнет ретивое сердце казачье. Загорится огнём святого отмщения, закипит молодецкая кровь, вспомнит удаль былых времён и могучим напором прорвёт красную плотину за Донцом. И тогда все узнают грозную тяжесть руки казацкой. Узнают и до седьмого колена не забудут» («Донские ведомости», 24 мая 1919 г.). Не по литературному стилю, но по содержанию это воззвание очень сходно с теми мыслями, которые автор «Тихого Дона» вложил в голову Григория Мелехова, мчавшегося из своего укрытия, чтобы примкнуть к восставшим: «Пути казачества скрестились с путями безземельной мужицкой Руси, с путями фабричного люда. Биться с ними насмерть. Рвать у них из-под ног тучную донскую, казачью кровью политую землю. Гнать их, как татар, из пределов области! Тряхнуть Москвой, навязать ей постыдный мир! На узкой стёжке не разойтись — кто-нибудь, кого-нибудь, а должен свалить» (книга третья, часть 6, глава XXVIII).

Уже в начале четвёртой книги «Тихого Дона» даётся описание боёв за станицу Усть-Медведицкую, в которой вместе с дивизией генерала Фицхеларова принимает участие и повстанческая дивизия Григория Мелехова. Где-то рядом сражался и Фёдор Крюков. В сентябре 1919 года он снова ушёл на фронт и принимал участие в боях за станицу Усть-Медведицкую, которая несколько раз переходила из рук в руки («Донские ведомости», 23 сентября 1919 г.). И при отступлении с Дона в самом конце 1919 года Ф.Д. Крюков уходил из Новочеркасска на Кубань не только как сотрудник «Донских ведомостей» или как секретарь Войскового Круга, но и как казачий офицер. В некрологе по поводу его смерти С. Сватиков, известный в то время донской деятель, в газете «Утро Юга» писал: «Когда волна красных надвинулась на Дон, Фёдор Дмитриевич покинул парламентскую работу и пошёл в ряды войск. Он не пожелал остаться в тылу — никто не должен упрекать нас за то, что мы только звали в бой, а сами остались в тылу, — говорил он. — Ф.Д. не покинул ряды армии и в тяжёлую эпоху отхода с родной территории Дона».

При отступлении с Дона Крюков тяжело заболел и умер. Он был похоронен в районе станицы Новокорсунской на окраине одного из хуторов у стен какого-то женского монастыря. Его могила позже так и не была найдена. Не была найдена и та часть архива Крюкова за 1917-1919 гг., которую он вёз с собой и которая после его смерти осталась на попечении его сестры Марии Дмитриевны.

Ф.Д. Крюков задумывался над каким-то большим произведением о судьбе казачества. Ещё в начале лета 1917 года он писал друзьям из журнала «Русское богатство»: «Чувствую, что соскучился по литературе. Материалом переполнен до чрезвычайности. Попробую засесть». («Молот», Ростов-на-Дону, 13 августа 1965 г.).

Вполне возможно, что Крюков делал какие-то наброски к роману или большой повести, которые до нас не дошли. Но это явно был не «Тихий Дон».

Ф.Д. Крюков никак не мог стать автором четвёртой книги «Тихого Дона», так как здесь описываются события 1920-1922 гг., а Крюков умер в самом начале 1920 года. Не мог Крюков быть автором третьей книги «Тихого Дона», которая почти полностью посвящена Вёшенскому восстанию марта-мая 1919 года. Крюков находился в эти месяцы в Новочеркасске, где подробностей этого восстания не знали. Среди множества заметок, очерков и статей 1919 года, которые Ф. Крюков опубликовал в донской печати, нет ни одной, которая была бы посвящена событиям Вёшенского восстания. Не мог Ф. Крюков быть автором второй книги «Тихого Дона», в которой даётся картина событий на Дону и в России в 1914-1916 гг. и в 1917-1918 гг. При анализе источников, который проделали как оппоненты, так и защитники М. Шолохова, становится очевидным, что при описании событий этих лет широко использовались автором мемуары белых генералов и материалы, опубликованные в 1922-1926 годах, которые вышли в свет уже после смерти Ф. Крюкова. Остаётся под вопросом лишь первая книга «Тихого Дона», и некоторые из оппонентов Шолохова утверждают, что этот том мог быть написан ещё в 1912-1914 гг. Но это слишком смелое допущение. При взгляде на роман в целом мы видим, что он имеет единый замысел и крепко связан несколькими сюжетными линиями, берущими начало как раз в первой книге романа. Начиная роман, автор уже знал, что будет происходить в его второй и последующих частях.

Нет никаких сомнений в том, что Ф. Крюков сознавал масштабы разворачивающейся на его глазах исторической драмы. Но он также сознавал, что эту драму невозможно изобразить наспех — по ходу событий. В августе 1919 года он писал в «Донских ведомостях»: «Может быть, придёт когда-нибудь время — беспристрастный, эпически спокойный повествователь с достаточной полнотой и последовательностью изобразит ту картину, которую сейчас в силах передать лишь сухой протокол, — картину крестных мук Дона Тихого, картину великой скорби, ужасов и унижения, смердящего торжества подлости и продажного предательства, общей испуганной немоты и общего порыва возмущения души народной, очищенной великим страданием».

Может быть, волшебной силой художественного слова облечутся в плоть безмолвные обугленные руины хуторов и станиц, горестные братские могилы и одинокие холмики под новыми крестами,

в траве белеющие кости. . . Зазвучит живыми голосами степной простор, поглотивший звуки орудий, гул и лязг, топот копыт и гиканье лавы, песню торжества и стон предсмертный. . . Может быть, отойдя на расстояние, в исцеляющую даль времени, будет создано целостное отображение великой туги народной, беды казачьей.

Сейчас это сделать нет сил. Слишком близки, слишком свежи, остро и жгуче болезненны кровавые раны и язвы гвоздиные, зияющие на теле родного края. Слишком изнемогает от животрепещущей близости его сердце в тисках тошной тоски и стыда горячего, бессильной злобы и горького терзания» («После красных гостей», очерк Ф. Крюкова, «Донские ведомости», № 7, 17 августа 1919 г.).

Это время пришло, и эту задачу как раз и выполнил молодой М. Шолохов.

Прочитав одну за другой две книги – сборник рассказов и повестей Фёдора Крюкова «Казачьи мотивы» (М, 1993) и «Тихий Дон» М. Шолохова, мы ясно видим и ощущаем, что эти книги принадлежат перу разных писателей. Об этом говорит и автор предисловия к сборнику Ф. Крюкова литератор Георгий Миронов. «Крюков, – пишет он, – один из тех самобытных русских литераторов, у которых вся жизнь – в их творениях. Он очень интересен и сегодня, хотя нет у его произведений о казаках тайной магии “Тихого Дона”, который можно перечитывать много раз и с любого места» (Фёдор Крюков. «Казачьи мотивы», М., 1993, с. 24).

Молодой Шолохов и Крюков писали об одном и том же – о жизни и быте казаков Северного Дона. Фёдор Крюков старался изобразить эту жизнь со всех сторон: он описывает курень казака, его обычаи и его песни, жизнь станицы, пейзажи донской степи, реки Дон и Медведицу, зиму, весну, лето и осень в родном краю. Нет ничего удивительного поэтому в том, что в «Тихом Доне» и в повестях и рассказах Крюкова можно найти немало совпадений. Оппоненты Шолохова нашли около двухсот совпадений в текстах Крюкова и Шолохова. Я приведу ниже лишь некоторые из них.

Ф. Крюков. «Тёплым весенним вечером, когда истухает на западе заря» («На Тихом Дону»).

М. Шолохов. «Глядели до тех пор, пока истухала заря» (ч. 1, гл. I).

Ф. Крюков. «Кирпично-красное, подпухшее от похмелья лицо атамана» («Шквал»).

М. Шолохов. «Иванков, кирпично-красный, жадно облизал зачерствелые губы» (ч. 3, гл. VIII).

Ф. Крюков. «Агафонов с коротко-остриженной головой, похожей на арбуз» («Новые дни»).

М. Шолохов. «Богатырёв, потирая голо остриженную тёмную и круглую, как арбуз, голову» (ч. 6, гл. XLVI).

Ф. Крюков. «Неровно обрезанный месяц». («Группа Б»).

М. Шолохов. «Срезанная горбушка месяца» (ч. 6, гл. XV).

Ф. Крюков. «Звонкая тишина непривычно ласкала слух» («Новые дни»).

М. Шолохов. «Баюкающая звенела в ушах тишина» (ч. 3, гл. V).

Ф. Крюков. «Осовелым, сонным взором» («Новые дни»).

М. Шолохов. «Осовелый от тряски» (ч. 2, гл. IV).

И т. д., и т. п.

Сами по себе эти совпадения ещё ничего не доказывают и ни о чём не говорят. Нельзя же всерьёз думать, что перед тем, как написать о казаке, что он надевает шинель, натягивает сапоги и садится на коня, молодой Шолохов просматривал книги или рукописи Крюкова, чтобы подсмотреть там – как написал об этом Фёдор Крюков. Подобного рода совпадения можно найти в «Тихом Доне» и с «Войной и миром» Л. Н. Толстого.

Если приводить небольшие цитаты из произведений Шолохова и Крюкова и не называть при этом автора, то не всегда просто угадать – кто именно написал эти две-три фразы. Приведу на этот счёт несколько примеров. Вот описание сельскохозяйственных работ на Дону:

1. «Выходили на покос всем хутором сразу. От Дона до дальних ольховых зарослей шевелился и вздыхал под косами опустошаемый луг».

2. «И вся степь, пробудившаяся, но ещё обнажённая и зябкая, шевелилась и звучала пёстрыми голосами, как широко раскинутый лагерь с кибитками, лошаадьми, быками».

Или ещё из описания донской природы:

1. «Пролетит ворон, роняя горловой стонущий клёкот».

2. «В небе клёкот сизого орла».

1. «Пластался над хутором кизячный дым. Из-под туч тянул ветер, за чертой, не всходя, томилось солнце».

2. «Сизыми струйками выползал кизячный дым из труб и долго стоял в раздумье, потом нехотя спускался вниз, тихо стлался по улице».



1. «Курганы в мудром молчании, берегущие зарытую казачью славу. Донская, казачьей, не ржавеющей кровью политая степь».
2. «Молчанье мудрое седых курганов, виденья рыцарей былых, поливших кровью молодецкой, усеявших казацкими костями простор зелёный и родной».

Смысловое сходство здесь очевидно, хотя есть и грамматические различия в положении существительных и глаголов. Все первые фразы в наших примерах взяты из «Тихого Дона», а все вторые фразы – из рассказов Ф.Д. Крюкова. Но и это ничего не доказывает кроме того, что оба писателя изображали труд и природу казачьего Дона. Сходство мотивов поэтому неизбежно, но и различия в поэтике очевидны.

В «Тихом Доне» завораживающих пейзажей больше сотни, но Ф. Крюков писать так не мог, это не его уровень таланта.

Да, конечно, Фёдор Крюков также писал о донских казаках, но в мирное время. Но он не летописец, как автор «Тихого Дона», а бытописатель. Его художественные способности были средними: перед нами добросовестный и хороший писатель, но не писатель выдающийся. Хотя он и писал о донских казаках и о провинциальной жизни, мало знакомой российскому читателю. В его рассказах и повестях нет того элемента открытия, какой есть в «Тихом Доне». Фёдор Крюков даёт нам отдельные картинки жизни и быта донских казаков, но он не даёт тех впечатляющих картин донской природы, большого труда казаков на земле и их ратного труда, какие даёт нам «Тихий Дон». В произведениях Крюкова есть нота жалости и сочувствия к трудной и скудной казачьей жизни. Он именует казаков странным термином «зипунный рыцарь» – казака-воина в рассказах Крюкова нет, но много общих рассуждений, резонёрства и всего того, что принято называть «литературщиной». Наставительный тон сочетается во многих рассказах с излишней сентиментальностью.

У Крюкова нет запоминающихся образов, нет сильных сюжетов и острых ситуаций, которыми «Тихий Дон» сразу же привлекает внимание читателя.

У Крюкова нет той «густоты» прозы, какая есть в романе Шолохова: так насыщенно и сжато Крюков писать не умеет.

«Тихий Дон» с первых страниц наполнен действием, движением, сильными чувствами и сильными образами. В произведениях Ф. Крюкова таких образов и такого движения нет, и российская критика отмечала этот недостаток Крюкова как писателя. «Сюжеты в рассказах Ф. Крюкова бледноваты или сероваты, – замечал критик А. Горнфельд, – и в этих сюжетах мало движения». «У Крюкова нет больших и рельефных образов, вобравших в себя широкое человеческое содержание, нет больших проблем, нет ключей к психологическим загадкам. У него нет героев» (А. Горнфельд. «Люди и книги», 1908., с. 115). Впрочем, критик многозначительно добавлял: «У Крюкова нет героев, но у него есть один герой: Тихий Дон. У Михаила Шолохова есть и Тихий Дон и герои, имена которых уже трудно забыть после прочтения романа». Имена, которые мы встречаем в повестях и рассказах Крюкова, напротив, трудно запомнить.

Казаки у Крюкова обычно бедные и несколько унылые люди, которых он жалеет и которым сочувствует. Ф. Крюкову в изображении народа, простых людей нужен умеренный левый социальный подтекст. Иногда он не только сентиментален, но даже слезлив, его герои всё время жалуются на свою плохую жизнь, сутолоку, грязь, они много размышляют, но мало делают, действуют. В «Тихом Доне» никакого левого или иного социального подтекста нет, в романе казаки не слишком образованные, часто просто тёмные, но сильные люди, которые дорожат и гордятся своим статусом казака. В «Тихом Доне» нет никаких наставлений, изложение проще, но интереснее.

Фёдор Крюков избегает острых ситуаций, у него нет при изображении казачьего быта убийств, изнасилований. Но «Тихий Дон» строится сразу же на изображении острых ситуаций и столкновений. Здесь у писателей разный взгляд на мир казачества. У Крюкова подчёркивается убогость и забитость казачества, он как бы разоблачает ложь о жизни простых людей, которая полна унижений. Но в «Тихом Доне» это всё есть, но где-то на втором плане, а на первом плане мы видим задор, сильные характеры и сильные страсти, острые столкновения людей и характеров. Я уже не говорю о том, что «Тихий Дон» – это рассказ о казачестве на войне, где герои романа всё время находятся на грани жизни и смерти. Большая часть их так или иначе гибнет. В книгах и произведениях Крюкова войны нет.

Оппоненты Шолохова находят много неточностей в романе. Их объяснения часто очень просты – автор переписывал чужую рукопись и при этой переписке чужого текста просто что-то написал неправильно, даже не понимая того, что делает ошибку. Но то же самое может происходить и при записывании молодым Шолоховым рассказа казака из станицы – именно так автор черпал материал для романа. Он писал по рассказу немецкий город «Стольпин», хотя в Восточной Пруссии такого города нет, а есть «Столупен» – «Сталлопенен». Эта ошибка сейчас очевидна, но никто из редакторов её не стал исправлять в новых изданиях. Автор художественного произведения может и придумать название того или иного местечка, как он придумал хутор Татарский.

В «Тихом Доне» иногда даётся неправильное название тем или иным воинским частям. В одном месте он пишет о Гундоровском и Георгиевском полках как о двух разных полках, хотя это один полк — Гундоровский георгиевский полк. Такого рода ошибки не мог бы сделать опытный Ф. Крюков, секретарь Войскового Круга, но они возможны у молодого Шолохова.

Американский исследователь Герман Ермолаев отмечает, что в самых первых изданиях «Тихого Дона» — и в журнале и в выписках «Роман-газеты» — очень много грамматических ошибок — и семантических, и синтаксических, и пунктуационных. Большая часть из них была исправлена в позднейших изданиях. Г. Ермолаев резонно замечает, что такие ошибки не могли появиться в рукописях филологически очень образованного Ф. Крюкова, который долгое время преподавал в гимназии именно язык и литературу. Шолохову же грамотности грамматической не хватало, он сумел закончить только четыре класса российской гимназии. Потом он очень много читал, но не учебники русского языка.

Есть в романе и некоторые мелкие противоречия, которых трудно избежать в произведении на восемьдесят печатных листов. Так, например, в первых главах романа мы можем прочесть: «Он (Пантелей Прокофьевич) улыбнулся, разом обнажив в вороной бороде несчётное число белых частых зубов». Но в части 6 в главе XIX и в части 7 в главе VI Пантелей Прокофьевич открывает уже не «белозубый», а «чернозубый» рот.

Но всё это, конечно, мелочи. Подводя итог всему нашему анализу, мы должны сделать вывод, что у объективного исследователя сегодня не может возникнуть никаких сомнений в том, что автором «Тихого Дона» является Михаил Шолохов. Сомнения в этом были закономерны и имели основания. Но изучение фактов и обстоятельств, при которых создавался роман «Тихий Дон», эти сомнения вполне должно успешно развеять.

АЛЕКСАНДР ХРУЛЁВ

г. Токио

ВРАТА БАСЁ эссе

Мода на сочинение японских трёхстиший — хокку или хайку — захватила, без преувеличения, весь мир. Получив широкую мировую известность в начале XX века, этот вид поэзии сразу же привлек людей своей основной особенностью: хайку интересно не только читать, но и сочинять самому. В настоящее время трёхстишия пишет кто угодно: шахтёры и домохозяйки, ракетчики и пассажиры, пенсионеры и внуки невропатологов, венгерские математики и пухленькие шатенки, голливудские детективы, почитатели Алена Делона, просто негламурные студенты. . .

Самое же интересное в явлении моды писать японские трёхстишия заключается не в широте спектра занятий, представленных безбрежными рядами сочинителей. Самое интересное заключается в том, что, кто бы ни сочинял эти пресловутые «хайку», *получается абсолютно у всех*. Причина успеха проста: этот вид искусства изначально развивался именно в направлении общего наслаждения творчеством.

Секрет популярности сочинения трёхстиший следует искать в XVI веке. В то время в Японии в стихотворчестве возникла мода на комические стихотворные буриме-рэнга. Назывались эти игры «хайкай-рэнга». Проводились они следующим образом: руководитель собрания задавал первым стихом тему, которая далее развивалась собравшимися. Первый стих назывался «хокку». Количество слогов в стихах участников должно было меняться от семнадцати (5-7-5) к четырнадцати (7-7), и далее опять к семнадцати. Это было основным правилом, которое изобиловало исключениями. Регламентирован был также и порядок развития темы. Например, первый и второй стихи не должны были быть тематически связаны, и находил продолжение первый стих лишь в стихе третьего участника. Четвёртый стих должен был объединять первый и третий со вторым.

Эти и многие другие формальные детали когда-то играли серьёзную роль в проведении вечера «рэнга». Но на собраниях комических стишков «хайкай-рэнга» они часто игнорировались. Главенствовали на таких вечерах смех и свободное творчество, а всё остальное играло лишь вспомогательную роль.

Это было время, когда в стране многие десятилетия повторялся один и тот же круговорот: кто был ничем, становился в одночасье всем, а те, кто только недавно были всем, в свою очередь, занимали освободившиеся места в самом низу. Для добычи пропитания выходцы из сливок общества продавали свои знания и умения — в основном, в области воинских дисциплин, а также в искусстве рисовать, танцевать и слагать стихи. Таким образом, учителей было в избытке в любом месте страны, и к XVII веку круг занимавшихся изящными искусствами, в частности, поэзией, охватил самые широкие слои её



населения. Фраза Маяковского «землю пошпугут – попишут стихи» в Японии того времени не имела и оттенка футуризма. Это была сложившаяся реальность. Множество крестьян, наряду с выходцами из других сословий, добивалось значительных успехов в овладении разными искусствами.

Со временем в содержании собраний хайкай (слово «рэнга» в XVII веке часто опускалось из названия этого вида творчества) происходили изменения. Наиболее видные его сочинители, такие как Мацунага Тэйтоку и Нисияма Соин, систематизировали и облагородили этот вид поэтического творчества. Хайкай из способа препровождения досуга превращался в самостоятельный вид искусства. На собраниях по-прежнему ценилось коллективное творчество, но помимо этого, больше внимания стало уделяться отдельным удачно сложенным стихам. Расширялась и тематика стихотворчества – она уже не была обязательно комической. Но при всех изменениях, приходящих в хайкай с течением времени, его дух, его общий настрой равенства членов собрания и свободы творчества оставался неизменным.

Во второй половине XVII века в воинской столице Японии, в неудобном пыльном городе Эдо (нынешнем Токио), появился молчаливый улыбчивый человек. Был он сух и сутул и выглядел гораздо старше своих тридцати лет. На голове у него намечалась ранняя лысина. Известность в поэтических кругах ему принесло трёхстишие:

*На голой ветке
Ворон сидит одиноко –
Осенний вечер.*

Ворон – одинокая птица. Он превосходит разумом многих животных и, вероятно, поэтому горд и держится обособленно. Что же остаётся вокруг него в осени жизни? Голая ветка и холодная темнота. А нужно ли ему что-то ещё? Он живёт один и сам ответственный за свои поступки и за своё будущее. Насколько приемлем такой образ жизни – каждый решает для себя сам.

Поэтический псевдоним автора был Тосэй, но через некоторое время он сменил его на Басё. С тех пор поэзия хайкай (с XIX века она стала называться «хайку») неразрывно связана с этим именем.

Басё восхищались и обожествляли. У него было множество фанатически настроенных последователей и поклонников. Его причислили к божествам синтоистского пантеона и одновременно объявили буддийским мудрецом. С другой стороны, у него были и критики, и даже обвинители. Например, писатель начала XX века Акутагава Рюноске называл Басё проходимцем и мошенником. Он писал: «Басё, видимо, совершил что-то неблагоприятное у себя на родине, и поэтому вынужден был бежать в Эдо...»

Современник Акутагавы, писатель и издатель Кикиути Кан, в свою очередь, писал, что главное достоинство писателя Акутагавы – это его смазливая внешность. И кто разберёт этих литераторов, чего только не напишут они друг о друге!..

Один из первых российских японоведов С.Г. Елисеев¹ в своей работе сравнивал Басё и Фому Аквинского. Схожие черты этих личностей видны даже невооружённым глазом, но, к сожалению, работа не была закончена.

Басё переводили и переводят на свои языки видные поэты разных стран. На русский язык, например, помимо собственно переводчиков, его переводили такие поэты, как Константин Бальмонт и Андрей Белый.

Что же сделал этот человек для литературы, для поэзии и непосредственно для поэзии хайкай, или, как говорят сегодня, для хайку? Кратко на этот вопрос можно ответить так: он воздвиг Врата. В написании с большой буквы напыщенности никакой нет, поскольку это были его собственные Врата.

Сочетание «Врата Басё» употребляют, сравнивая Басё с Конфуцием. Знаменитого китайского мыслителя в Японии чтут не менее, чем на родине, и сравнением с ним никого более не балуют. Получается, что Басё совершенно особенный человек – со своими Вратами.

При даже недолгом взгляде на эти Врата понимаешь их главное свойство: они открыты для любого человека. В них можно войти, а можно пройти мимо них. А можно пройти мимо, а затем вернуться и войти. А можно ещё... Много, много чего ещё можно сделать! Такие уж это замечательные Врата. Есть смысл более подробно познакомиться и с ними, и с их создателем.

Будущий гений хайкай появился на свет в 1644 году третьим ребёнком семьи Мацуо. Родившись в провинции Ига, он имел лишь одну дорогу в жизни: мальчики этой провинции традиционно становились соглядатаями. Документальных подтверждений шпионской деятельности Басё в настоящее время не найдено, но косвенных указаний на то существует достаточно.

О поэтах часто говорят: для того, чтобы вникнуть в его жизнь, надо читать его стихи. При всей спорности этого утверждения некий рациональный элемент в нём присутствует. На род занятий Басё, пожалуй, наиболее сильно указывает его трёхстишие:

*Летняя трава –
Ожидает война
После забытья...*

Хайку построено на контрасте летнего жизнетворного, мажорного символа травы – и мучений, которые она может принести. Трава летом быстро вырастает и быстро густеет. Стебли у неё становя-

ся жёсткими и крепкими. Шагать час по такой траве обутыми в лапти ногами — это мука. Идти день — это экскурсия в ад. Ну, а несколько недель похода по замечательной сочной высокой зелёной траве представить из комфортного XXI века вряд ли возможно. Трёхстишие об этом может написать лишь тот, кто сам испытал все нюансы летних многодневных переходов.

Можно ли назвать всю жизнь Басё сплошным непрекращающимся шпионским романом? Нет, конечно, нет! Он действительно стремился посвятить всё своё время, всего себя поэзии. Ясно осознавая новизну своего дела, он все силы посвящал созданию своей школы. Со временем ему это стало удаваться — то ли его начальники приняли во внимание его заслуги и его болезненное состояние и не обременяли его заданиями, то ли просто для него подросла замена. Басё постепенно становился «Святым “хайкай”» и «Бессмертным», как его называют и по сей день. Тем не менее, при знакомстве с его жизнью, оценивая его поступки, нужно всегда держать во внимании то, что у некоторых из них была тёмная, тайная сторона. В конце концов, ремёсла поэта и соглядатая схожи — и тот и другой высматривают скрытую суть вещи.

Сам же Басё со свойственной ему самоиронией говорил о себе следующим образом: «Для монаха пыли много, для мирянина волос мало. Что-то среднее между птицей и мышью — летучая мышь».

Из родного города в Эдо поэт-шпион ушёл в 1673 году. В 1674 году он побывал в Киото² и получил от преподавателя Китамуры Кигина право на преподавание хайкай. Своеобразным дипломом для него была тайная книжка Кигина «Уморэги»³. «Уморэги» в переводе — это отлежавшийся древесный уголь, в котором осталось только то, что горит, то, что полезно, и никаких шлаков.

Басё переписал «Уморэги» и приписал клятву о вечном неразглашении содержания этой скрижали. Получается, что, какая бы ахиня ни провозглашалась тайным знанием, никто всё равно степени её бессмыслицы не узнает. В наше время содержание этой книжки уже секрета не представляет. В ней, например, указано, когда применяется падежная частица «дэ», а когда её заменяет частица «нитэ». В книжке также перечислены случаи, когда в качестве звуковой паузы в трёхстишии добавляется частица «я», а также сообщается то, что трёхстишии можно оканчивать на частицу «кана» (которая, кроме обозначения конца стихотворения, никакой другой смысловой нагрузки не несёт). И нечего ворчать, что, мол, всё это есть и в учебнике грамматики. Учитель Кигин заботился о своих учениках и давал им свои тайные знания о грамматике на случай, если учебника у них не найдётся.

В 1689 году Кигин перебрался из Киото в Эдо и стал главным литературным чиновником при военном правительстве. 2 декабря 1690 года он получил чин «хогэн», что равнялось положению придворного лекаря. Разумеется, вся литературная Япония бросилась поздравлять его со знаменательным событием. Басё никаких поздравлений никому не писал. То ли ему претило, что, став официальным гением от литературы, Кигин и своего сына протащил в «вице-гении», то ли были ещё какие-то причины.

В литературоведении считается, что на начальном этапе Басё писал под влиянием Кигина. Это утверждение стоит подправить: даже если допустить, что у творчества Кигина была сколько-нибудь примечательная индивидуальность, Басё, вероятно, не более чем мимикрировал под общий дух его кружка с целью получения права преподавания.

Когда идёт речь о таком явлении, как литературное влияние, нужно учитывать творческий потенциал личности. Басё как поэт сформировался рано. Для того чтобы оказать на его творчество какое-нибудь влияние, нужно было обладать более серьёзным, чем у него, потенциалом. Кигин, без сомнения, был эрудированным литературоведом. Главные его труды — это примечания к классическим произведениям раннего средневековья. Он также сочинял и свои собственные хайку. История отвела им место, на котором они сейчас и пребывают. С другой стороны, трёхстишиями Басё восхищается множество людей на протяжении более чем трёх столетий, а вот примечаний к старинным романам он не писал. О каком же «влиянии» может идти речь?

Считается также, что Басё испытывал влияние китайского мыслителя Чжуан-цзы. Литературоведы, которые пишут об этом, забывают указать, какое конкретно место из Чжуан-цзы оказало влияние на то или иное произведение Басё.

Известно, что в кружке Басё проводились собрания — как сейчас бы выразились, семинары — по изучению духовного наследия этого мыслителя IV века до нашей эры. Перу самого Чжуан-цзы принадлежит семь томов былей, басен и иносказаний. Пятнадцать томов написано его учениками, а сверх этого существует ещё одиннадцать томов примечаний. Итого, самое малое количество книг — это тридцать три тома. В более поздние времена наследие Чжуан-цзы подверглось пересмотру и редакции. После пересмотра количество томов с этим гордым именем достигло пятидесяти двух. Такое обилие рассказов и мыслей собьёт с толку кого угодно. Басё же всю жизнь стремился к немногословию и простоте. Он нещадно выпальывал приукрашивания и излишнюю метафоричность и в своих произведениях, и у учеников. В данном случае явно имеет смысл говорить не столько о влиянии на творчество, сколько о постоянном изучении духовного наследия, доступного в то время.

Краеугольным событием, определившим творческий метод Басё, нужно считать его путешествие на запад страны в 1684-1685 годах. Описано оно в «Путевых записках черепа». Эти «Записки» — даже и не произведение, а скорее, черновик, ещё не готовившийся к публикации. Это несколько листов бумаги с беспорядочными заметками о событиях в пути. Они были обнаружены учениками Кикаку и Кёраем после смерти учителя в его бумагах. Названия у труда не было, его озаглавил Кикаку.



Само путешествие было несколько запутанным: выйдя в августе⁴ 1684 года из Эдо, Басё и его спутник Тири прошли через горы, дошли до Исэ и провели десять дней там, затем путники побывали друг у друга на родине, а после этого пошли в Гифу и Нагою. Затем Басё пошёл встречать Новый год к себе на родину, после этого он был в Наре, Киото и Ооми (местность вокруг озера Бива). После этого он опять через Нагою и горы Нагано вернулся в апреле 1685 года в Эдо.

Центральным эпизодом «Записок» является встреча с брошенным ребёнком. Вот как она описывается.

«Подойдя к реке Фудзи-гаве, увидели трёхгодовалого брошенного ребёнка. Несчастный рыдал захлёб... Проходя мимо, бросил ему еды из рукава...»

Как-то не вяжется с характером Басё: обезьянку в горах жалеет, а мимо человеческого ребёнка проходит, как ни в чём не бывало...

Эта тема получает следующее развитие: «Что же случилось? Или отец тебя ненавидел? Или матери ты был в обузу? Ни отец тебя не ненавидел, ни матери ты не был обузой. Это просто так предначертано, чтобы твои невинные слёзы пролились».

Да он же просит прощения! Всё последующее время – сколько бы его ни прошло – он не может забыть этого малыша и терзает себя сомнениями: действительно ли ничего более нельзя было сделать?

Возможно, ребёнок, приведённый в «Записках», образ литературный, обобщающий. Наверняка, у Басё, тогда Мунэфусы⁵, были походы, связанные с его службой, о которых никто никогда ничего не узнает. Он не был старшим в группе и в ситуации, подобной описанной, не мог сделать ничего, кроме как на ходу бросить ребёнку еды. Да и то путешествие, которое отражено в «Записках», могло на самом деле протекать совсем не так, как автор его описывает.

Трёхстишие, родившееся от встречи с брошенным младенцем, можно, пожалуй, назвать манифестом последующего творчества Басё:

*Слушающий обезьян,
Как тебе крик ребёнка
В осеннем ветре?*

«Тот, кто слушает крик обезьян» – это обозначение поэта в китайской литературе. Поэтам в древнем Китае полагалось сидеть в бамбуковых рощах, пускать по ручью друг другу вино на деревянных подносиках и возвышенно грустить, услышав пронзительные крики обезьян. Японские поэты тоже нестоюще кручинились вслед за древними китайцами, благо в обезьянах и у них недостатка нет.

Басё к 1684 году был уже автором знаменитого «ворона». Зная жизнь как с парадной стороны, так и с изнаночной, он видел, что она вполне драматична и насыщена, чтобы быть материалом для поэзии. В начале 80-х он уже доказал самому себе, что и без импорта образов свои местные ива и ворон на ветке, и прыгающая лягушка могут быть вполне достойными объектами стихотворчества.

Будучи не только действующим поэтом, но и родоначальником поэтической школы, «Святой хайкай» был озабочен тем, чтобы и его ученики усвоили и разделили эстетические ценности, которыми жил он сам, и его творческий метод. В марте 1686 года он проводит серию памятных встреч с разъяснениями хайку о лягушке.

Эти встречи, впоследствии задним числом названные «рождением стиля “сёфу”», часто описываются в художественных опусах следующим образом.

На занятии учитель предлагал ученикам оформить в трёхстишие фразу: «...прыгает лягушка...».

– Как так? – волновались ученики. – Лягушка же не прыгает, а квакает! Это известно любому второгоднику поэтических курсов. В китайской поэзии везде сплошь и рядом лягушка квакает, причём делает она это при виде розы-керрии. Тем самым лягушка возвещает весну и начало лета. Быть может, лягушка как раз и прыгает поближе к керрии, чтобы поквакать рядом?

Не отвечая на сомнения собравшихся, учитель давал им следующую подсказку: «Старый пруд. Прыгает лягушка...»

– А это-то здесь при чём?! – возмутились ученики. – Зачем так много образов в одном трёхстишии: и роза-керрия, и пруд, да ещё и старый?

Дождавшись тишины, учитель завершает стихотворение:

*Старый пруд.
Прыгает лягушка.
Сльшпен всплеск воды.*

– О-о!.. – проносится между учениками.

Они наконец-то поняли новизну и красоту стихотворения.

Действительно, лягушка может быть не только солистом, но и второстепенным действующим лицом. Она может не только квакать, но и прыгать и, возможно, даже просто сидеть на месте и греться на солнышке. А звучать может пруд – причём звук его лягушачьим всплеском вырастает из абсолютной тишины и так же в тишину и возвращается. А определение «старый» очень многое даёт для понимания общей сцены...

В общем и целом, согласно свидетельствам участников события, всё так и было. Есть, правда, одно дополнение: ученики не говорили: «О-о!». Они очень долго не желали мириться с тем, что японской розы нет и лягушка не квакает.

В упоминаниях многих современников есть очень схожие описания разбора этого трёхстишия, происходившего в разных местах в разных обществах в феврале-марте 1686 года. По-видимому, радость открытия не оставляла Басё; он никак не мог успокоиться и пытался поделиться ею с другими. Встретив непонимание учениками «лягушки», он не отчаялся. Напротив, он пришёл к необходимости словесно сформулировать принципы творчества, до этого времени существовавшие на интуитивном уровне. Наличие общих убеждений должно было служить сплочению всех учеников школы. Как раз к этому времени назревала необходимость очередного путешествия.

Путешествие на север острова и затем на юг вдоль побережья Японского моря, описанное в знаменитых ныне записках «По тропинкам Севера», – это ещё одна возможность для Басё обдумать то, чем он занимался. Само путешествие было чрезвычайно опасным предприятием в первой его половине и триумфальным шествием – во второй. Литературоведы отмечают изменение стиля написания записок во второй их части: после выхода из земель клана Датэ в стиле письма Бессмертного исчезло напряжение⁶.

Поэт и его спутник Сора⁷ прошли по землям клана Датэ вдоль тихоокеанского побережья, где особую страсть души вкладывали в любование природой на фоне портовых сооружений. Затем они свернули на запад, перевалили срединный горный хребет – и тяжёлая часть пути осталась позади. На побережье Японского моря проживало множество людей, которые считали себя учениками Басё и ждали встречи с ним.

Изложение творческой концепции поэта вперемежку с его прозаическими служебными обязанностями выглядит, вероятно, странно. Но нельзя забывать, что творчество Басё – это часть его жизни. Каждый элемент его поэтических воззрений взят им из окружающей действительности, пропущен через себя, пережит и выстрадан. Система элементов его стихосложения – это два «столпа»: «неизменность-переменчивость» и «лёгкость» – с добавлением традиционного «очарования запущенности»-«саби». Помимо этих составляющих, есть смысл и саму его жизнь рассматривать как часть его эстетики⁸.

Долгие переходы по «тропинкам» способствовали переосмыслению Бессмертным того, чем он занимался, и помогли словесно описать его взгляд на хайкай. Приятные сюрпризы начались для него сразу по выходу из земель клана Датэ, когда они направлялись в нынешнюю префектуру Акига. Едва перевалив срединный горный хребет, он и его спутник встретили поджидавшего их человека по имени Роган, который просил их пойти к нему в селение и провести там сколько-то дней. Он прослышал о том, что Басё будет проходить неподалёку, и специально вышел ему навстречу. Затем Роган показывал своим гостям окрестные достопримечательности и всячески их развлекал и опекал. Считается, что именно Рогану Басё впервые рассказал о первом элементе своей теории стихосложения – «неизменности-переменчивости». Далее, идя вдоль берега Японского моря на юг, Святой хайкай часто встречался с учениками, проводил с ними поэтические вечера и гостил в их домах по несколько дней. Во время этих встреч он не переставал рассказывать слушателям о своём новом открытии. Такого рода поведение при оформлении мысли – вполне в характере Басё.

«Неизменность» в элементе – это «хайкай, неотъемлемый от вселенной», иными словами, традиция стихосложения. «Переменчивость» – это «хайкай течения вселенной», или ещё «хайкай изменения нравов». Таким образом, Басё убеждал «не забывая незыблемых законов, неотступно следовать за переменами».

Ученик Дохо⁹ в «Трёх тетрадках» писал об этом следующее: «Не зная неизменности, нельзя говорить, что понимаешь изысканность. Неизменность – это облик строчки, не подверженной искажениям от действия времени или изменения моды. В произведениях поэтов разных времён можно видеть различие стилей стиха. Однако трогало и потрясало поэтов древности то же самое, что и нынешних. Это можно считать неизменностью.

Далее, постоянное изменение вещей – общий закон природы. Хайкай не может обновляться без прихода перемен. Тот, кто говорит, что не меняет свой хайкай с течением времени и изменением моды, всего-навсего поймал одну волну времени и не преследует истинную изысканность... Он всего-навсего подражает другим».

В будущем стиль хайкай претерпит множество изменений, но если эти изменения будут происходить в преследовании истины, всё это можно будет назвать «хайкай учителя».

Как пример «неизменности-переменчивости», можно привести хайку, сложенную Басё при встрече с Дохо:

*Две жизни
Друг напротив друга,
А между ними – сакура.*

Обыгрывается японская поговорка, которая буквально переводится: «На разговоре распускаются цветы». Так говорят в случае, когда встречаются два приятеля и долго беседуют о том, о сём.



Надо заметить, что многие ученики Святого хайкай со скепсисом относились к теоретическим упражнениям учителя. Показательно в этом смысле изречение ученика Масахидэ: «Переменчивость мне не нужна. Я буду наслаждаться неизменным хайкай. Буду выискивать строки, не меркнувшие в веках».

Басё привлекал к себе учеников своей демократичностью. Он не давил на них положением учителя, а налаживал в собрании сердечный контакт, ведя себя скорее как первый среди равных, чем как непререкаемый авторитет. Возможно, именно в силу свободы нравов в кружке Басё многие ученики позволяли себе выпады в сторону учителя, то есть то, что при другой организации занятий было бы делом немислимым. Кроме Масахидэ, первый ученик Кикаку и его дружок Рансэцу, а также Какэй из Нагои не приняли теоретических построений Басё и отошли от него. Вернее даже будет выразиться так: ученики не одобряли теоретизирования учителя. Тем не менее, лучшие образцы их творчества вполне могут быть объяснены с помощью терминологии Басё. Примером тому возьмём хайку Кикаку, обращённое к учителю в путешествии:

*Прямо в сердце острый взгляд.
Кто ты, кто ты?.. Это – Вы?
Чья-то шляпа вдалеке...*

Шляпа – это извечный символ путешествия, «неизменное» в данном трёхстишии. Это же слово является сезонным, напоминающим об осени.

В соотношении «неизменности-переменчивости» Басё делал основной упор на «переменчивость», или, как он позднее выражался, на «новое». Вот как пишет об этом ещё один преданный ученик Басё, Кёрай: «Учитель просто добивался ежедневных изменений, чтобы каждый день – новый, и ещё один день – новый...»

О том же самом пишет Дохо: «Новое – цветок хайкай. Старое – это не цветок, это поросль старых деревьев. Учитель постоянно более всего желал почувствовать запах этого нового. Он радовался человеку, подошедшему к краю этого нового...»

Происходило это по следующей причине. В 80-х – 90-х годах XVII века увлечение хайкай захватило самые широкие слои населения страны. В крупных городах появилось огромное количество сэнсэев, живших за счёт обучения хайкай. Эти люди, что называется, «ставили на поток» проведение поэтических вечеров в разных формах. Широко известны, например, состязания, устраиваемые всё тем же Кикаку «Западная деревенщина на восточных варваров». На таких встречах «великий сэнсэй» Кикаку¹⁰ рассказывал учеников рядами друг напротив друга, задавал обоим командам темы, выставлял им баллы и объявлял победителей. Кикаку – очень знаменитый в то время сэнсэй. Помимо него ещё десятки и сотни неизвестных «вице-сэнсэев», «почти сэнсэев» и «сэнсэйчиков» строили своё материальное благополучие на повальном увлечении стихосложением. Никакой новизны делу стихосложения эта ситуация дать не могла, чем очень печалила Басё, положившего всю без остатка жизнь во имя служения этому виду искусства, автору трёхстишия:

*Губы стынут вмиг
На ветру осеннем –
Слова не скажи.*

Сочинённое в наиболее напряжённый момент путешествия «по тропинкам Севера», это трёхстишие передаёт состояние поэта в тот момент и, одновременно, раскрывает свой глубинный смысл: поэт, писатель несёт ответственность за каждое сказанное слово, за любой изданный звук.

В письме к ученику Кёкусую от 18 февраля 1692 года Басё делит хайкай на три «ступени». Это письмо так и вошло в литературоведение, как «записка о 3-х “ступенях”».

Третья «ступень», самая низшая, – это учитель, выставляющий баллы. Он очень занят организацией вечеров и состязаний и за этими хлопотами не удосуживается приблизиться к изысканности поэзии. Однако благодаря его деятельности процветает его семья.

Вторая «ступень» – это богач, который занимается хайкай на досуге. Он дорожит баллами за свои «творения» и не пропускает ни одного поэтического вечера. Он мгновенно сочинит вам сколько угодно трёхстиший (что, в понимании Басё, несовместимо с изысканностью). Но богач даёт заработать учителю и приносит с собой на вечер в достатке вина, что на руку бедным соученикам.

Самая высшая «ступень» – это те, кто не озабочен мнением окружающих, а все силы отдаёт для понимания истинной изысканности. Они следуют путём классических поэтов Японии и Китая, доходят до состояния души поэта Ду Фу¹¹, которого Басё высоко чтит, и, в конце концов выходят на истинный путь хайкай. Определение «истинного пути хайкай» Бессмертный дал в разговоре с учеником Кёрику: «Моя изысканность подобна печи для обжаривания летом и вееру для прохлады зимой. От неё нет никакой пользы, вопреки желаниям многих...» Мысль вполне ясна: искусство вам не золотой телец. Работать должен творец для искусства, а не наоборот.

По оценке Басё, около десяти человек из его учеников относились к высшему кругу. Через некоторое время после смерти учителя эти ученики оформились в группу «Деревенские врата Басё».

В беседах с различными учениками Святой хайкай упоминает, наряду с «неизменностью-переменчивостью», о «новизне», «наведении», «лёгкости», «высоте» и даже «сладости» стиха. В конце концов, к 1692 году он останавливается на «лёгкости», которая стала вторым столпом творческого метода «сёфу». «Лёгкость» можно в некоторых случаях заменить словом «непритязательность», в иных же – «изящество». Ученику Дохо учитель объяснял смысл понятия следующим образом: «Когда ты пишешь об иве, пиши именно об иве, а не о чём-то, на что она может быть похожа». Там же далее: «...о том, какова сосна, спроси у сосны, и у бамбука спроси о бамбуке».

Басё был убеждён в том, что замечательное трёхстишие может родиться только при отсутствии напряжения в комфортной атмосфере наслаждения процессом творчества. Очень показателен в этом смысле следующий эпизод.

Некий человек по имени Содзи очень хотел попасть в сборник «Плащик обезьянки», но все его хайку отбраковывались составителями Кёраем и Бончо. Добившись личной встречи с Басё, он предложил ему несколько своих трёхстиший, но и они тоже не вписывались в концепцию сборника.

– Ты, знаешь что, отдохни-ка, – предложил ему Басё. – Я тоже прилягу.

– Тогда, с вашего позволения, и я тоже. Если ляжешь без церемоний, как хочется, то становится прохладнее, – ответил Содзи.

– Ну, вот, видишь: это уже «хайку». Оформи это в вид трёхстишия и зачитай всем, – сказал Басё. Таким образом у Содзи родилось трёхстишие:

*Располагайся по-своейски –
Прохладнее станет
Вечер.*

В этом незатейливом трёхстишии виден ещё один смысл, вкладываемый Святым хайкай в понятие «лёгкости» – это непритязательность, отсутствие навязчивого приукрашивания и прочей «литературщины». Басё очень долго «выпалывал» эту самую «литературщину» у самого себя. Критики признают, например, вопиюще «нелёгким» трёхстишие из первого, юношеского сборника Басё «Покрытые раковинами»:

*Оденься в парадное,
И вместе пойдём
Смотреть на цветы!*

Любому человеку, даже далёкому от сочинительства, ясно, что для передачи праздничного настроения вовсе необязательно надевать парадную одежду. Применение этого образа делает трёхстишие натянутым, ученическим.

В противовес этому можно привести хайку, признанное критиками замечательным образцом «лёгкости»:

*Осень глубока.
Что там делает сосед
За стеной и за стеной?*

Возможно, этим трёхстишием, рисующим тихий городской квартал осенним вечером, поэт намекал на то, что иногда нужно оторваться от своих желаний и прислушаться к тому, кто рядом. Возможно, напротив, он сам горел любопытством: что же происходит совсем недалеко от него? По-видимому, такая разноплановость восприятия – одна из характеристик «лёгкости» Басё.

Одним из лучших образцов использования Бессмертным приёмом «лёгкости» называют трёхстишие, давшее название сборнику «Плащик обезьянки»:

*Осенний дождь в горах.
И обезьянке тоже
Нужен плащик.*

Даже неподготовленному читателю вместе с внешним очарованием стихотворения видна его глубина. Это трёхстишие о самом Басё. Плащик – это человеческое внимание. Горы – это привычная среда обитания для обезьяны. Живётся ей там вольготно, и тем не менее даже в такой идиллической жизни необходимы внимание и теплота окружающих.

Абсолютно неуместным видится объяснение, приписанное к этому хайку Кикаку: «...когда наш учитель проходил через горы и его застал дождь, он увидел промокшую обезьяну...» По-видимому, первый ученик намеренно приписал к «обезьянке» нечто банальное и очевидное: комментарий к стихам учителя должен делать, в силу положения, он, а любое мудрствование вокруг этого трёхстишия выглядело бы убогим. Предусмотрительный Кикаку спас себя «меньшим злом» – прозаическим пересказом стихотворения.



В 1693 году вокруг Басё произошло несколько смертей близких ему людей. Он объявил о «закрытии ворот», то есть об отказе писать и принимать новых учеников. И тем не менее тут же нарушил своё решение, узнав о смерти отца Кикаку. Он послал на поминки трёхстишие:

*Четыре угла
Пустого стола
В луче луны.*

Это трёхстишие очень растрогало ученика. Он опять был с учителем, словно не было нескольких лет размолвки.

Ученик Какэй, лидер кружка в Нагое, в начале девяностых тоже опять стал называть Басё своим учителем. То ли, заполучив материальное благополучие и признание окружающих, он стал больше внимания уделять собственно поэзии и самостоятельно пришёл к заключению о правоте Бессмертного, то ли он смирился и решил воспринимать учителя вкупе со всеми рассуждениями, пусть и не всегда им разделяемыми.

Остановившись на «лёгкости», Святой хайкай не стал далее углублять свой творческий метод «сёфу». Он чувствовал нарастающее нездоровье и был более озабочен приведением в порядок уже написанного. Образованием учеников стали заниматься старшие ученики, среди которых более других усердствовал Кёрай. В письме к ученику Фугёку он, например, писал о «лёгкости» следующее:

«Не зная лёгкости “лёгкости”, прибегая к ней излишне часто, опустишься до плоскости. Нужно различать “лёгкость” и “плоскость”».

Басё ушёл из жизни осенью 1694 года. За день до смерти он продиктовал трёхстишие, специально заметив: «Это не предсмертное хайку. Это так, сочинилось во время болезни».

*В дороге слёт.
Мечты ж летят —
В осеннем поле чего-то ищут.*

С одной стороны, и «слёт», и «осеннее поле» весёлых чувств не вызывают. С другой стороны, то, что «мечты летят», даёт надежду на неясное, волнующее будущее. Подавляющее большинство хайку Басё оканчиваются на существительное или, по канонам сочинения того времени, на частицу «кана», которая показывала конец стиха. Это же трёхстишие оканчивается глаголом. Главный мотив произведения — действие, деятельность, а не статическое созерцание.

Что можно найти в осеннем поле? Да ничего, кроме засохшей травы! А вдруг да что-то и есть? Нельзя обманываться осенью и пустынным видом. Надо поискать — лёгкому на подъём человеку это не сложно. Находка может с лихвой окупить искателю все труды!

В отношении этого трёхстишия критики последующих времён полярно расходятся во мнениях. Кто-то считает его чрезвычайно слабым. Кто-то, напротив, — одним из самых сильных у Бессмертного. Сам факт разделения мнений показывает, что не всё так просто с этим хокку.

Нам не дано знать, каким образом Святой хайкай развивал бы далее свою систему стихосложения «сёфу», будь его здоровье крепче, чем было — добавлял он бы в неё новые элементы или нет. А может ещё стать так, что Басё сознательно остановился на «лёгкости», как на замыкающем систему элементе, потому что понял: он нашёл то, что искал. Безусловно, в стихосложении, как и в любом другом серьёзном деле, важны и преемственность основ, и гармония с духом времени. Новизна, наведение, высота и сладость тоже необходимы стиху, равно как и другому произведению искусства. И то утверждение, что перед занятиями стихосложением творцу неплохо бы узнать правила грамматики, будет оспаривать не так уж много поэтов. Но главное виделось Басё в ненавязчивой комфортной атмосфере улыбок и взаимной приязни, в которой рождается лёгкость творчества, переходящая на творение.

Возможно, «лёгкость» — это самое главное наследие, которое он нам оставил. В любом затруднении, поймав себя на излишней напряжённости тела или чувств, мы можем вспомнить Басё и сказать себе: всё гораздо проще. Сложности излишни, и наш путь в сторону лёгкости.

*Располагайся по-свойски —
Прохладнее станет
Вечер.*

ПОСЛЕДНЕЕ КИТАЙСКОЕ ПОСЛЕСЛОВИЕ

Басё вымотал меня окончательно.

В течение многих месяцев он был со мной днём и ночью, в электричке, в магазине, на прогулке и на работе.

— Уходи, Басё! Я устал от тебя, — сказал я ему.

— А что ты хочешь делать? — спросил Басё.

- Бездумно лежать на диване и пялиться в телевизор.
- Я тоже хочу, – сказал Басё.
- Зачем тебе телевизор? В ваше время его не было.
- И только поэтому ты отказываешь мне в удовольствии его посмотреть?
- Занимайся чем хочешь, только не трогай меня!
- А валяться на таком диване удобно. В моё время таких не было.
- Помолчи, пожалуйста.
- А что тут такого? Почему ты такой взвинченный? Разве плохо вместе отдыхать и беседовать?
- Знаешь, что! Ты – человек XVII века, и сейчас тебя нет, а говорю я сам с собой – это-то мне и хочется прекратить.
- А-а! тебя раздражает то, что рядом с тобой нет моего плотного тела? Поэтому ты и невежлив со мной? А ведь с людьми куда менее старыми, чем я, ты гораздо более почтителен.
- Ну, ещё не хватало, чтобы я начал на «вы» беседовать со своим воображением!
- Хорошо, а разве ты говоришь не с воображением, когда перед тобой человек в плотном теле? Ты беседуешь с ним на основе твоего представления о нём, а оно может отличаться от того, что есть на самом деле.
- Но плотное тело, как ты изволишь выражаться, может разинуть свой плотный рот и ясными звуками рассказать мне о себе.
- И ты поверишь в то, что это истина, а не его идеал себя, живущий только в его воображении?
- Тем не менее плотное тело может сообщить мне о себе конкретные факты, которые мне не были известны. Ты вот можешь мне сообщить о себе что-то, чего я не вычитал о тебе в книгах?
- Могу.
- Вот ты живёшь уже почти четыреста лет. По каким мирам ты летаешь? Ты сочиняешь хайку об увиденном? Расскажи.
- Мир, в который перемещаются после ухода из земной жизни – это не симметричное отражение жизни. Там многое другое. Объяснить здешний мир тамошним языком можно, а тамошний мир здешним языком – нельзя.
- А трёхстишия ты на тамошнем языке сочиняешь?
- Нет. Как-то так получилось, что я остался земным поэтом.
- Слово «поэт» в наше время превратилось в ругательство. Мне при этом слове видится сочинитель, настырно требующий от окружающих восхищения какими-то своими словами, которые он величает «стихами».
- Такое было во все времена и везде. Кроме того, разница между признанным поэтом и сочинителем, о котором ты говоришь, гораздо меньше, чем кажется. Меня, например, признали, и теперь я известен даже в таких странах, о которых и слыхом не слыхивал. А между тем, я сейчас с удовольствием уничтожил бы множество своих строк, чтобы они меня не позорили.
- Известности больше – и позора больше. Так, что ли?
- Всё-таки ты безжалостный человек.
- Просто я не поэт.
- Не совсем так. Ты не хочешь им быть, хотя мог бы. В моём кружке ты мог бы научиться неплохо сочинять.
- Что тебе мешает научить меня сейчас? Ведь, по-твоему, ты существуешь рядом со мной вне зависимости от моего воображения. Делать тебе всё одно нечего – взял бы да и научил.
- Учит не учитель, а общий настрой кружка. Кружок без учителя – ничто, но и учитель без кружка мало значит. Ты приходишь к учителю, и вместе с тобой приходят другие соученики. В разное время приходят разные люди – поэтому у кружка создаётся разный настрой. Тебе кажется, что тебя учит учитель. А на самом деле ты учишься сам благодаря переменам настроев.
- То есть учитель вообще ничего не значит?
- Учитель значит очень много. Он ведёт кружок к перемене настроев. Это самое трудное дело, которое только можно представить.
- Итак, ты меня учить не будешь?
- Нет. Ты будешь учиться сам.
- Ну, тогда помолчи. Всё равно толку с тебя никакого.
- Я сочиняю на тамошнем языке.
- То да, то нет... Тебя не понять.
- Ну и не понимай. Захочешь – поймёшь.

¹ С.Г. Елисеев – кстати, внук основателя знаменитого гастронома в Москве.

² Киото – тогда этот город звался просто Столица, или, редко, Хэйан.

³ «Уморэги», или иногда «Хайкайуморэги».

⁴ Строго говоря, в августе – по лунному или в сентябре – по солнечному календарю.

⁵ Муңэфуса – имя Басё по достижении совершеннолетия.

⁶ Занимательное добавление к «скрытой» стороне путешествия: в Сэндае за Басё с его спутником наблюдал...

Басё. Это был разбойник, делавший для клана Датэ «грязную» работу, и прозвище его действительно было Басё с



использованием тех же самых иероглифов. Вероятно, в тот момент истории «сэндайские» демонстрировали свою лояльность правительству в Эдо, и поэтому «второй» Басё только наблюдал за передвижениями «нашего» Басё. А мог быи...

⁷ Сора — профессиональный соглядатай, состоявший на довольствии в военном правительстве. Считается, что многие хайку, сочинённые якобы им, на самом деле писал за него Басё.

⁸ Сначала «эстетика — часть жизни»; и рядом: «жизнь — часть эстетики». Путаница какая-то получается. Но в теоретических выкладках всегда так.

⁹ Дохо — земляк и младший друг юности Басё.

¹⁰ В то время Басё более был известен как учитель «того самого» Кикаку, нежели как «тот самый Басё».

¹¹ Ду Фу — один из так называемых «поэтов из бамбуковой рощи» китайской классики.

«ФОНОГРАФ»

ВЕНИАМИН БАБАДЖАН

«СИДИШЬ И КУРИШЬ НАТОЩАК...»

Какая пыль! Срывает ветром
С идущих шляпы и плащи.
Проходя, затрепещи
Пером и золотистым фетром.

Нескромным взором из окна
Слежу волнение нежных линий,
Хвалю наряд, златой и синий
В котором ты обнажена.

22.04.1916 г., Шлаков

Поэт, искусствовед и книгоиздатель Вениамин Бабаджан родился 10 сентября 1897 г. в Одессе в караимской купеческой семье. Обширный клан Бабаджанов насчитывал в своих рядах инженеров, врачей, офицеров, музыкантов, антикваров, купцов. В семье было шестеро детей – четыре сестры и два брата.

В 1903 году Вениамин поступил в 4-ю мужскую гимназию (символично, что именно в ней впоследствии разместится Музей Западного и Восточного искусства) – в гимназии он серьёзно заинтересовался теорией искусства, рисовал акварелью и маслом, позже начал писать стихи. После гимназии досрочно пошёл на военную службу, был ефрейтором из вольноопределяющихся 1-го разряда 60-го пехотного Замосцкого полка, расквартированного в Одессе. В 1913 году был уволен в запас, поступил на юридический факультет Новороссийского университета. Летом 1914 г. был повторно призван на военные сборы и после начала Первой мировой войны попал на фронт. Несмотря на обращение отца с просьбой освободить сына от воинской повинности как студента университета, остался на службе.

До весны 1918 г. прапорщик Бабаджан был в действующей армии. Он служил при полевом лазарете и ведал хозяйственными делами. Место его пребывания – Карпаты и Румыния. Всё время Бабаджан делал записи в тетрадях – и дневниковые, и стихи, и прозу. Тетради украшают рисунки, но в это время на первый план выходит не художник, а поэт. Стихи, написанные на фронте, В. Бабаджан издаёт в 1916 г. в Петрограде с помощью друга и родственника Михаила Лопатто (мужа сестры Нади). Книга называлась «Кавалерийские победы» и вышла под псевдонимом «Клементий Бутковский» в придуманном друзьями издательстве «Омфалос» («пуп» на древнегреческом). В письме сестре Тотеш поэт писал о желании показать войну как страшные рабочие будни. В советском литературоведении долгое время было принято приписывать авторство книги литературоведу Ю.Г. Оксману. В Одессу Бабаджан вернулся 29 марта 1918 г. и сразу активно включился в культурную жизнь города. Он возобновил занятия в университете, занимался в студии художницы Александры Экстер, его работы были на выставке картин Товарищества независимых художников в ноябре-декабре 1918 г.

Издательство «Омфалос», задуманное как шутка, становится одним из наиболее интересных и деятельных в Одессе во время гражданской войны. В «Омфалосе» вышли ещё две книги стихов самого Бабаджана «Всадник» (1917) и «Зоя» (1919), его книги о художниках «Врубель» и «Сезанн» (1918). В этом же издательстве вышли книга Ф. Гозиясона об Эль Греко и О. Родена «Молодым художникам». Были изданы стихи двух поэтов – «Стихотворения» Н. Крандиевской и «Пенать» З. Шишовой. Вышли стихи Р.-М. Рильке в переводе А. Биска, Э. Верхарна в переводе М. Волошина и Эредиа в переводе Г. Шенгели. «Омфалос» издает литературоведческие работы Л. Гроссмана и М. Лопатто. И это ещё не всё – за неполных два года во время бесконечных смен властей и разрухи вышло двадцать книг!

В конце 1919 г. Бабаджан ушёл в Добровольческую армию. Вместе с ним оказался в Добрармии и младший брат Иосиф. В январе 1920 г. части, где служили братья, были переброшены в Феодосию. Там жила их бабушка. При эвакуации братья оказались на разных пароходах. Младший брат благополучно уехал в Константинополь, пароход, на котором был Вениамин, вернулся в порт. Известно, что он принимал участие в литературных вечерах «Флака». После первого ареста он был отпущен по ходатайству знавшего Бабаджана по Одессе М. Волошина. Второй арест оказался роковым – Вениамин Бабаджан, как и тысячи других офицеров, был расстрелян в ноябре или декабре 1920 г.

Алёна Яворская



Неспокойно нынче в природе:
Бегут по небу облака.
Ветер гонит их. К непогоде
Мелкой рябью дрожит река.

И полощется плащ пешехода
На ветру...
Отчего мне такая погода
Говорит, что умру?

16.04.1917г.

Опять Вас вижу. Старая печаль
По-новому пустое сердце гложет.
И, содрогаясь, думаю: «Едва ль
Оно, как прежде, биться может».

Непоправимо это. Я устал.
Уже не радуют дары природы.
Я век растратил в эти годы,
Не выпил, выплеснул бокал.

Всегда один.

23.05.1917г., Одесса

Семьдесят три версты
Мы шли походом.
Первый день было ясно.
Второй – ясно и жарко.
А на третий день пошёл дождь!

У меня порвались сапоги,
Я их подвязал ремешком,
А Степан, тот может босиком, –
А сапоги прикручены к мешку...

Сегодня мы ночуем в лесу,
Сыро здесь и прохладно.
Окопы близко – слышны пулемёты
И на небе отблески ракет.

Говорят, послезавтра бой.
Значит, опять на счастье:
Если ранят – в Россию поеду,
Цел останусь – опять воевать.

Убьют, – такая от Бога судьба,
Но не дай, Господь, попасть в плен!

6.06.1917г.



Придя в пустынное местечко
 Расположились на ночлег.
 В туман оделась тихо речка,
 Луны начался тихий бег.
 Томим тоской воспоминаний
 Иду на улицу вздыхать.
 Легла на стены старых зданий
 Ночная мёртвая печать.
 В зелёной дали звон шрапнели
 Прерывистый и частый блеск.
 Там бой, а здесь – в пыли панели
 Мелькает лунный арабеск.
 Здесь тишина и непонятна
 Борьба безумная вдали.
 Луна спокойно на пыли
 Рисует мертвенные пятна.

22.08.1917г., Дубно

За два двугривенных голодная натура
 Пришла позировать в нетопленный чердак.
 Ученики кругом угрюмо и понуро
 Смотрели на неё и рассуждали так:
 «Не хороша совсем. И кажется, что дура.
 И от чулков у ней на икрах синий знак.
 Нет ясности в частях и твёрдости контура
 И слишком свис живот, хотя и натошак».
 Натура бедная от холода и злости
 Зубами щёлкая, сказала всем в ответ:
 «Послушайте меня, разборчивые гости,
 Вот вам нехитрый, но пользительный совет.
 Разденьтесь медленно. На барабан садитесь
 Возьмите зеркало и хорошо взглянитесь»

7.11.1917г., Одесса

О долгий путь! В усталой позе
 Сидишь и куришь натошак.
 Как ароматен на морозе
 Медовый английский табак!

Голубизна дымка и снега
 И пасмурная эта даль –
 Такой покой, такая нега,
 Такая долгая печаль...

Дорога круто убегает
 За побелевшие холмы,
 Голодный конь едва ступает, –
 Устали мы, иззябли мы...

Седло, в какой ни мёрзнуть позе –
 И бьёт и давит – всё не так.
 И только тешит на морозе
 Медовый английский табак.

13.12.1917г., Дойна



Через сапог стальная шпора
Студит холодную ступню.
Конец пути ещё не скоро –
Дрожа, тоскую по огню.

Как сладок дым костра лесного,
Как ароматен этот дым!
Как, дремля, оживаешь снова
И оживаешь молодым!

Кругом оттаял снег холодный,
И дышит влажная земля.
Огонь трескучий и свободный
Танцует, сучья шевеля.

Танцуют мысли. Сыт. И время
Теперь поспать, пока тепло,
Покамест ледяное стремя
Опять носка не облегло.

18.12.1917г., Дойна

Сердце, сосуд неизбывной печали,
Терпкой любовью наполнен до краю.
Много любившие, все испытали
Сладкую горечь, которую знаю.

Подвиг ли это, любовь без исхода,
Смутное чувство без слов и упрёка?
Или ещё тяжелее свобода,
Долгие дни без борьбы и урока?

Или страшнее для сердца пустого
Дали безлунные, лунные дали
Мутную влагу налившие снова
В сердце, сосуд неизбывной печали?

1917г., Мовилица

Свет ровный разлит в улицах прямых
И ветер тёплый чуть заметно веет.
Медлительный и беспечальный стих
В моей груди слагается и зреет.
Прохожие бредут навстречу мне
И шепчутся задумчивые пары,
Дерева мне кивают в полусне
И влагой дышат в полусне бульвары.
Откуда этот на меня покой
Утишенную низошел волною?
Где ты, любовь?

Август 1918г.



Осень звенит прозрачностью
 В бледнеющей синеве.
 Море и берега опустели,
 Трава стала суше и гуще,
 Акации притаились, ожидая того дня,
 Когда налетит ветер
 И сорвёт слабые листья.
 И солнце уже не серебристо:
 Его лучи заметно потускнели,
 И вот этим-то янтарём
 Наливаются яблоки и груши,
 Виноград и пушистая айва.
 И вот этим-то янтарём
 Наполняется моя душа,
 Ясной и пустой теплотой
 И готовностью долго жить.

16.09.1918 г., Одесса

Нет нынче в декабре мороза,
 Зимы не чувствует никто.
 Не вянет на прогулке роза
 В петлице летнего пальто.
 Лишь ранним утром, лишь украдкой
 Законный подтверждает срок
 Ласкает щёки влагой сладкой
 Душистый робкий холодок.

Но это не зима: нет снега,
 А главное, — в груди моей
 Капризная вскипает нега
 И сердце бьётся веселей.

И каждый раз при нашей встрече
 Украдкой повторяю: Ах!
 Зачем весной такие плечи
 Томятся в тягостных мехах?

Декабрь 1918 г.



ГЕНРИХ ГРОХОЛЬСКИЙ

ЛОМАННОЙ ЛИНИЕЙ

ЧУТЬ ОБ ЭКСПРЕССИОНИЗМЕ

Гуляю по городу,
 гляжу по сторонам,
 Смотрю и этак, и так,
 Но всюду вижу
 лишь шляпы на головах,
 Чьи ноги шаркают
 по тротуарам...
 А при встрече с дамой,
 ладонями ещё и поля
 Придерживают,
 манерно кланяются...
 Вот дурачьё! Сейчас ведь
 Совсем другое тру-ля-ля!
 Гляжу на всех с иронией,
 размышляю и
 Прихожу к выводу,
 что лучше
 Ничего не замечать,
 и... не заставлять
 Никого напрягаться
 думами о том,
 что теплится там,
 Под фетровыми полями...
 Однако, разобраться
 не помешает,
 Чтобы всё-таки понять,
 в чём разница
 И чем отличается, скажем,
 нога от лапы,
 Смысл птичьего гнезда
 от обыкновенной шляпы,
 И почему именно птицам,
 а не нам,
 Мир видится по-иному –
 Одни твердят – сказывается
 высота,
 Другие – широта взгляда,
 Утверждая, что глаза
 пернатых зорче
 И более чем кто-либо другой
 распознают правду...
 Впрочем, могу предположить –
 Ни в какое сравнение крылу
 не может быть лапа,

Генрих Георгиевич Грохольский (1940 – 2009) родился на Дальнем Востоке, в Благовещенске. Получил два высших образования: по специальности «Архитектура» в Одесском инженерно-строительном институте и по специальности «Гидротехнические сооружения» в Одесском институте инженеров морского флота. Писать верлибры начал уже в зрелые годы, писал ежедневно, не задумываясь о том, чтобы стихи были когда-нибудь опубликованы – это был его духовный дневник. В Одессе жил и работал до своего отъезда в 1999 г. в г. Бремен (Германия). В 2004 году увидел свет прижизненный сборник поэта «Найдите меня среди хвои, среди запаха полыни».

Умер в 2009 году в Бремене, не дожив до 70 лет. Презентация посмертного сборника стихов Генриха Грохольского «Семь мгновений» (2010), изданного усилиями вдовы поэта Миры Ривеллис, прошла в помещении Всемирного клуба одесситов.



А в отражении своего лица в воде,
забыв о страхе высоты,
Увидеть в синеве сини
парящую белую птицу...

Ну да, был, существовал я,
даже состоялся в трёх ипостасях и живым остался...
Но что делать мне с собой дальше?
Выколачивать пыль из ковра
Или, забыв о завтра, очертить себя мелком, топотом ног,
идущих куда-то по делу или без,
Прикосновениями к чужому телу, не думая, что так и я могу
раздать себя по частям,
Если б не мешала эта кровоточащая рана, к которой первыми
тянутся чьи-то ручища, ощущивая её тепло,
Чтобы без моего согласия оставить каждому каплю меня,
меня лишь суть сложенной в горсть ладони...
Но это всё-таки только повторное чувство не проходящей боли,
Что опять же живёт на сносках, где обитаю и я (если всё удастся),
и состоюсь я в трёх ипостасях...
Хотя кому нужна такая новость обо всех нас и всех несчастьях,
Что напоминает мне яблоко (валяющееся на земле,
дожидаясь своего червя),
Что когда-то тоже висело на дереве, а потом оторвалось от ветки
И упало, не зная, что именно так и можно раздавать себя всем,
До последнего семечка, до съеденной сердцевинки,
не считая чужих прикосновений...
Но я очень надеюсь, что придёт время и где-то, в каком-то месте
Вырастет новое дерево и тень его, может быть, сольётся с моей...
А иначе, зачем я остался жив и что мне теперь с собой делать,
в этом сплетении трещин на беспризорных стенах,
Среди тишины, расплзшейся по укромным норам
мышинных семейств,
Где в одной агнец стих, мир умолк и волки не воют, а в другой
Опять состоялся кто-то, в пике чужого несчастья,
сразу во всех трёх ипостасях,
Забыв обо всём, очертя себя мелком, топотом ног,
прикосновениями к свету и тьме двуликого пространства,
Между которыми на настиле наста опять, должно быть,
будет лежать мёртвая голова статуи вождя
Из гранита или литого металла (который познал, что такое слава),
и только, вот-вот, упала с привычного своего пьедестала...

«ЛИТМУЗЕЙ»

ЕВГЕНИЯ САМОЙЛОВА

«ТОЛЬКО ДЕТСКИЕ КНИГИ ЧИТАТЬ...» *(некоторые размышления о проблемах роста)* очерк

Новорожденная Одесса так же не похожа на нынешнюю себя, как не похож младенец на взрослого человека. Города растут и меняются, как люди, впрочем, как и всё живое на земле. Онтогенез – всего лишь частный случай филогенеза, но от этого никак не становится легче, когда приходит осознание того, что в детстве – было лучше. Не всем, конечно, но многим.

Какою в детстве была Одесса? Вот её ещё как бы и нет, а вот она уже и мычит своё первое «Ма-а-а», вот уже тянет ручки и просит: «Дай!». Вот, босоножка, с упоением играет в пыли в одноэтажные домики, запускает кораблики. Вот подросла, и знакомится с Пушкиным – а кто из нас в детстве не знакомился с Пушкиным? – сразу по «энциклопедии русского быта». Ширится, вытягивается, вырастает из старых одежек. Украшает себя – браслеты гаваней, колье Оперного театра, кружева бульваров...

Как иногда, совсем-совсем повзрослев, хочется вдруг отыскать свои самые первые книжки – в них самые яркие картинки, самые удивительные истории... Свои самые первые игрушки – они умели разговаривать и расти, не бояться темноты, не ломаться...

Какими они были – «детские вещи» Одессы? Остатки Андреевского бастиона Хаджибейской крепости, заложенной 10 (22) июня 1793 года на территории нынешнего парка Шевченко... Карантинная аркада с башней, возведённая по проекту архитектора И.И. Круга в 1803-1807 годах... Здание городской больницы (1804-1821, архитекторы Тома-де-Томон, Ф. Фраполли) на современной Пастера, 7... Дом Феликса Дерибаса (1797, 1807, архитекторы В. Ванрезант, Ф. Фраполли), в котором помещалась канцелярия Новороссийского генерал-губернатора М.С. Воронцова, где в 1823-1824 гг. служили поэты Пушкин и Туманский... Дворец Потоцкого на Софиевской, 5-а... Здание Ришельевского лицея на Дерибасовской, 16... Многочисленные торговые ряды... Самые яркие картинки, сохранившиеся до наших дней, правда, в изменённом под современные нужды виде. А сколько их исчезло безвозвратно, и о невозможности этой утраты время крепко задуматься ещё не пришло. Ведь так молода ещё Одесса, ведь до почтенной старости ей ещё жить и жить – весело, легко, беззаботно...

И, безусловно, остались те черты, те основы характера, заложенные в гены её ещё до появления на свет – широта и свобода причерноморских выдавших виды степей, неуёмное, неустанное говорение моря, неопровержимая нравами и временами щедрость южного солнца.

Выстроенная из камня-ракушечника, она незаметно, под наслоениями штукатурки, несёт в себе геологическую историю миллионолетий, превращённых в жилую площадь. Будучи городом-портом, она становится одним из пунктов, из которых слагаются большие путешествия, сама превращается в путешествие, и тем оно увлекательнее, чем больше мы узнаём об этом молодом – каких-то двести с хвостиком лет! – городе-вундеркинде, с пелёнок не устающем поражать больших и взрослых многогранностью своих талантов.

Одесса растёт и сегодня, растёт трудно, растёт некрасиво. Безалаберное наше время, несомненно, оставит на теле её страшные рубцы, деформирует её стройную фигуру своими тяжестями, нарастит горбов... Может быть, ещё не всё так фатально, ещё не пошли губительные метастазы по её телу, но сердце – Старый город – уже надорвано в неравной борьбе с безвкусицей рвачества, с «акулами капитала».

Тем ценней становятся воспоминания о детстве, чем тяжелее проходит взросление. Тот золотой свет, которым они озарены, зачастую способен отогреть в любой мороз, в любые холода «смутного времени». Способен многое возродить, придать недостающих сил в борьбе за прошлое в современном, если это прошлое – ценно, красиво, неповторимо... Если оно, само того не замечая, становится достоянием мира.

Вспоминать, чтобы сохранить себя, чтобы оживить самые первые – чистые, детские мечты, чтобы не состариться, не исчезнуть бесследно.

Чтобы «... из глубокой печали восстать...»

КЛАССИКИ ЛИТЕРАТУРЫ – ОБ ОДЕССЕ

Иван Долгорукий. «Славны бубны за горами. Путешествие в Одессу»

...Одесса вся выстроена камнем. Известно, что тут была прежде у Турок неважная крепостца, называемая Гаджибей: теперь вы тут насчитаете домов до 200 каменных, все это воздвиглось лет в 15: как не подивиться действию столь скорому и удачному деятельной торговли! Ни одного строения деревянного в целом городе.

Камень для домов добывается из гор, ограждающих Чёрное море под самой Одессой. Он ноздреват и составлен из ракушек. Его около города пропасть; камень довольно большой величины стоит от 10 до 12 копеек. Опыт показал, что он на воздухе твердеет, но при рытье его из земных недр он очень мягок: его можно резать ножом, как мел. Наблюдатели, положи его на воздух, на открытое место, нашли и утверждают, что он года в два много становится легче; следовательно, воздухом выжимается из него сырость и делаются внутри камня пустоты. Те, кои хотяг щеголять домами и иметь прочное при том жилище, года чрез три по отстройке замазывают его снаружи и внутри известью. Говорят, будто такой дом простоит лет сто. Может быть; но ещё рано утвердительно о том судить: 15-ть лет далеко от столетия. Выбеленный дом никакой розницы не кажет с лучшими кирпичными општукатуренными домами в столицах, а без подмазки дом из такого камня похож очень цветом своим и отливом мелких его раковин на древние строения. Таков и карантин – прекраснейшее здание!

Желая увериться в том, что воздух укрепляет здешний камень, я ходил смотреть один обывательской дом, построенный лет за восемь перед сим, который хозяин рассудил сломать, и видел, что действительно стены этого камня разбивались с усилием точно так, как все кирпичные, или каменные строения, тогда как я же видел, что тот самый камень, добываемый в земле, сыр, мягок и подобен всякому ломкому телу.

Ходил я также смотреть новостроение в его производстве. Камень идёт в стену вершков осьми; закладку с сажень платят по 3 руб. 50-ти копеек. Каждый камень свежего рытья тешется и образуется топором, но с большою осторожностью, потому что он ещё недовольно твёрд и от острого лезвия может превращаться в пыль: я отломил один кусок, и имею его при себе. Все вообще здания здешние таким камнем строены. Неискусные хозяева обмазывают дома свои глиной, но это средство почитают непрочным. Многие заметили также, что те дома, кои выстроены без опыта, гораздо прежде, на глине, растворённой морскою водою, ненадёжны и сыры, потому что частицы солёные морской воды удобны всегда содержать сырость в камне. Дома из него поспевают отменно скоро, потому что он не тяжёл в разработке. Многие сквозь него пропускают воду, чтоб иметь её чище: это одно доказывает, сколько камень здешний пуст и лёгок.

Чтоб дать ещё лучше понятие о сем камне, скажу нечто о саде какого-то Потоцкого, который развёл его для своего приезда, при небольшом доме, рядом с нашей квартирой, следовательно, на горе над морем. Дом и сад его неважны, но он для забавы рассудил в самой горе выдолбить разные потребности: гора начинена вся камнями: они торчат в разных смыслах. В три дня Потоцкий тут вырезал себе диван, круглый стол для шести кувертов, сделал вокруг него лавки, выдолбил подвал для вин, место для поваренного котла, и всё это в камне оставил тут навсегда неподвижным памятником своего здесь жития и затей, а вместе с тем и очевидным опытом, как гибок камень и готов к услугам. Красивого в отделке нет ничего. Странно! Вид отсюда превосходный.

Внутри города в редком доме можно найти спокойное убежище. Если не палит зной, от которого иные охраняют себя красивыми шторами в окнах, то страшная пыль по улицам поднимается столбом и вселяется облаками в вашу комнату, потому что редкий день не ветрено в Одессе; или не сказанная тьма мошек и мух одолеют вас так, что без махалки ни за что приняться нельзя. Вот самое беспокойное неудобство здешнего места! Я видывал во многих домах среди лета, в самые жаркие его дни, двойные оконины ещё вмазанные для того, чтоб не впустить в комнаты солнца, мух и пыли; и так никто здесь не живет прежде ночи: жарко, душно, пыльно! Тем-то самым моя квартира и была отлично выгодна, что расположена за городом, и Чёрное море прохладами своими оберегает её от сказанных беспокойств.

Камень здешний на улицы не годится: он бы тотчас измололся в пыль от трения колёс; от того и мостовых нет, и пыль столбом крутится; задумано из мелкого камня сделать тротуары, т.е., тропки для пешеходов по сторонам улиц, но ещё о пользе их судить нельзя – предприятие новое.

Против рядов устраивается бульвар. Градоначальник здешний, о котором пространно говорить буду после, превеликий охотник до садов и пристрастен к здешним растениям: он с особливим тщани-



ем требует, чтоб по некоторым улицам и перед домами рассаживали деревья; многие принялись с успехом и украшали бы очень город, если бы пыль не портила зелени: все листья ею покрыты так, что трудно свежий цвет разглядеть. А как при нас была засуха, то деревья, кои на публичных местах не всегда поливать удобно, представляли самый плачевный и жалкий вид. На площадях средняя часть земли поднята и усажена разными деревьями, вокруг коих, чтоб не портили их ни люди, ни скоты, сделаны балясы и ограды: эти насаждения, или кучки растений, названы букетами. Мне сказывали, что так водится в Англии: я там не был, и правда ли это, не знаю; но где бы то ни было оно, везде прекрасно, а здесь особенно; ибо всякое дерево в степи – сокровище. Дюк ни за что так не сердился, как за изломанное, или испорченное дерево: я сам такой досады был свидетель.

Вообще строений много в городе; есть дома в два этажа, и несколько зданий весьма примечательных: всего вдруг не перескажешь; станем рассматривать постепенно. Жаль только того, что не дают домам хороших фасадов: может быть, желание, как-нибудь, да поскорее лишь застроить место, под город назначенное, было тому причиной; но видно, что о наружности домов частных не думано, и от этого с первого взгляда на строение Одесса может названа быть пространным Гаджибеєм. . .

Марк Твен. «Простак за границей или Путь новых паломников»

. . . Мы заехали так далеко на восток – на сто пятьдесят пять градусов долготы от Сан-Франциско, – что моим часам уже не под силу утнаться за временем. Они совсем сбились с толку и остановились. Помоему, они поступили мудро. Между Севастополем и Тихоокеанским побережьем разница во времени огромная. Когда здесь шесть часов утра, в Калифорнии идёт ещё позапрошлая неделя. Вполне извинительно, что мы немного запутались во времени. Эти неурядицы и волнения из-за дней и часов вконец измучили меня, я опасался, что это не пройдёт мне даром и ко мне уж никогда не вернётся чувство времени; но когда оказалось, что я безошибочно угадываю время обеда, блаженное спокойствие снизошло на меня и всем страхам и сомнениям пришёл конец.

От Севастополя до Одессы часов двадцать пути; Одесса – самый северный порт на Чёрном море. Мы вошли сюда главным образом за углем. В Одессе сто тридцать три тысячи жителей, и она растёт быстрее любого небольшого города вне Америки. Одесса открытый порт и крупнейший в Европе хлебный рынок. Одесский рейд полон кораблей. Сейчас ведутся работы по превращению открытого рейда в обширную искусственную гавань. Она будет со всех сторон окружена массивными каменными причалами, один из них будет выдаваться в море по прямой линии более чем на три тысячи футов.

Сойдя на берег, я ступил на мостовые Одессы, и впервые после долгого-долгого перерыва наконец почувствовал себя совсем как дома. По виду Одесса точь-в-точь американский город: красивые широкие улицы, да к тому же прямые; невысокие дома (в два-три этажа) – просторные, опрятные, без всяких причудливых украшений; вдоль тротуаров наша белая акация; деловая суета на улицах и в лавках; торопливые пешеходы; дома и всё вокруг новенькое с иголочки, что так привычно нашему глазу; и даже густое облако пыли окутало нас словно привет с милой нашему сердцу родины, – так что мы едва не пролили благодарную слезу, едва удержались от крепкого словца, как то освящено добрым американским обычаем. Куда ни погляди, вправо, влево, – везде перед нами Америка! Ничто не напоминает нам, что мы в России. Мы прошлись немного, упиваясь знакомой картиной, – но вот перед нами выросла церковь, пролётка с кучером на козлах, – и баста! – иллюзии как не бывало. Купол церкви увенчан стройным шпилем и закругается к основанию, напоминая перевёрнутую репу, а на кучере надето что-то вроде длинной нижней юбки без обручей. Всё это заграничное, и экипажи тоже выглядят непривычно, но все уже слышаны об этих диковинках, и я не стану их описывать.

Пароход должен был простоять здесь всего сутки, чтобы запастись углем; из путеводителей мы с радостью узнали, что в Одессе совершенно нечего осматривать, – итак, перед нами целый свободный день, спешить некуда и можно сколько угодно бродить по городу и наслаждаться бездельем. Мы слонялись по базарам и с неодобрением отзывались о нелепых и удивительных нарядах крестьян из дальних деревень, изучали жителей города, насколько это возможно по внешнему виду, и в довершение всех удовольствий до отвала наелись мороженым. В пути мы не часто лакомимся мороженым, и уж дорвавшись до него – кутим всюю. Дома мы никогда не соблазнялись мороженым, но теперь взираем на него с восторгом, ибо в этих пышущих жаром восточных странах его не часто встретишь.

Нам попались всего-навсего два памятника, и это тоже было истинное благодеяние. Один – бронзовая статуя герцога де Ришелье, внучатого племянника прославленного кардинала. Он стоит над морем на широком красивом проспекте, а от его подножья вниз к гавани спускается гигантская каменная лестница – в ней двести ступеней, каждая пятидесяти футов длиной, и через каждые двадцать ступеней – просторная площадка. Это великолепная лестница, и когда люди взбираются по ней, они кажутся издали просто муравьями. Я упоминаю об этой статуе и лестнице потому, что у них есть своя история. Ришелье основал Одессу, отечески заботился о ней, посвятил ей свой изобретательный ум, умел мудро рассудить, что послужит ей на благо, не скупясь отдавал ей своё богатство, привел её к подлинному процветанию, так что она, пожалуй, ещё сравняется с величайшими городами Старого

Света, на собственные деньги выстроил эту великолепную лестницу и... И что же! Люди, для которых он столько сделал, равнодушно смотрели, как он однажды спускался по этим самым ступеням, — он был стар, беден, у него ничего не осталось, — и никто не помог ему. А когда много лет спустя он умер в Севастополе, почти нищий, всеми забытый, они устроили собрание, щедро жертвовали по подписке и вскоре воздвигли этот прекрасный памятник — подлинное произведение искусства — и назвали его именем одну из главных улиц города. Это напоминает мне слова матери Роберта Бёрнса, — когда ему воздвигли величественный памятник, она сказала: «Ах, Робби, ты просил у людей хлеба, а они тебе подали камень»...

Пётр Пильский. «Лики городов»

...Её я увидел светлой, золотой осенью.

Уже сентябрь, а здесь всё ещё стоит и не уходит горячее, знойное лето. Цветут цветы, горят глаза и лица, звенит смех, на улицах толпа.

Ах, вы не знаете этой разноликой толпы международного юга!

Одесса — гордость толпы, город улицы. Харьков — тишина и покой. Одесса — шум и гомон.

Пойдите по Дерибасовской, этой красавице-улице красавца-города.

Первое впечатление: Одесса город лодырей. Будто никто ничего не делает. Все кругом — какие-то счастливые бездельники. Сидят на скамьях под деревьями, глядят на небо и зевают, томясь от жары и ничегонеделанья.

В Одессе я первый раз.

И я поражён, пленён, заморожен ею, этой легкомысленной, хохочущей, жизнерадостной, страстной, весёлой южанкой. Ни один город не имеет столько верных патриотов.

Одесит — тип.

Это — русский марселец. Легкомысленный хвостун, лентяй, весь внешний, великолепный лгун, задорный шутник.

Как жаль, что у него, этого лгуна и этого взрослого шалуна, нет своего Додэ, нет своего романа, своего героя, имя которого стало бы нарицательным.

Где одесский Тартарен, как есть он у французов из Тараскона?

Почему?

Я думаю потому, что роман длинен, немного массивен.

В Одессе всё должно быть легко и летуче.

Город, где смесь одежд и лиц переносит вас в атмосферу такой далёкой, зарубежной, международной ярмарки, шумного и радостного базара, с десятками наречий, тысячами профессий, приморскими битви, портовыми кабачками, где английские матросы вступают с русскими в самую свирепую, кровавую битву и дерутся уже не кулаками, а бочонками, заменяющими стулья и табуреты.

Откройте четвёртый том Куприна и ещё раз прочтите рассказ «Гамбринус». Помните, там есть музыкант Сашка-еврей, — «кроткий, весёлый, пьяный, плешивый человек, с наружностью обезьяны, неопределённых лет». «Проходили года, сменялись лакеи, в кожаных нарукавниках, сменялись поставщики и развозчики пива, сменялись сами хозяева пивной, но Сашка неизменно каждый вечер к шести часам уже сидел на своей эстраде со скрипкой в руках и с маленькой, беленькой собачкой на коленях, а к часу ночи уходил из «Гамбринуса», в сопровождении той же собачки-Белочки, едва держась на ногах от выпитого пива».

Так было десять лет тому назад, так и осталось и по сейчас, и весь «Гамбринус» тот же самый, и на том же месте неизменно, по-прежнему, сидит и играет на своей скрипке этот Сашка, общий любимец, побеждающий грубые сердца этих пьяниц, выдавших виды, опасность и смерть людей. Этим и других кабачков, ресторанов, кофеен, пивных и винных погребов десятки на каждой улице и все они гудят, стонут, зовут и поют, как поёт и зовёт весь этот чудо-город, город-легенда, суматоха и стон. Приезжайте в Одессу, приезжайте в Одессу!

Вы, утомлённые жёлтыми туманами севера, больные и будто обречённые; вы, увядающие и опускающиеся в забытых людях и Богом заглушенных городах и спящих селах; вы, ищущие радостного и беззаботного веселья, в чьих жилах течёт буйная и нетерпеливая кровь, и вы, странные и загадочные люди, носящие в душе мечту о самоубийстве, разочарованные, уязвлённые совестью, неудавшиеся гении с разбитой жизнью и раздражённой печенью — все приезжайте сюда!

Шопенгауер был пессимистом и женоненавистником, но только потому, что он никогда не был в Одессе. И — ах! Зачем ему никто не шепнул, что на свете есть такой великолепный, лечебный и целебный пункт, и почему среди разных «климатических» станций нигде не упоминается про Одессу? Разве боли духа не требуют климатических станций? Приезжайте! Впрочем, как хотите! Что до меня, отныне я знаю наверно, что никогда не кончу с собой. Я просто — возьму билет прямого сообщения «Петербург-Одесса» и буду долго-долго, весело и красиво жить.

А какой он любопытный, этот город. Заметьте, не любознательный, а любопытный. Вы знаете разницу? Она так проста. Любознательность всегда ставит вопрос: «зачем».



Любознательность – целесообразна, систематична и последовательна. Любопытство не знает ни цели, ни системы, оно знает только «почему?» И на этот вопрос ответ один: «потому что хочется знать».

Любознательность – черта мужская. В ней много «М».

Любопытство – женское начало, оно – «Ж», – и как же вы хотите, чтобы Одесса не была любопытна! Она падка поэтому до зрелищ, её толпа соберётся вокруг упавшей лошади и залаявшей собаки, жадная до всяких впечатлений, готовая слушать и смотреть всё.

Поэтому Одесса такая театралка. Сцена – её Бог, актёр – её кумир. И поэтому же она не читательница. Здесь книги лениво разбираются, томы не дочитываются, всё проглядывается спешно, нервно, между делом, шутя и наскоро, с любопытством, но без знания.

Одесса это иллюзион и фельетон, будто всю жизнь здесь, и её темп, и её лицо, и её ум окрасила Женщина.

Разбросала душистые цветы, страшно пьянящие запахи, раскидала клумбы, забила фонтанами, населила жизнь призраками, обманчивыми мечтами и красивой прихотью, изменой и чувствительностью, нежностью и легкомыслием, суетой и нарядностью, огласила воздух милой песнью и воркующими голосами, осветила панели и улицы цветными огнями своих лиловых, зелёных, красных, фиолетовых и чёрных шляп, шумящих, шуршащих платьев, пронзила острыми молниями души, охмелила мысль и зажгла кострами сердца.

И в эти горячие, жаркие, жадные, золотые и распалённые дни, в эти то душные, то прохладные ночи она – Женщина – проходит здесь по этим тротуарам мимо вас, как Царица-Богиня, Властительница, то Марией, то Магдалиной, ведёт вас за собой, свергает вниз, возносит вверх, убивая и воскрешая, даря терзаниями, муками, светом, истомой. Женщина, женщина!

Громадный город великого, неистощимого, сказочного безумия, дышащий духами и преступлением, ни на кого непохожий, прекрасный, бурный, спешащий, – что несёшь ты с собой, как судьбу свою и нашу – бессмертие, жизнь или тление?

Вот место, где так хорошо и сладко сойти с ума, – и это море, и эта зелень, одно – гордое, другая – скромная, эти запахи морской гнили, тубероз, юга, женщин и духов, и этот нервный бег!

Куда? Зачем?

К чему? К кому?

Одесса – город романтизма, романтики, он – фразёр, позёр, весь шёлковый, – разве здесь можно мыслить, неисцелимо страдать, трагически рыдать?

Отшельничество и подвижничество, святая прелесть левитановской весны в средней России – как это далеко от Одессы, как чуждо ей, как не сродни!

Верх нелепости – создать Ясную Поляну даже не в самой Одессе – об этом смешно и говорить, – но, вот, хоть бы здесь, на том Большом Фонтане, где пробовал пожить Куприн, где так давно живут Фёдоров и Юшкевич.

Одесса – это опера, феерия, танцкласс, вокзал, но она не кабинет учёного и не келья мысли и веры.

Здесь дом – неволя, тянет на воздух, на простор, вдаль к морю, ввысь к солнцу, и Куприн, как приехал, так сразу захотел... лететь. Совершенно серьёзно и без всяких шуток! И полетел с покойным Уточкинм.

Вы подумайте: этот человек земли, чернозёмный ум, чернозёмная сила, так любящий лес, и лошадь, и поле, реки, землю, и он даже решил лететь!..

Под этим солнцем, на этом юге среди цветов, у самого моря люди добрей, веселей, их шутки воздушней, их решимость красивей.

Приезжайте в Одессу!

Илья Ильф. «Путешествие в Одессу».

Для того, чтобы туристу из Вологды или Рязани попасть в Одессу, есть несколько способов.

Можно отправиться туда пешком, катя перед собой бочку с агитационной надписью: «Все в ОДН!». Этот способ излюблен больше всего молодёжью и отнимает не больше полугода времени.

Можно также проехать из Рязани в Одессу на велосипеде. Для этого надо приобрести билеты третьей всесоюзной лотереи Осоевиахима² и дожидаться, пока на него не падёт выигрыш в виде велосипеда.

Если же билет выиграет фуфайку или электрический фонарик, то надлежит ехать в Одессу поездом. Фонарик можно захватить с собой и по ночам пугать его внезапным светом железнодорожных кондукторов.

Любознательному туристу Одесса даёт вкусную пищу для наблюдений.

Одесса один из наиболее населённых памятниками городов.

До революции там обитало только четыре памятника: герцогу Ришелье³, Воронцову, Пушкину и Екатерине Второй. Потом число их ещё уменьшилось, потому что бронзовую самодержицу свергли. В подвале музея Истории и Древностей⁴ до сих пор валяются её отдельные части – голова, юбки и бюст, волнующий своей пышностью редких посетителей.

Но сейчас в Одессе не меньше трёхсот скульптурных украшений. В садах и скверах, на бульварах и уличных перекрёстках возвышаются ныне мраморные девушки, медные львы⁵, нимфы, пастухи, играющие на свирелях, урны и гранитные поросята.

Есть площади, на которых столпились сразу два или три десятка таких памятников. Среди этих мраморных роц сиротливо произрастают две акации.

Стволы их выкрашены известью, на которой особенно отчётливо выделяются однообразные надписи – «Яша дурак». На спинах мраморных девушек тоже написано про Яшу.

Львы и поросята перенесены в город из окрестных дач⁶. Что же касается нимф и урн, то похоже на то, что они позаимствованы с кладбища. Как бы то ни было, вся эта садовая и кладбищенская скульптура очень забавно украсила Одессу.

Кроме памятников, город населяют и люди.

Об их числе, занятиях и классовой принадлежности турист может узнать из любого справочника. Но никакая книга не даст полного представления о так называемом «Острове погибших кораблей».

«Остров» занимает целый квартал бывшей Дерibasовской улицы, от бывшего магазина Альшванга⁷ до бывшей банкирской конторы Ксидиаса. Весь день здесь прогуливаются люди почтенной наружности в твёрдых соломенных шляпах, чудом сохранившихся лостриновых пиджаках и когда-то белых пикейных жилетах⁸.

Это бывшие деятели, обломки известных в своё время финансовых фамилий.

Теперь белый цвет акаций осыпается на зазубренные временем поля их соломенных шляп, на обветшавший лострин пиджаков, на жилеты, сильно потемневшие за последнее десятилетие.

Это погибшие корабли некогда гордой коммерции. Время своё они всецело посвящают высокой политике, международной и внутренней. Им известны также детали советско-германских отношений, которые не снились даже Литвинову⁹.

Отвлечь от пророчеств их может только процессия рабов в хитонах, внезапно показавшаяся на Ришельевской улице.

Рабы с галдением останавливаются на углу. Вслед за ними движутся патриции в тогах. За преторами бегут какие-то начальники когорт и пращники. За пращниками следуют тяжеловооруженные воины из секции совторгслужащих биржи труда. Шествие замыкает разнокалиберная толпа, которая несёт в кресле очень тощего Юлия Цезаря.

Делается шумно и скучно.

Всем становится ясно, что ВУФКУ¹⁰ пошло на новый кинематографический эксцесс – опять ставит картину из быта древнеримской империалистической клики.

Подъехавшие на семи фазтонах кинорежиссёры устанавливают римско-одесский народ шпалерами. Статисты, стоя на фоне книжного магазина Вукопспилки¹¹, машут ветками акаций, потому что на пальмы не хватило кредитов.

Граждане города, не нанятые в римляне, с омерзением смотрят на действия родной киноорганизации.

После триумфа фазтоны с режиссёрами трогаются в направлении общеизвестной одесской лестницы. Туда же несут Цезаря, закусьявающего на своей высоте «бубликами-семитати»¹².

На общеизвестной одесской лестнице снимаются все картины, будь они из жизни римлян или петлюровских гайдамаков – всё едино.

Если турист располагает временем, то ему стоит подождать судебного процесса, который обязательно возникнет по поводу постановки римского фильма.

Есть в Одессе и другие достопримечательности, может быть, и уступающие в полезности триумфу Цезаря, но зато более поучительные.

Но это уже специальность не «Чудак»¹³, а скорее «Наших достижений»¹⁴. Ибо не одними хороводами ВУФКУ может похвалиться Одесса.

¹ Первая публикация: журн. Чудак, 1929, ¹ 13.

² ОДН – Общество «Долой неграмотность».

³ Осоавиахим – Общество содействия авиации и химической защите.

⁴ Герцог Ришелье – Арман Эмманюэль де Ришелье дю Плесси (1766-1822), эмигрировавший во время Великой французской революции из России, был генерал-губернатором Малороссии в 1805-1814 гг. Памятник «дюку Ришелье» (в Одессе его называют просто «дюк») установлен на Николаевском бульваре в 1828 г. Памятник графу, впоследствии князю Михаилу Семеновичу Воронцову (1782-1856), генерал-губернатору Новороссийского края (1823-1844) на Соборной площади был установлен в 1863 г. Ср.: «Старики бежали... и приходили в себя, только приткнувшись к мокрым ногам бронзовой фигуры екатерининского вельможи, стоявшего посреди площади» («Золотой теленок»). Памятник Александру Сергеевичу Пушкину был установлен на Николаевском бульваре в 1889 г. Памятник Екатерине II был установлен на Екатерининской площади в 1900 г., снесен 1 мая 1920 г.

⁵ Музей Истории и Древностей – музей одесского общества Истории и Древностей (ныне Археологический музей). Многочисленные фрагменты памятника Екатерине II (биост императрицы и фигуры её вельмож) установлены во внутреннем дворе Историко-краеведческого музея.

⁶ Медные львы – скульптуры «Лев» и «Львица» работы А. Сайна в 1928 г. перенесены с бывшей дачи городского головы Г. Маразли на Французском бульваре в Городской сад.



⁶ «... из окрестных дач» — дачи представителей местной финансовой и торговой знати на Французском бульваре.

⁷ Квартал бывшей Дерибасовской улицы от бывшего магазина Альшванга до бывшей банкирской конторы Ксидиаса. — В 1920 г. центральная улица Одессы — Дерибасовская была переименована в улицу Лассаля. Ср.: «Им [одесситам] тоже известна лучшая улица на земле... Это, конечно, ... улица Лассаля, бывшая Дерибасовская» («Двенадцать стульев»). Магазин Альшванга — одесское отделение Московского торгового дома братьев А. и Я. Альшванг на углу Дерибасовской и Екатерининской улиц. Банкирская контора Ксидиаса — банкирский дом И. Ксидиаса на Дерибасовской, 7.

⁸ «... люди почтенной наружности в твердых соломенных шляпах... и когда-то белых пикейных жилетах» — Ср.: «Что же касается пикейных жилетов, то они полны таких безумных сожалений о прошлом времени, что, конечно, они уже совсем сумасшедшие» («Записные книжки» Ильфа) и «Это были странные и смешные в наше время люди. Почти все они были в белых пикейных жилетах и в соломенных шляпах канотье» («Золотой теленок»).

⁹ Литвинов Максим Максимович (1976-1951) — советский дипломат, народный комиссар иностранных дел (1921-1943).

¹⁰ ВУФКУ — кинофабрика ВУФКУ (Всеукраинского фотокиноуправления) на Французском бульваре, ныне Одесская киностудия художественных фильмов.

¹¹ Вукопсилка (Всеукраїнська Спілка Споживчих Кооперативних Організацій) — Всеукраинский союз потребительских кооперативных организаций на тогдашней улице Ленина (Ришельевской), 1.

¹² Бублики-семитати — бублики, посыпанные кунжутным семенем. В «Двенадцати стульях» упоминается «Одесская бубличная артель — Московские баранки».

¹³ «Чудак» — юмористический журнал, основанный М. Кольцовым (1928-1930).

¹⁴ «Наши достижения» — журнал художественного очерка, основанный М. Горьким в 1929 г.

(Прим. Алёны Яворской)

Аркадий Аверченко. «Одесса»

... Недавно я встретил на улице того самого одессита, который ехал со мной на пароходе. Он не узнал меня. А я подошёл, приподнял шляпу и сказал:

— Здравствуйте. Не узнаете?

— А! — радостно вскричал он... — Сколько лет, сколько зим!..

Порывисто обнял меня, крепко поцеловал и потом с любопытством стал всматриваться.

— Простите, что-то не могу вспомнить...

— Как же! На пароходе вместе...

— А! Вот счастливая встреча! — Мимо проходил ещё какой-то господин. Мой одессит раскланялся с ним, схватил меня за руку и представил этому человеку.

— Позвольте вас представить...

Мимо проходил ещё какой-то господин.

— А! — крикнул ему одессит. — Здравствуйте. Позвольте вас познакомиться.

Мы познакомились. Ещё проходили какие-то люди, и я познакомился и с ними. Потом решили идти в кафе. В кафе одессит потащил меня к хозяину и познакомил с ним. Какая-то девица сидела за кассой. Он поздоровался с ней, осведомился о здоровье её тётки и потом сказал, похлопывая меня по плечу:

— Позвольте вас познакомиться с моим приятелем.

Нет более общительного, разбитного человека, чем одессит. Когда люди незнакомы между собой — это ему действует на нервы.

Климат здесь жаркий, и поэтому всё созревает с головокружительной быстротой. Для того, чтобы подружиться с петербуржцем, нужно от двух до трёх лет. В Одессе мне это удалось проделывать в такое же количество часов. И при этом сохранялись все самые мельчайшие стадии дружбы; только развитие их шло другим темпом. Вкусы и привычки изучались в течение первых двадцати минут, десять минут шло на оказывание друг другу взаимных услуг, так скрепляющих дружбу (на севере для этого нужно спасти другу жизнь, выручить его из беды, а одесский темп требует меньшего: достаточно предложить папиросу, или поднять упавшую шляпу, или придвинуть пепельницу), а в начале второго часа отношения уже были таковы, что ощущалась настоятельная необходимость заменить холодное, накрахмаленное «вы» тёплым дружеским «ты». Случалось, что к концу второго часа дружба уже отцветала, благодаря внезапно вспыхнувшей ссоре, и таким образом, полный круг замыкался в течение двух часов.

Многие думают, что нет ничего ужаснее ссор на юге, где солнце кипятит кровь и зной туманит голову. Я видел, как ссорились одесситы, и не нахожу в этом особенной опасности. Их было двое и сидели они в ресторане, дружелюбно разговаривая. Один, между прочим, сказал:

— Да, вспомнил: вчера видел твою симпатию... Она ехала с каким-то офицером, который обнимал её за талию.

Второй одессит побагровел и резко схватил первого за руку.

— Ты врешь! Этого не могло быть!

— Во-первых, я не вру, а во-вторых, прошу за руки меня не хватать!



– Что-о? Замечания?! Во-первых, если ты это говоришь, ты негодай, а, во-вторых, я сейчас хвачу тебя этой бутылкой по твоей глупой башке.

И он действительно схватил бутылку за горлышко и поднял её.

– О-о! – бледнея от ярости и вскакивая, просвистел другой.

– За такие слова ты мне дашь тот ответ, который должен дать всякий порядочный человек.

– Сделай одолжение – какое угодно оружие!

– Прекрасно! Завтра мои свидетели будут у тебя. Петя Березовский и Гриша Попандопуло!

– Гриша! А разве он уже приехал?

– Конечно. Ещё вчера.

– Ну, как же его поездка в Симферополь? Не знаешь?

– Он говорит – неудачно. Только деньги даром потратил.

– Вот дурак! Говорил же я ему – пропащее дело... А скажи, видел он там Финкельштейна?

Противники сели и завели оживлённый разговор о Финкельштейне. Так как один продолжал машинально держать бутылку в воздухе, то другой заметил:

– Что ж ты так держишь бутылку? Наливай.

Оскорблённый вылил пиво в стаканы, чокнулся и, как ни в чём не бывало, стал расспрашивать о делах Финкельштейна.

Тем и кончилась эта страшная ссора, сулившая тяжёлые кровавые последствия.

(...)Одессит скажет вам:

– Вместо того, чтобы с mine смеяться, вы бы лучше указали для mine выход...

И если бы даже вы его не поняли – его конечности, пущенные в ход с быстротой ветряной мельницы, объяснят вам все непонятные места этой фразы.

Если одессит скажет слово:

– Мило,

вы не должны думать, что ему что-нибудь понравилось. Нет. Сопровождающая это слово жестикация руками объяснит вам, что одесситу нужно мыло, чтобы вымыть руки.

Игнорирование одесситом буквы «ы» сбивает с толку только собак. Именно, когда одессит скажет при собаке слово «пиль», она, обыкновенно, бросается, сломя голову, по указанному направлению.

А бедный одессит просто указывал на лежащий по дороге слой пыли...

Одесситы приняли меня так хорошо, что я, с своей стороны, был бы не прочь сделать им в благодарность небольшой подарок: преподнести им в вечное и постоянное пользование буквы «ы».

Семён Гехт. «Одесса»

Только тогда оживает приморский бульвар, когда в спокойную бухту врезывается американская миноноска, на которой саженными цифрами тщательно выписано «227», и с огромного грузового корабля шлёпают подмоченные канаты и скользят сходни.

Это значит, что на две недели порт оживёт. Это значит, что эстакадный переулочек будет наводнён любопытствующими мальчишками, и несколько тысяч грузчиков заполнят пристани. Это значит, что по портовым улицам потянутся подводы, площадки и грузовые автомобили, у пакаузов будет топтаться караул, и бездельничающие бабы будут подбирать высыпавшееся случайно из мешков зерно.

В остальное время в порту скучно, так как наладившееся сообщение в пределах Чёрного моря не способно оживить пространного и раскинувшегося порта. Суда из Константинополя и Италии приходят редко, стоят долго и не вызывают к себе особого интереса.

Днём в городе малоллюдно. Оживление бывает по вечерам, когда центральные улицы запружены проститутками и в ресторанах гастролируют румынские цимбалисты. Публика весьма охотно посещает многочисленные кинематографы и миниатюры¹, в которых столичные любовники ставят революционные пьесы и в которых «женщина-феномен» угадывает мысли на расстоянии.

Движение трамваев в сравнении с Москвой – ничтожно. Их так мало, этих великолепных трамваев, светящихся рекламами и подобных которым не сыщешь во всей России.

На прежнем Толкучем рынке расположился зверинец, работает карусель и мелькают качели. Зверинец убог и смешон до абсурда. Весь его состав исчисляется двумя медведями, орлом, лисицей и попугаем. Владельцы скорбно и величаво рассказывают о несчастных животных, умерших жуткой зимой двадцать первого года. В балагане балерина исполняет Dance de la Gypsy Сен-Санса, но равнодушный и обманутый зритель насмешливо оглядывает её грязное трико и стоптанные туфли.

Окраина, перенёсшая тяжчайшие беды, возрождается к жизни медленно и туго. Бугаёвка ещё не очищена от осколков снарядов, взорванных в эпоху германской оккупации, и поляна Дюковского сада оголёнными пнями напоминает о столетних акациях, составлявших гордость Молдаванки.

История этого сада, лучшего в Одессе, замечательна. Были тревожные дни оккупационного владычества, когда по взбудораженным улицам шныряли смуглые зуавы, когда коротконогие негры заполняли лунапарк и шотландские стрелки в юбках вызывали смех топтавшей вокруг них уличной детворы. Дров в городе не было совершенно. Несмотря на жаркие летние дни, нужда в них была



огромная, так как обнищавшему окраинному населению не на что было сварить постных щей. Однажды утром поднялись ремесленники Слободки и Бугаёвки и, не обращая внимания на стрекотно пулемётов и на отточенные штывки зуавов, двинулись с пилами и колунами к великолепному Дюковскому саду. В течение одного летнего дня весь сад был вырублен и был увезён волоком, на повозках и спинах. Об этом дне окраинное население вспоминает с удовольствием и гордостью, и только тогда, когда зной уж слишком удушлив и нигде не сыщешь тени, к довольству примешивается сожаление о столетнем парке и чудесных акациях.

Горячая жизнь кипит только на Пересыпи. Там в полном ходу усовершенствованные и исключительные мельницы, там работают гигантские скотобойни, электрическая станция, кишечный завод и гордость заводской Одессы, завод б. Гена, выделяющий двухлемешные плуги, зубчатые бороны, косилки и сеялки. По обширным улицам тянутся подводы с лимонной солью² и болгарские повозки с овощами с богатых и культурных участков полей орошения.

Так живёт южная столица, удивляющая малолюдностью, но радующая взор наш внешней чистотой и благообразным видом.

¹ имеются в виду театры миниатюр, или, как их называли в 20-е годы, «Театр малых форм».

² опечатка первоиздания, правильно «лиманская», то есть из Кульницкого или Хаджибейского лимана.

Зинаида Шишова

«ТРАНСНИСТРИЯ»

Чердачный запах стружки и земли.
 Петунии в мутной баночке цвели,
 Укроп и хлеб лежали на столе
 Под марлею. И возле хлеба – крошки.
 Летели стайкой пузырьки в стекле,
 В слепом стекле рыбацкого окошка.
 Стих трамонтан. И ветру нужен отдых,
 А море в двери лезет напролом,
 Вода беснуется, такую воду
 Не отвести, не проломить веслом. . .
 Воспоминания. . . Они то в небе тают,
 То вдруг чертят крылами над водой,
 А то с размаху в сердце, как в гнездо,
 Испуганною ласточкой влетают.
 Аркадия. Уже почти что Ницца.
 Нерусские мясистые цветы.
 Мы не любили этой красоты.
 И замирает «дьяболо», жужжа
 На уровне второго этажа, –
 Мы не любили этой заграницы.
 Там моря нет. Перегородкой синей
 Забито просто наглухо окно,
 Горчит во рту от сладости глициний,
 И хлопает маркизы полотно.
 Концерты. Биржа. Голос лебединый.
 В плафоны сводов бьется си-бемоль.
 Воспоминания – комочек красной глины,
 И в ней остро поблёскивает соль.
 Воронка, вымытая ручейком, –
 Условный знак у входа в катакомбы.
 Два попадания было в этот дом,
 А в сад и ясли – по четыре бомбы.
 Зажмурь глаза от грохота и блеска,
 Постой на раскалённой мостовой
 И хорошо запомни: город твой
 Хотели переделать в «Антонеску»!

Владимир Жаботинский. «Пятеро»

...Если бы можно было, я бы хотел подыхать не через Раздельную, а на пароходе; летом, конечно, и рано утром. Встал бы перед рассветом, когда ещё не потух маяк на Большом фонтане; и один одинёшник на палубе смотрел бы на берег. Берег ещё сначала был бы в тумане, но к семи часам уже стали бы видны те две краски — красно-жёлтая глина и чуть-чуть сероватая зелень. Я бы старался отличить по памяти селения: Большой Фонтан, Средний, Аркадия, Малый; потом Ланжерон, а за ним парк — кажется, с моря видна издалика чёрная колонна Александра II-го. То есть, её, вероятно, теперь уже сняли, но я говорю о старой Одессе.

Потом начинают вырисовываться детали порта. Это брекватор, а это волнорез (никто из горожан не знал разницы, а я знал); Карантин и за ним кусочек эстакады — мы на Карантин и плывём; а те молы, что справа, поменьше, те для своих отечественных парходиков, и ещё больше для парусных дубков, и просто шаланд и баркасов: Платоновский мол, Андросовский, ещё какой-то. В детстве моём ещё лесом, бывало, торчали трубы и мачты во всех гаванях, когда Одесса была царицей; потом стало жиже, много жиже, но я хочу так, как было в детстве: лес, и повсюду уже перекликаются матросы, лодочники, грузчики, и если бы можно было услышать, услышал бы лучшую песню человечества: сто языков.

Помню ли ещё здания, которые видны высоко на горе, подъезжая с моря? Дума была белая, одноэтажная, простого греческого рисунка; на днях я видел в американском Ричмонде небогатый, уездный тамошний Капитолий, немного похожий на нашу думу, и час после того ходил сам не свой. Направо стройная линия дворцов вдоль бульвара — не помню, видать ли их с моря за клёнами бульвара; но последний справа, наверное, видать, Воронцовский дворец с полукруглым портиком над сплошной зеленью обрыва. И лестница, шириной в широкую улицу, двести низеньких барских ступеней; второй такой нет, кажется, на свете, а если скажут, где есть, не поеду смотреть. И над лестницей каменный Дюк — протянул руку и тычет в приезжего пальцем: меня звали дю-Плесси де Ришелье — помни, со всех концов Европы сколько сошлось народов, чтобы выстроить один город.

«ОКОЁМ»

АЛЕКСЕЙ ТОРХОВ

СЛОВО О СТА СЛОВАХ

(о международном литературном конкурсе короткой прозы «Стословие»)

23 июня 2009 г. многие авторы и читатели самиздатовского эстетик-шок журнала «КЛЯП!» (г. Николаев) обнаружили в своих почтовых ящиках письмо-рассылку:

«Короткая проза – это тот случай, когда ответ на вопрос: “Какой объём?” – начинается словами: “Как правило. . .”. . . Мы не хотим больше слушать о размытости жанра. Свои правила мы создаём сами. Они лаконичны. Всего-то девять букв: “СТОСЛОВИЕ”. . . Дать форме. И приведение к одному знаменателю. Остальное – содержание!.. Эстетик-шок-журнал “КЛЯП!” объявляет литературный конкурс короткой прозы “кляп-формата” – “СТОСЛОВИЕ”. . . Сто слов – это много или мало?! – прокрустово ложе для болтунов и молчальников. Всего-то нужно – в ста словах рассказать о. . . (чём?). Стиль не имеет значения, главное, чтобы вышла полноценная литературная миниатюра. И первым опытом для всех будет красочный и лаконичный рассказ на тему “Тело города моего”. . .»

Так начинался литературный конкурс короткой прозы «СТОСЛОВИЕ», сразу ставший международным. С тех пор прошло три года. Определелись главные принципы, отсеялось второстепенное. Конкурс состоялся и стал ежегодным. Теперь поставлена новая планка – по итогам пяти конкурсов составить и выпустить «Антологию стословий».

Что нужно для того, чтобы ваш текст участвовал в конкурсе? Соответствовать нехитрым требованиям: 1) конкурсный текст должен состоять из 100 слов, включая название (пробелы не учитываются); 2) автор вправе предоставить на конкурс от одного до трёх текстов; 3) стословия высылаются в течение ста дней с момента объявления конкурса.

Все стословия, в порядке поступления, получают специальные коды, под которыми потом рассылаются членам жюри. Конкурсные тексты, для максимального устранения субъективных факторов при оценке их, рассылаются членам жюри под номерами (в порядке поступления в редакцию журнала), без указания авторства.

Организаторами конкурса предусмотрены три вида поощрения авторов лучших текстов.

1. Три литературных премии журнала «КЛЯП!»

Определяются по суммарному баллу и вручаются текстам, занявшим в общем рейтинге места с первого по третье.

2. Специальные дипломы «Личное предпочтение члена жюри»

Учитывая некоторую искусственность суммарных оценок, определяющих победителей конкурса, организаторы дали возможность каждому члену жюри высказать персональное мнение с вручением автору специального диплома.

3. Специальные дипломы «БЕЛАЯ МЕТКА» (выбор редакции журнала «КЛЯП!»)

Само собой, редакция не могла остаться в стороне от процесса «раздачи слонов». Специальные дипломы журнала получили название «Белая метка» (созвучное с пиратской «чёрной меткой», но имеющее диаметрально противоположный смысл – выбор не на «смерть», а на «жизнь» текстов). Данные дипломы вручаются конкурсным текстам, независимо от полученных ими суммарных баллов. Исключение составляют тексты, получившие три верхних строчки в общем рейтинге (три литературных премии) и не нуждающиеся, по мнению редакции, уже ни в каких дополнительных поощрениях.

В разные годы в работе жюри конкурса приняли участие: Татьяна Михайловская (Москва, 2009), Андрей Сен-Сеньков (Москва, 2009, 2010), Роза Хуснутдинова (Москва, 2010), Ольга Адрова (Москва, 2010), Татьяна Бонч-Осмоловская (Сидней, 2009-2011), Елена Кацюба (Москва, 2009-2011), Анатолий Кудрявицкий (Дублин, 2010, 2011), Семён Логунов (Николаев, 2009-2011), Евгений Харитонов (Москва, 2011).

«По-моему, конкурс и должен быть таким – задавать параметры не только содержания, но и формы. “Растекаться мыслию по древу” легче лёгкого, а вот ограничения в форме – уже интересно. Вроде бы 100 слов – это очень мало для прозы, но получается, что некоторые авторы оказались даже многословны. А другим явно слов не хватало. Это, конечно, игра, ну а что не игра? Игра – свод допусков и ограничений. Но чем это отличается от жизни вообще? Думаю, что победили те, кто нашёл ритм и интонацию, которые и компенсируют недостаток слов».

Елена Кацюба

Различным было и количество представленных текстов. На Первый конкурс «СТОСЛОВИЕ-2009» поступило 57 работ от 39 авторов из 7 стран. В 2010 году – 259 текстов от 130 авторов из 16 стран. В 2011 году – 93 текста от 51 автора из 3 стран.

В начале этого года подведены итоги Третьего международного конкурса «Стословие-2011», тема которого определялась строкой Булата Окуджавы – «Просто вы дверь перепугали, улицу, город и век». Лучшие работы, отмеченные жюри, мы предлагаем вашему вниманию.

НАДЕЖДА НИКОЛАЕВА

г. Киев, Украина

ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ журнала «КЛЯП!» (1-е место)
Специальный диплом «Личное предпочтение члена жюри»
Выбор Семёна Логунова (г. Николаев, Украина)

НЕНУЖНОЕ НАСЛЕДСТВО

Они лежали ничком. Пожелтевшие, морщинистые. Выцветшие от старости черты были не так выразительны, как раньше, но не могли укрыться от пронизательного взгляда.

Они напоминали раненых солдат. Красная шёлковая лента, перевязавшая их подобно тому, как бинтом перевязывают раны, изрядно потрепалась.

Кое-что и вправду имело отношение к войне: ясно слышались отзвуки взрывов, щедро слобренные уверениями, что нет поводов для переживания. В чертах других читались повседневные хлопоты с радостями и разочарованиями. Здесь был смех и были слёзы, которые нельзя доверить никому, кроме самого близкого...

Самые близкие покинули мир, оставив новым владельцам дома эти старые письма – ничего не стоящие, но слишком бесценные.

ВЛАДИМИР КРАСНОВ

г. Боровичи, Россия

ВТОРАЯ ПРЕМИЯ журнала «КЛЯП!» (2-е место)
Специальный диплом «Личное предпочтение члена жюри»
Выбор Анатолия Кудрявицкого (г. Дублин, Ирландия)

ТАЙНАЯ ВЛАСТЬ НОЧИ

Она танцует не с ним, он танцует не с ней... Музыка разрывает душу, ночь разрывает сердце, как будто это их последняя ночь, как будто это их последний танец. Всё в жизни, в сущности, только первое и последнее, последнее и первое.

И никогда не повторится стук каблучков по дощатому, притопленному местами мосту через тёмную, как ночь, реку – реку Гераклита. Каблучки то частят, то медлят, то снова частят... И невозможно разглядеть, как, осторожно прижимаясь к перилам, пробирается невидимая в темноте девушка в белом платье... Сон ли, явь ли: белое пятно платья белым облаком плывёт в ночи, покачиваясь в воде...

**АНДРЕЙ КРАСНЯЩИХ**

г. Харьков, Украина

ТРЕТЬЯ ПРЕМИЯ журнала «КЛЯП!» (3-е место)
Специальный диплом «Личное предпочтение члена жюри»
Выбор Елены Кацубы (г. Москва, Россия)

СТРАШНО

Ох и отплясывают мужички.
Отплясывают мужички, отплясывают. Каждую ночь, на пустырях за городом, никто их не видит.
Они не пьяные, не трезвые. Кажется, не замечают друг друга и ничего вокруг. Собрались и стучат по земле, в землю. Ногами в сапогах. Размахивая руками. Всё – молча, без единого звука, только сопят и дышат.
Никто не знает, что они здесь делают, и никто не спросит.
Сапоги тяжёлые, земля содрогается.
А в ней лежат кости. Старые и совсем новые. Дедов мужичковых и отцов. Мужички их нашли.
Луны нет. Нет неба. Время ушло. Нет вообще ничего. Всё втоптанно в землю.
Как я сюда попал?

АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВ

г. Санкт-Петербург, Россия

Специальный диплом «Личное предпочтение члена жюри»
Выбор Татьяны Бонч-Осмоловской (г. Сидней, Австралия)
Специальный диплом «БЕЛАЯ МЕТКА» (выбор редакции журнала «КЛЯП!»)

ЖИЗНЬ В СТА СЛОВАХ

Можно ли описать жизнь человека в ста словах? Родился, закричал, встал и улыбнулся. Мысленно выгаскиваю из памяти и старательно укладываю в заветное число. Вот отец улыбается, несёт таз тёплой воды, чтобы помыть твои холодные ноги зимой, когда отключили отопление. Вот мать, плачет на выпускном – тихо и незаметно в платочек, чтобы «не позорить сына». Марина из соседней приглашает на день рождения подружки – Оли, которая, в свою очередь уже заворачивает твою дочь в пелёнки. Тебе семьдесят девять лет и голуби клюют крошки с подоконника твоего уютного дома. Прихватило сердце в постели и свет... часы отсчитывают последние сто секунд.

АРТЁМ КУЦОЛАБСКИЙ

г. Николаев, Украина

Специальный диплом «Личное предпочтение члена жюри»
Выбор Евгения Харитонова (г. Москва, Россия)

КОГДА КАМНИ ЛЕТЕЛИ В ОКНА КУПЕ – ЭТО БЫЛО СОВСЕМ НЕ СТРАШНО

Я был не я, ты была не ты, они были не они, и только никто был самим собой, в то время как моё стойкое оловянное солнце плавилло нестойкие химические соединения моего деревянного сердца, я мечтал о месте, где смогу тебя не наяву видеть, но никогда не смогу ненавидеть, когда я впервые отправлялся к тебе, проводница сказала мне, нет, не проводница, провидица сказала, «берегись берегов, не бери “бе” в самой верхней октаве, и самое главное...», провидица была цыганкой из Дельф, я слишком поздно вспомнил, что ни слова не знаю по-древнегречески.

АРТУР БЛЕДНЫХ

г. Луганск, Украина

Специальный диплом «БЕЛАЯ МЕТКА» (выбор редакции журнала «КЛЯП!»)

СЕТИ

Проникая сквозь газообразный хрусталь, лучи заплутали в витражах из изумруда и янтаря цвета листьев, что испещрены сетью веток. Потихонечку распутываем прозрачные солнечные нити, чтобы сплести силки для ловли голосов городских птиц: щебет мелких пичуг вызывает чувство пересыпания риса из горсти, карканье ворон подобно трению трёх перекатывающихся стеклянных шариков в ладони, голубиное воркование, как переливание рваной воды, часто попадают пёстрые человеческие голоса, только игольчатый шум улицы ускользает сквозь ячеи, не задерживаясь.

А из теней можно связать тенета для ловли тишины, она ведь такая разная: вязкая, просторная, охватывающая, колокольно – недвижимая, бархатно трогающая отсутствием прикосновения барабанные перепонки, но эта тишина – сумеречная, неполная.

СЕРГЕЙ КОЧНЕВ

г. Санкт-Петербург, Россия

Специальный диплом «БЕЛАЯ МЕТКА» (выбор редакции журнала «КЛЯП!»)

МОНАХ

Всем случалось писать сочинения.

«Кем я хочу стать?» – терзали нас учителя вопросом.

Атенстическая пропаганда прочищала умы детей 70-х.

Но однажды ученик третьего класса обычной ленинградской школы – о, ужас! – старательно вывел:

«Когда я вырасту, то хотел бы стать монахом.

А если я не стану монахом, то тогда я хотел бы стать путешественником. Только я хотел бы путешествовать не на поезде, не на корабле, не на самолёте. Я хотел бы путешествовать в старой скрипучей телеге.

Я бы ехал в телеге, а телега бы скрипела.

Телега бы скрипела и говорила:

Ты не стал монахом...

Ты не стал монахом...

Ты не стал монахом...»

ЕВГЕНИЯ ЧАБАНОВА

г. Николаев, Украина

Специальный диплом «БЕЛАЯ МЕТКА» (выбор редакции журнала «КЛЯП!»)

ПОЛЕВЫЕ ЦВЕТЫ...

...Вы просты и мудры, словно первое слово ребёнка... Словно утренний лучик, коснувшийся неземной улыбки... Он почувствует сквозь доверчиво протянутые навстречу ладошки-листья дрожь необъятной земли... Он поймёт, когда первая капля дождя скатится по щеке – это плачет о нас



заворожённое тучами небо... Лишь редкие окрики птичьих стай мимоходом понесут свою весть за горизонт, где НЕТ ВОЙНЫ...

Обратитесь, о полевые цветы, к чуткому сердцу ребёнка, взывая о спасительной помощи! Отразитесь в бездонно-синих глазах, задрожите под нежными руками прохладным ветром грядущего!.. И, словно вторя вам, окропит тревожные звоны колоколов бушующее небо. Ради нового рассвета.

Тогда он встанет с колен – поймёт, что вырос.

НАДЕЖДА ДЕРМАНСКАЯ

г. Николаев, Украина

Специальный диплом «БЕЛАЯ МЕТКА» (выбор редакции журнала «КЛЯП!»)

ГДЕ-ТО В ГОРОДЕ

Она лежала на грязном больном тротуаре, а сверху шёл дождь. Скупые капли лениво падали на маленький комок слипшихся перьев с раскинутыми крыльями... Холодно...

Мимо проходили люди. Они не могли помочь, да и зачем тратить силы на то, чему всё равно суждено погибнуть? Бессмысленно... Бессмысленно?

Он стоял напротив, на другой стороне улицы. Он смотрел на птицу. Она была ещё жива. Крохотная частичка жизни ещё билась в её измученном теле. Ему нужно было сделать лишь несколько шагов вперёд. Зачем? Есть ли смысл закрывать полумёртвое существо от дождя, зная, что спустя мгновение оно превратится в бездушный комок мокрых перьев? Бессмысленно?

ДМИТРИЙ СЕВЕРЮХИН

г. Санкт-Петербург, Россия

Специальный диплом «БЕЛАЯ МЕТКА» (выбор редакции журнала «КЛЯП!»)

МОЁ МЕСТО

Захожу в автобус, спрашиваю: где моё место? Молчат, кто-то плечами пожимает: вот же, мол, свободно, выбирайте, да садитесь. Да мне ведь моё место нужно, не просто какое-нибудь свободное. И ваше, спасибо, не нужно, а моё, только моё. Вижу – нет здесь моего места. Выхожу, дожидаюсь другого автобуса, но там – то же самое. Плюнул, пошёл пешком. По одной улице иду, на другую свернул, третью пересёк – не нахожу своего места. Часами блуждаю – не нахожу. Никто не хочет подсказать – мимо спешат. Кто улыбнётся, кто отвернётся в ответ. А ведь знают, знают, где моё место, да, видно, не решаются сообщить. Вот и молчат.

АНДРЕЙ БАРАНОВ

г. Москва, Россия

Специальный диплом «БЕЛАЯ МЕТКА» (выбор редакции журнала «КЛЯП!»)

ЛУЖА

Я прыгаю через лужу. Лужа – океан. В ней отражается небо. Небо огромно. По небу плывут облака. Облака то закрывают солнце, то открывают его. От этого огромная тень то накрывает двор, то снова всё горит и сверкает, как новая пятикопеечная монета. Я счастлив, хотя и не знаю об этом. Время течёт

медленно. Так медленно, что можно сказать, совсем не течёт. А облака бегут. И солнце подмигивает, как гигантский светофор. И я снова и снова прыгаю через лужу. Год. Два. Три. Вечность.

Вселенная взрывается, разбегаются миры, потом остывает, сжимается и гаснет. А я всё прыгаю и прыгаю, и не могу остановиться.

СНЕЖАНА ВОЙТЕНКО

г. Николаев, Украина

Специальный диплом «БЕЛАЯ МЕТКА» (выбор редакции журнала «КЛЯП!»)

ВПЕЧАТЛЕНИЕ

Оказалось, невозможно сфотографировать, по крайней мере, на мой фотоаппарат: девятиэтажный склад временного хранения тепла, и реже – счастливых историй, заслоняет лиловую, уплывающую в сирень улыбку отходящего ко сну. Отчего всё будто в раме. А запрокинешь голову – ночь и темнота «в серебряную дырочку», может «в лампочку» – мерцает. В разных сетях разная сила тока, и один дежурный электрик.

У меня очаровательное платье, цвета отдыха в Ялте и такое же короткое, тонкая шаль дымчатых идей и веер – всё прошлых коллекций.

Только потолки строили без учета роста и даже на цыпочках, с табуретки или вершины горы – не дотянусь: другие масштабы.

Может, я дверь перепутала?

НИКОЛАЙ СТОЛИЦЫН

г. Евпатория, Украина

Специальный диплом «БЕЛАЯ МЕТКА» (выбор редакции журнала «КЛЯП!»)

КОЛЫБЕЛЬНАЯ, 1945

Солнце 2-е меркнет, Солнцу 2-му лучше меркнуть быстрее, чтобы ты не проснулся, милый... Мама его погасит, стиснет его в ладонях, стиснет 2-е Солнце... Солнце 2-е сдавит...

Солнце взошло из Штатов, им бы тебя встревожить... Им бы твой сон нарушить, вот и – зажгли 2-е... Мама его погасит, стиснет его в ладонях, стиснет 2-е Солнце... Солнце 2-е сдавит...

Первое Солнце – Бога, нам и его хватало, мы не просили Штаты – нам зажигать 2-е... Мама его погасит, стиснет его в ладонях, стиснет 2-е Солнце... Солнце 2-е сдавит...

Ты не успеешь даже, милый, заплакать горько, яркого... злого света в небе не будет больше.

ЮЛИЯ КОЛЕСНИК

г. Ирпень, Украина

ЛЕС

Разорвётся на части душа. Вдыхаешь запах через запотевшее стекло, а вокруг лес. Имеешь нечеловеческую силу, потому что вокруг только лес. А ночь-день перерастает в утро-вечер и наоборот. Небылица, рассказанная им, воплощается в жизнь и лес оживает своей древней мудростью. Он говорит тебе и остаётся за стеклом, потому что душа никогда не перестанет искать. А ты превращаешься в воду, и начинаешь плыть по лесу, растекаясь маленькими ручейками в его неземных недрах, да так, чтобы потом соединится с елью и снова обрести материю живого. А если земля не впитает тебя, тогда заплывай на каменистую скалу и встречай там солнце.

Оно торжествует.

**МАЛИКА КОЛЕСОВА**

г. Санкт-Петербург, Россия

LE JOUR DE GLOIRE EST

Утром прошаркаю по холодному линолеуму в ванную, буду долго плескаться, шумно умываясь и брызгая водой на кафель, мычать песню про кота, что лучше «Марсельезы». Хотя уже поздно, ведь жена ушла, а «Марсельеза» доводила её меньше, чем я.

Я выйду из дома, споткнусь о дворницкую метлу, ругнусь сквозь зубы, но дворнику улыбнусь, сто лет в обед, а всё на ногах, беззубый апостол.

Я увижу ребёнка на дороге и рвану: раз, два, три прыжка – и вот он грузовик, прямо фарами в плечо. Завтра проснусь, жены никогда было, не было бы ничего, но пусть будет чёртов грузовик.

ВАДИМ ЖАЛЮК

г. Житомир, Украина

УРБАНИЧНОЕ

I

Люк вздрагивает, шинами авто. Особенно, когда убаюкивает, разменивает покой протекторами.

II

Воспоминания испещрены номерами страниц, до звонка будильника ещё тридцать секунд. Самое время согреться.

III

Выходные-выхлопные: всплывают воспоминаниями, отцветший одуванчик вспархивает с воротника игривой бабочкой.

IV

Жара. Первая. Вода каждой щелочкой пальцев жаждет меня. Мою посуду. Недавно стирал. Может, чаю? Жара впитывает всё.

V

Блокируем на собственных мобильниках время. Мудрецы пытаемся что-то доказать.

VI

Душа напоминает небеленную печь. Эстетика, как попытка ритуала.

VII

Утихай, моя крамола. За! Ты? Пусть моя... За? Ты! Пусть... Может, я? У веры режутся зубы.

VIII

Душу достаточно апокалечить... Вкус свободы – в принятии решений.

«ШКАФ»

ЕВГЕНИЙ ГОЛУБОВСКИЙ

От редакции: В 2012 году в Одессе вышла книга избранного Ефима Зозули. Писатель, который начинал в Одессе в 1911 году, вновь вернулся в наш город своими произведениями. Вступительную статью Евгения Голубовского к этой книге мы предлагаем читателям нашего журнала.

МНОГО ЗВАННЫХ, НО МАЛО ИЗБРАННЫХ

Эта евангельская формула всё время была в памяти, весь год, что я думал о книге Ефима Зозули, о значимости его творчества, о несправедливости судьбы, оставившей этого писателя не просто вне контекста русской литературы, но, по сути, вне современного корпуса сочинений русских писателей.

Думал о том, что именно из Одессы должно начаться второе прочтение Ефима Зозули, из города, где сто лет назад, в 1911 году, он, двадцатилетний юноша, вошёл в ряд блистательных одесских фельетонистов.

Иногда говорят: складываются карты. Я бы сказал, что складывались числа. 10 декабря 1891 года, сто двадцать лет назад, будущий писатель родился в Москве, детство его прошло в Лодзи, юность в Одессе, где он и стал популярным литератором. Уже в 1914-м году его пригласили в Петербург, затем были Москва, Киев и вновь Москва...

В зловещие тридцатые, когда арестовывали ближайших друзей, его не арестовали, но просто перестали печатать, и каждый день казалось, что за ним придут... Но не пришли. А 23 июня 1941 года, на второй день войны, пятидесятилетний писатель пришёл в военкомат и записался добровольцем в ряды Московского ополчения.

Он погиб подо Ржевом, в страшной ржевской мясорубке, 3 ноября 1941 года, семьдесят лет назад.

У Александра Твардовского есть стихотворение, читая которое не могу не думать о Ефиме Давидовиче Зозуле, хоть написано оно в память о тысячах павших.

*Я убит подо Ржевом,
В безымянном болоте.
В пятой роте, на левом,
При жестоком налёте...*

Но вернёмся к литературе – к делу жизни Ефима Зозули.

Дмитрий Карамазов в романе Ф.М.Достоевского произносит фразу, позже растасканную на цитаты: «широк человек, слишком даже широк, я бы сузил».

Кажется, этой решимостью «сузить» пользуются «большие» издательства. Вернули читателю Булгакова и Платонова, Пастернака и Мандельштама и многих других замечательных писателей и поэтов. Но остаются в забвении Андрей Новиков, сатирик, близкий друг Андрея Платонова, Леонид Грабарь, сатирик, которого почитал Михаил Зощенко, сатирик Михаил Козырев, написавший первый рассказ в Одессе в 1921 году, а в 1942-м расстрелянный за «сатиру на советскую власть»...

Таким же образом «сузили» Ефима Зозулю. В 1928 году в издательстве «Земля и фабрика» выходит его собрание сочинений в трёх томах (четвёртый не вышел, хоть был объявлен), издательство «Academia» выпускает сборник статей о Зозуле, среди авторов которого Анатолий Луначарский, Леонид Гроссман, Михаил Кольцов... Но это в двадцатые, а в тридцатые роман «Мастерская человеков», несмотря на конформистское предисловие прерывают в печати – в журнале «Молодая гвардия»... После Великой Отечественной войны, в 1962 году был выпущен куцый сборник рассказов погибшего на фронте писателя с издевательским названием «Я дома». И всё – дальше безмолвие.

Посмотрел Интернет. Признаюсь, обрадовался. Во Всемирную сеть выложен роман «Мастерская человеков», рассказ «Граммфон веков», воспоминания Е.Зозули «Сатириконцы».

Но ещё больше обрадовало то, что есть читатели, для которых и сегодня Ефим Зозуля в числе самых любимых писателей. Вот абзац из текста в «Живом журнале», автора под ником «necrodesign»: «В этом году исполняется 120 лет



со дня рождения одного из моих самых любимых писателей. Интересно, хоть кто-нибудь вспомнит? Выдающийся писатель. Да, все мы знаем Оруэлла, Замятина, но почему-то творчество Ефима Давидовича всегда оставалось в тени, что ещё больше привлекает моё внимание. Вполне возможно, что прямая подача его произведений воспринималась (точнее не воспринималась) критиками и обществом как удар сапогом в лицо! Или даже как плевок в общество. Поэтому на его произведения внимания не обращали. Подумать только, единственное издание – трёхтомник – был издан один раз ещё до Войны и больше ни разу не переиздавался!!!

Критику его я почти не читал, да и нет её вовсе. Только последнее время в Интернете можно было найти отрывки из его биографии.

Значит, действительно, широк человек и не сумели его ни сузить окончательно, ни унижить. Поэтому так важно прогнать энтропию культуры, а значит, переиздавать забытое, а то и украденное у нас, публиковать сохранившиеся в архивах тексты.

Как уже было сказано, в журналистику, в частности, в одесский журнал «Крокодил» Ефим Зозуля пришел в 1911 году. Но рассказ о его творчестве я хочу начать не с Одессы, даже не с Петербурга, где Зозуля был ответственным секретарём и, естественно, автором знаменитого «Нового Сатирикона», редактируемого Аркадием Аверченко. Большим писателем (не из «званных», а из «избранных») он стал после Октябрьского переворота, осознав не только, что происходит, но и что может произойти.

«Новый Сатирикон» закрыт большевиками, Аверченко эмигрирует, Зозуля уезжает на юг, в Киев.

И вот здесь, в городе, Гражданскую войну в котором мы обычно представляем по «Белой гвардии» М.Булгакова, весной 1919 года вышел первый и, как оказалось, последний номер журнала «Зори».

Редактировал его эсер-боевик С. Мстиславский. Затевался журнал в феврале при Директории, вышел в марте при большевиках как орган Наркомпроса, открывался «Рассказом об Аке и человечестве» Ефима Зозули. Можно сказать, что отдел прозы и «закрыл» этот журнал.

Если бы Зозуля не написал ничего, кроме этого текста, – тогда ещё не было термина «антиутопия», – он вошёл бы в большую литературу. С этого рассказа начались его гротескные, фантастические, но одновременно сатирические произведения. Много позже, для серии ЖЗЛ Е.Зозуля вместе с А. Дейчем напишет книгу о Свифте. Мне кажется, что уже в 1919 году Зозуля думал о Свифте, проникся гневом и иронией Свифта.

Жанр «Рассказа об Аке и человечестве» в двадцатые годы, когда его переиздавали, пытались определить как философскую сказку. Красиво, но ложно. Перед нами антиутопия, издевательская и точная в своём провидении. Уже опыт первых полутора лет советской власти подсказал Ефиму Зозуле сюжет фантастический и, увы, реальный.

Если до двадцатого века, начиная с Платона, Кампанеллы, Томаса Мора вплоть до Жюль Верна утопии были достаточно распространённым, а главное, позитивным, дающим надежду, жанром, то двадцатый век, с его кровавой историей, создал жанр антиутопий – мрачных пророчеств, основанных на реалиях исторической повседневности.

О чём же этот рассказ, так высоко мною ценный?

Переворот. Коммунистическая доктрина в действии. Хотя подобные слова не названы. Всем изначально сулят блага. Но во главе – диктатура и диктатор. Название-то какое придумал Зозуля для правительства – «Коллегия Высшей решимости». А чтобы всем было хорошо, а всех оказывается, как всегда, много, нужно вначале уничтожить «нежизнеспособных». И начинается «проверка права на жизнь», чтобы, как обещают оставшимся, проложить обещанный путь к светлому будущему.

Диктатор Ак (нужно думать, партийный псевдоним) мне кажется, карикатурно высмеянный Ленин. Но поскольку в 20-е годы этого категорически никто не замечал, не буду упорствовать, это может быть и Ленин, и Троцкий, и Сталин, и далее по Краткому курсу истории ВКП(б). Ак иногда жалеет человечество и тогда прячется среди папок с делами «нежизнеспособных». НЭП что ли готовит? А потом машина вновь запускается в действие. Машина уничтожения.

Нельзя сказать, что у «Рассказа об Аке и человечестве» не было внимательных читателей. Большое впечатление этот текст произвел на Евгения Замятина. В это время он размышлял над своим романом «Мы», законченным в 1920 году. В современном литературоведении именно с этой книги Замятина идёт отсчет антифашистским и антикоммунистическим утопиям. Так, в главном герое романа Замятина Д-503 уже проглядывает предупреждение о будущем герое Александра Солженицына – Иване Денисовиче Шухове под лагерным номером Ш-854 и о миллионах других «Иванах Денисовичах»...

Но вернемся в 1919 год. Какой выход предлагал Ефим Зозуля? Лучше народу станет лишь тогда, когда очередной Ак решит уйти из страны, из города, из пространства жизни.

Но ведь не уходят сами...

Разговор о творчестве Ефима Зозули я начал с рассказа, написанного в Киеве в 1919 году. Но еще в 1918-м, в Петрограде, он написал и опубликовал рассказ «Гибель Главного Города». Тут представлена война миров (почти по Г. Уэллсу), побеждают так называемые демократы. Как тут не вспомнить не только Замятина, но и Оруэлла и Хаксли.

«Особым декретом победителей правительство Главного Города было смещено, а парламент распущен.

Вместо того и другого победители предложили Главному Городу выбрать "Правительство Покорности" из шести человек.

1. *Министр Тишины. Его задача – сведение шума Главного Города к минимуму, чтобы не тревожить обитателей будущего Верхнего Города.*

2. *Министр Вежливости. На его обязанности – оградить кадры рабочих и инструкторов, строящих Верхний Город, от агитации, эксплуатации чувства жалости, а также от оскорблений, насмешек и причинения всяческих неприятностей.*

3. *Министр Ответственности. Он отвечает за благонадёжность жителей Главного Города, гарантирует путём создания строго научной системы абсолютную физическую и психологическую невозможность покушений снизу на благополучие и спокойствие Верхнего Города.*

4. *Министр Количества. Обязанность – нормировка и, если нужно, сокращение прироста населения, чтобы перегруженность Главного Города не отразилась как-нибудь на благополучии Верхнего Города.*

5. *Министр Иллюзий. Обязанности – грандиозными декорациями создавать иллюзию неба, где это представится возможным.*

6. *Министр Надежд.*

Последний должен развивать в жителях Главного Города дух мудрой надежды на улучшение обстоятельств в будущем».

Естественно, нет возможности прокомментировать все рассказы о гражданской войне, послевоенном беге, библейские притчи, роман, то есть всё то, что включено в этот том избранного.

Отдельным томиком можно было бы представить Ефима Зозулю-фельетониста, собрав его произведения одесского периода. Только для сопоставления в этой книге помещены в приложении два цикла микроновелл из одесской газеты «Понедельник» за 1913 год. Их предваряет глава из статьи Михаила Кольцова об одесской странице в жизни Е.Зозули.

Мог быть томик рассказов Ефима Зозули о Москве 30-х годов. Выбрано из написанного то, что и сегодня воспринимается как переключка дней прошлых с днями настоящими. Предостерегает от утопий.

Книги Зозули оставались в научных библиотеках, а статья М.Кольцова, открывавшая первый том собрания сочинений, вслед за автором, была «изъята» – ножницами во всех десяти тысячах экземпляров вырезана. Но были такие «зловредные» книги, мало того, что по приказу их следовало уничтожать, но по одному экземпляру их – отправляли в спецхран. И когда «перестройка» от-

крыла спецхрана, оказалось, что академический томик статей о Зозуле сохранился, а там и статья Михаила Кольцова.

Кстати, познакомились Кольцов и Зозуля в 1918 году при Гетманщине в Киеве, оба переехали в Москву, вместе задумали и осуществили в 1923 году проект – создание общесоюзного массового журнала «Огонёк». Позднее Ефим Зозуля придумал «Библиотечку «Огонька», самое массовое издание стихов и прозы.

В двадцатые годы Ефим Зозуля продолжал напряжённо писать. Его уже тянуло к большим формам – романам. Но то, что он хотел сказать своему читателю, оказалось непроходимым для советской цензуры.

В этой книге читатель может прочитать один из двух писавшихся романов – «Мастерская чело-веков». Не испугайтесь «паровозиков» – двух авторских предисловий, которые, он надеялся, вывезут роман к читателю. Не помогло. Как и ссылка на какую-то речь Сталина на последних страницах. Цензура была уже изощрённее и беспощаднее, чем в двадцатые годы. Критики «в штатском» сразу же дали сигнал, что под видом фантастического романа высмеивается как механистическая, так и идеологическая попытка искусственно создать нового гомункула – «идеального человека». Читаешь, какой «материал» для этих опытов находили герои Е.Зозули – учёные в СССР, и понимаешь всю абсурдность этого эксперимента.

Надеемся, что инициатива в возрождении интереса к творчеству Ефима Зозули, проявленная в Одессе, во Всемирном клубе одесситов, найдёт продолжение в Москве, что будут опубликованы тексты, хранящиеся в Российском государственном архиве литературы и искусства, что читатель сможет оценить этого писателя, во многом опередившего свое время.

В 1928 году в автобиографии Ефим Давидович Зозуля писал: «...хочу много работать. Хочу долго жить. Литература – тягучее, хлопотное, длинное предприятие. Для того, чтобы серьёзно заняться ею, нужно сорок-пятьдесят лет, а для этого надо дожить хотя бы до семидесяти пяти лет...»

Судьба распорядилась иначе, он погиб пятидесятилетним. Но в литературе успел поработать.

Взглянул на списки тысяч книг, предлагаемых Интернет-магазинами. И вновь повторил про себя: много званых, но мало избранных. А я убеждён: место Ефима Зозули среди избранных.

ВЛАДИМИР ГУТКОВСКИЙ**«ВЕЧНЫЙ ВОРОН КРУЖИТ, СЛИШКОМ ВЕЩАЯ ПТИЦА...»**
(рецензия на книгу Василя Шкляра «Чорний ворон». – Киев, 2009)

За два минувших года роман выдержал уже несколько изданий.

Под слегка различающимися названиями: «Чорний ворон», «Залишенець», «Залишенець (Чорний ворон)». И в аутентичном варианте. И в полтикорректно подкорректированных сообразно текущему моменту редакциях.

Речь об этом произведении зашла с момента его появления. Почти всегда на повышенных тонах. Особый накал дискуссия приобрела после того, как в 2011 году комитет по шевченковским премиям (с перевесом в один голос) назвал этот роман и его автора лауреатами самой почётной и весомой украинской премии в области искусства. Мнения «за» и «против» зазвучали с особым остервенением. Натуральный скандал образовался.

В результате Президент исключил имя Василя Шкляра из текста соответствующего указа. Тут же сторонники писателя бросили клич о сборе средств на народную шевченковскую премию. Как ни странно, деньги были оперативно собраны и, как ещё более ни странно, вручены по адресу. Поскольку с предыдущим творчеством этого автора я знаком не был, то предвительно обратился за консультациями к компетентным экспертам.

Из слов которых я уяснил, что Василь Шкляр не какой-то человек с литературной улицы, а известный и авторитетный писатель. После чего приступил к чтению его романа безо всякого предубеждения.

Прежде всего для меня стало очевидным, что написан он высокопрофессиональным литератором. Продуманный сюжет, чётко выстроенная композиция, впечатляющая система художественных образов, яркая и выразительная языковая палитра – всё это оставляет самое благоприятное впечатление. Во всяком случае читал я роман с неослабевающим интересом. Другое дело – стану ли я его перечитывать? Посмотрим...

Приступим к более конкретному анализу. Автор и уверенно держит в руках приводы интриги сюжета, и умело и своевременно дёргает за нужные ниточки. В романе органично уживаются самые разнообразные жанровые пласты. И элементы эпики. Взгляд сверху и со стороны очами вечного ворона пусть и не слишком оригинален, но вполне уместен. И детективные ходы типа «Свой среди чужих, чужой среди своих». И эстетика приключенческой повести в форме национального «истерна». И трогательные «лав стори», пересекающиеся и разветвляющиеся. Следует отметить, что описания любовных сцен у автора выходят и мощно, и чувственно, и деликатно одновременно. И щедрая доза и доля лубка. Как же без этого обойтись при описании народной жизни? Можно только удивляться, как столь разномастные образные

приёмы не раздирают текст на отдельные клочки, а умелой рукой писателя органично вплетаются в общую ткань романа. Тем не менее...

Не знаю, какой вариант произведения мне выпало читать – исходный или приглаженный (по всей видимости, последний, так как ничего особо остро национального я не углядел). И какую перед собой задачу ставил автор (на самом деле). Но, на мой взгляд, мифологизация национальной идеи получилась у него очень косвенной и по касательной к тексту. Поскольку, опять же на мой взгляд, противопоставление проходит не по линии украинцы – все остальные (москали, латыши, жида, китайцы и т. д.), а в лучших традициях массовой литературы: свои – чужие. С окарикатуренными врагами и обладающими чуть ли не сверхъестественными способностями героями обоих полов. Как сказано у Дж. Пристли «мужественные мужчины, женственные женщины».

В такой схеме национальный вопрос носит, в целом, вспомогательный и во многом декоративный характер. Несмотря на отдельные крепкие словечки и определения, предназначенные, скорее, для возбуждения общественного аппетита.

Заявлялось, что роман основан на щедрых вкраплениях новых и чрезвычайно секретных документов. Документов в тексте действительно много. Но все они какие-то вялые, маловыразительные, ничего не прибавляющие к уже имеющимся представлениям. Думается, если бы автор подобные документы сам художественно сконструировал, то эффект был бы куда более сильным.

Похоже, что социальные компоненты этой истории интересуют автора куда меньше, чем красочные повороты сюжета. Он деликатно обходит вопрос, почему же выродился и сошёл на нет столь романтический порыв, который олицетворяют его герои. Наверное, дело в том, что социальная база сопротивления оказалась куда уже национальной. В результате борьбы то, что реквизирувала у селян «советська» власть, так к ним и не возвращалось, а перераспределялось в пользу борцов за идею. И по-крестьянски сметливые братья-гречкосеи в конечном итоге предпочли повседневную, пусть и очень скромную жизнь приключениям на свою голову.

Пассионарии всегда в меньшинстве. Да, они придают жизни смысл. Но, в основном, только своей. Один из гиперболизированных водоразделов романа проходит по языковой меже. Когда герои («наши») изъясняются на литературном украинском языке, а чужие злодеи патякают на некоем пародийном наречии.

Лично мне кажется, что в то смутное время и в том регионе эти две противодействующие язы-

ковые струи реально были куда ближе друг другу и куда дальше от идеализированных представлений о них.

Итак, мы имеем дело с крепко сложенным, умело выстроенным, уверенно выписанным и без каких-либо преувеличений очень значительным произведением современной литературы. Именно, что литературы. Это и достоинство, и, увы, недостаток. Литературой можно увлечь и завлечь, но поставить (и, возможно, приблизиться к решению) проблем бытийного, метафизического плана способны произведения (откровения) совсем другого уровня. А здесь, по сути, мы имеем дело с просто очень хорошей беллетристикой.

Ни до народной эпопеи, ни до манифеста национальной идеи роман, мне кажется, не дотягивает. Не «Тихий Дон», короче.

А премии он, безусловно, заслуживает. Если рассматривать современный литературный ландшафт, то они (роман и премия) вполне равновесны и друг другу полностью соответствуют. И все завихрения вокруг этого, по-видимому, всего лишь следствие амбиций литературных кланов.

Я позволил себе озаглавить рецензию строчкой из своего стихотворения. В финале романа рухнул оземь и окончил свою трёхсотлетнюю жизнь заглавный чёрный ворон. Очевидно, он понял – для того, чтобы пережить годы лихолетья, время междоусобных схваток и смуты, никакой жизни не хватит.

Страсти по роману Василя Шкляра – тому подтверждение.

«ВЕСТИ С ПОЛЕЙ»

ОДЕССКИЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ НОВОСТИ

29.01.2012. Одесса, Золотой зал Одесского литературного музея. Презентация второго номера журнала «Южное Сияние».

Первый, осенний номер ежеквартального журнала «Южное Сияние», издающегося в рамках программы городского совета «Сохранение и развитие русского языка в Одессе», вышел в сентябре прошлого года и был презентован редакцией и авторами в Одессе, Киеве, в Крыму, Приднестровье и неоднократно – в Москве. Журнал является официальным печатным органом Южнорусского Союза Писателей, но публикует произведения как своих авторов, так и других интересных и известных писателей всего русскоязычного мира.

Во второй номер журнала вошли произведения сорока авторов – писателей Одессы, Ильичёвска, Москвы, Киева, Харькова, Ростова-на-Дону, Николаева, Ялты, Питкяранты (Карелия), Гомеля, Полоцка, Алматы, Барнаула.

«Может быть, кому-то это новое издание покажется провинциальным, но я не считаю это недостатком, а наоборот, считаю главным преимуществом данного журнала. Ведь провинция всегда была источником ясных мыслей и непрдуманных историй. Это в провинции еще можно встретить истинные чувства в живой форме и наяву наблюдать неподдельные трагедии. Это уже потом в столицах и метрополиях, взяв всё это в чистом виде, получают модный и гламурный слав из слов и понятий, именуемый современной литературой, а провинция, как сто, двести и тысячу лет назад, не спеша, хоть иногда скучновато, но всегда искренне и непринуждённо, продолжает свой ход, рождает все новые и новые таланты, обнаруживает казалось бы известные и привычные, но так никем до конца и не изученные страсти, наступая на те же самые вечные грабли под названием “Жизнь”!»

Дмитрий Фус

«Журнал “Южное Сияние” возможно, вызовет споры. Он – неожиданный, так не похож на классические столичные “толстые” журналы – ни концепцией, ни художественной позицией, но ничуть им не уступает. Высказываются сейчас мнения и о том, что слишком разные авторы, принадлежащие к разным школам, попали под его “тень”. Но это не беда, это принципиальная позиция редакции – читатель найдёт примеры разных литературных школ, а для редакции задача – выстроить материал таким образом, чтобы он смотрелся целостно и органично.»

Алексей Омельченко

15.02.2012. Одесса, Всемирный клуб одесситов. Презентация поэтической книги Евгении Краснояровой «Водяные Знаки».

Презентация второй поэтической книги Евгении Краснояровой «Водяные Знаки» состоялась на очередной встрече литературного клуба «Зелёная лампа», в рамках работы которого была издана.

«Обложка будоражит – спокойно море, но кровав закат, а линия горизонта светла! Фоторабота Александра Якимчука. Художник книги Елена Ильичева. . . При чтении книги выстраивается картина целостного авторского мира, дробящегося внутри отдельных стихотворений, находящихся в сцепке смысловой и чувственно-лингвистической. Сцепка не жестка – текуча: “Вода благоволила литься. . .”. Не случайно вспомнила я стихотворение Леонида Мартынова, парадоксальна сшибка смыслов стихотворных текстов Е. Краснояровой и этого прозрачно-холодного стихотворения Л. Мартынова. Работающий на читателя парадокс – “Водяные знаки” – проступает сквозь тексты Евгении так же ясно, как живая жизнь сквозь дистиллят, описываемый в прозвучавшем когда-то стихотворении Л. Мартынова. Вот, первый знак в первом же стихотворении Е. Краснояровой “Русские ангелы”: “Светлые духом будут стоять как сосны – . . . / . . . Будут – как Солнце”. И, далее в глубь течения книги: “Всё река. . . / Воды движут себя, воды движут молекулы судеб. / День встаёт на крыло, день надёжно стучится в окно – / Будем. Будет”».

18.02.2012. Одесса, ДК Медицинского работника. Презентация «Одесского литературного центра». Поэтический вечер «И было слово...».

«Одесский литературный центр» – новая общественная организация, главной целью которой является возрождение и расширение читательской аудитории, развитие славных литературных традиций Одессы, воспитание молодежи. Литературный центр задуман, в том числе, и для контактов читательского и писательского сообществ между собой посредством проведения ряда мероприятий различных форматов и периодичности, привлечения библиотек и учебных заведений города к современной одесской литературе и её истории. О начале работы организации рассказали Председатель ООО ВТС КЛУ и ЮРСП Сергей Главацкий, Председатель Одесской региональной организации Союза журналистов Украины Юрий Работин и Председатель «Одесского литературного центра» Элла Леус. В рамках презентации состоялся поэтический вечер «И было слово...», на котором звучали стихи одесских поэтов: Людмилы Шарга, Евгении Краснойровой, Ирины Дубровской, Игоря Павлова, Ильи Рейдермана, Анны Стреминской, Леонида Якубовского, Веры Зубаревой, Инны Богачинской, Сергея Нежинского и др. В музыкальной части вечера Алексей Семенищев спел под гитару сонеты Юрия Михайлика и отрывок из поэмы Анатолия Гланца «Одесса».

«Необходимость поиска читателя – тенденция нашего времени. И тем лучше, что есть в нашем городе люди, которые принимают эту необходимость, помогают двум берегам встретиться. Создание Одесского литературного центра – ещё одна веха в культурной истории города, и, надеемся, деятельность его будет не просто уступкой времени, а ещё одним оплотом людей культуры, людей, которым нужно Слово, и которые будут его беречь...»

Полина Иванова

29.02.2012. Одесса, кафе «Промсвязь». Первая встреча в литературном салоне «Среда».

29 февраля в кафе завода «Промсвязь» им. В.М. Комарова в рамках совместной программы Одесского литературного центра и ЮРСП, открылся Литературный салон «Среда». Инициаторами воссоздания доброй традиции литературных салонов в Одессе выступили Председатель Одесского литературного центра, член ЮРСП Элла Леус, учредитель Одесского литературного центра, член НСПУ Олег Дрямин и Председатель ЮРСП Сергей Главацкий.

«По задумке организаторов, салон “Среда” должен стать уникальным пространством для общения читателя с авторами. И действительно, читатели, зрители и слушатели смогли пообщаться в неформальной обстановке не только с организаторами, авторами и исполнителями, но и между собой. Обсудить одесские новости, приобрести литературные новинки и, получив автограф от автора, иметь счастье задать вопрос автору – именно в этом и есть цель подобных литературных встреч».

Евгения Самойлова

18.03.2012. Одесса, Малая гостиная ДК Медицинского работника. Презентация медийного проекта «Интеллигент».

Международный медийный проект «Интеллигент» был создан в августе 2009 года и включает в себя три одноимённых литературно-публицистических газеты – номера «Провинциального интеллигента» (именно таково полное название проекта) выходят в Москве, Санкт-Петербурге и США. Одним из учредителей газеты является Сергей Пашков (Россия). Главный редактор – Наталья Крофтс (Австралия). Гостям вечера были представлены три выпуска газеты: два за прошлый год и новый – зимний выпуск 2012 года. В июньском номере за 2011 год (USA) было опубликовано интервью Натальи Лайдинен с главным редактором философского журнала «Гостиная» Верой Зубаревой. Здесь же были впервые представлены одесские поэты. В осеннем выпуске газеты (Москва) состоялась публикация двенадцати поэтов, членов Южнорусского Союза Писателей. В декабрьском выпуске 2011 года (Санкт-Петербург) наряду со стихами Сергея Главацкого, Ирины Василенко, Юлии Мельник, Юлии Петрусевичотте, Веры Зубаревой, были опубликованы и прозаические миниатюры Ирины Дубровской и Людмилы Шарга. Первый (зимний) выпуск газеты «Интеллигент» за нынешний год (Санкт-Петербург) опубликовал на своих страницах прозу Ольги Ильницкой, стихотворения Семёна Абрамовича. Таким образом, за неполный год на страницах газеты были представлены 18 авторов из Одессы.

«В исполнении почётной гостьи вечера – актрисы Одесской Государственной филармонии, лауреата муниципальных премий К.Паустовского и И. Рядченко, мастера художественного слова Елены Кукловой прозвучали стихотворения Веры Зубаревой, Инны Богачинской, Ирины Дубровской. Зрители смогли услышать и авторское чтение – свои стихи читали поэты: Александр Хинт, Марк Эпштейн, Евгений Голубенко, Владислава Ильинская, Александр Семькин, Семён Абрамович, Анна Стреминская... Малая гостиная Одесского дома медработников была полна, и именно этот факт особенно радует. В Одессе литературные процессы не затихают, на различных площадках города проходят вечера, встречи, презентации. Одесский читатель, как и одесский зритель, весьма и весьма искущён в областях театральных и литературных. Тем приятнее было чувствовать живой, неподдельный интерес к газете: люди подходили, интересовались, где и как можно найти газету в нашем городе, как выйти на электронный вариант издания».

Людмила Шарга



24.03.2012. Ильичёвск, выставочный зал Музея изобразительных искусств им. А. Белого. Литературный вечер, посвящённый Всемирному дню поэзии.

На празднике, подготовленном проектом «Территория Ё» (руководитель – член ЮРСП Ирина Василенко) и ЛИТО им. В. Домрина, прозвучали стихи поэтов, чьи имена связаны с Ильичёвском: Марины Хлебниковой, Василия Сагайдака, Алексея Свитлыча, Владимира Домрина (блок «Свеча памяти»). Свои стихи прочли Ирина Василенко и Александр Семькин (ЮРСП), Леонид Кулаковский и Таисия Сапрыкина, Елена Преображенская и Инна Василькова, Иван Гаврюк и Алла Иванова. Прекрасным музыкальным дополнением стали авторские песни Ксении Степенко и трио «Мистраль», а также выступление молодых театральных актёров Павла Пугачёва и Ольги Демидась.

«Для начала – одна цитата: “Вы знаете, почему стихи принято читать, стоя на табуретке? Это для того, чтобы если гостям вдруг станет скучно, они могли, лёгким движением ноги выбив табуреточку, вежливо закончить вечер поэзии”. Этот шуточный способ совершенно не пригодился участникам и гостям литературного праздника, посвящённого Дню поэзии. С первых минут в зале, где для благодарных слушателей звучали поэтические строки, воцарилась тёплая непринуждённая атмосфера. Зал с замиранием сердца слушал нежные лирические стихи Ирины Василенко, аплодировал мастерству Александра Семькина, смеялся вместе с Дмитрием Фусом, благодарно откликнулся на выступления Таисии Сапрыкиной, Леонида Кулаковского, Елены Преображенской – и смело окунался в незнакомый мир молодых поэтов.

Поэзия – самая нематериальная субстанция. Нет ничего более хрупкого, чем Слово. Но нет и ничего более пронзающего сердце и душу, и остающегося в памяти и в истории. Такие праздники позволяют не только состоявшимся авторам показать своё творчество, но и молодым окрепнуть крыльями для новых полётов. . . ».

Тина Шишканова

24.03.2012. Одесса, Всемирный клуб одесситов. Презентация книги одесского поэта Ильи Рейдермана «Я».

Праздновать Всемирный День поэзии ЮРСП в этом году решил обширно: 18 и 25 марта литературные вечера прошли – в Одессе, 18 и 25 марта – в Измаиле, 21 марта – в Москве, 24 марта – в Ильичёвске. . . Одним из событий, приуроченных к профессиональному празднику, стала презентация очередной, одиннадцатой по счёту поэтической книги члена ЮРСП Ильи Рейдермана во Всемирном клубе одесситов. Сборник получил название «Я».

«Напомнить читателю об “идее единства человека с миром”, о “связи всего со всем” – цель очередного поэтического сборника Ильи Рейдермана, составленного из стихотворений-медитаций, которые, по мнению автора, “можно рассказать только близкому – да и то в ту минуту, когда он ничем не озабочен и не готов отмахнуться от этого, как от незначущего пустака”.

Полина Иванова

25.03.2012. Одесса, Золотой зал Одесского литературного музея. Всемирный День Поэзии. Презентация третьего номера журнала «Южное Сияние».

Присутствовавшие на презентации члены редакционной коллегии журнала говорили и о его дальнейшем развитии, и о современной литературе в целом. Алексей Торхов отметил, что именно «Южное Сияние» послужило «наглядным примером» для того, чтобы привлечь общественность и городские власти города Николаева к проблеме регионального журнала. Гости мероприятия – Председатель Союза писателей Приднестровья Валерий Кожушник и руководитель Бендерской организации Союза писателей Приднестровья Леонид Литвиненко – поздравили и редколлегию журнала, и его будущих читателей с выходом в свет третьего номера, рассказали о выходящем в свет уже более десяти лет издании «Литературное Приднестровье», печататься в котором с радостью пригласили и одесских литераторов. В литературном вечере приняли участие авторы всех трёх номеров «Южного Сияния». На мероприятии состоялось праздничное вручение писательских удостоверений членам Южнорусского Союза Писателей.

«Считается, что самые древние стихи относятся к 23-му веку до нашей эры. И были это – гимны. Автор их – поэтесса-жрица Эн-хеду-ана (En-hedu-ana), про которую известно лишь то, что она была дочерью аккадского царя Саргона, завоевавшего Ур (территория Ирана). Эн-хеду-ана писала о лунном боге Нанне и его дочери, богине утренней звезды Инанне.

И здесь луна и звёзды – сокрушённо вздохнёт читатель. Неужели нельзя о чём-то другом?

Можно, конечно. Дело ведь не в том, о чём писать, главное – как. Вот о том, как писать, и что читать из того, что написано, и шла речь на презентации третьего в целом и первого в этом году, весеннего номера Одесского литературно-художественного журнала «Южное Сияние». Номер вместил в себя произведения почти сорока авторов из Одессы, Измаила, Минска, Москвы, Николаева,

Кыштыма, Ростова-на-Дону, Киева, Сяэла, Польши. . . А Золотой Зал Одесского литературного музея приветливо распахнул свои двери не только для одесситов – авторов журнала и читателей, но и для многочисленных гостей».

Людмила Шарга

«После выступления редколлегии журнала основатели Южнорусского Союза Писателей Сергей Главацкий, Олег Дрямин и Евгения Красноярова вручили писательские удостоверения организации членам Южнорусского Союза Писателей, тем, кто давно работает в сфере одесской литературы и радуется читателей талантливыми произведениями, кто уже выпустил свои книги. А главное, тем одарённым писателям, которых многие годы не принимали в Союз Писателей Украины только потому, что они пишут на русском языке, а не на украинском. Так, в этом году в ЮРСП были приняты Алексей Торхов (Николаев), Надежда Агафонова (Николаев), Марина Матвеева (Симферополь), Лев Болдов (Москва-Ялта), Вадим Скирда (Ростов-на-Дону), Евгения Бильченко (Киев) и Мария Малиновская (Гомель), и на данный момент в писательском союзе состоит 65 авторов, 43 из которых живут в Одессе. Сергей Главацкий подчеркнул, что Южнорусский Союз Писателей является на данный момент единственной писательской организацией в стране, защищающей интересы русскоязычного писательского большинства».

Элла Леус

07.04.2012. Москва, Библиотека имени М. Волошина. Презентация второго номера журнала «Южное Сияние».

7 апреля в Библиотеке имени М. Волошина в Москве в рамках Музыкально-поэтического салона Творческого объединения «Созвездие Видений», приуроченного ко Всемирному дню поэзии, была проведена презентация второго номера Одесского литературно-художественного журнала «Южное Сияние». Главный редактор издания Станислав Айдинян рассказал собравшимся об издании и авторах второго его выпуска, о том, как создаётся издание, об одесских и московских литераторах, причастных к выпуску журнала, который благодаря всемирной паутине становится всё более читаемым и оттого известным, гостям вечера была представлена поэзия одесских авторов «Южного Сияния». Среди участников вечера выступал автор первого номера журнала известный московский поэт и философ Константин Кедров.

«Можно быть уверенным, что журнал достойно исполняет свою основную функцию – налаживает литературные мосты между Одессой и всем литературным русскоязычным миром, участвует в поддержании существования единого русскоязычного культурного пространства. Так, помимо его бумажной версии, читатель может ознакомиться с изданием и в сети – издание принято в состав Евразийского журнального портала “МегаЛит”, который объединяет провинциальные, “нестоличные” журналы, и нового журнального портала “ЛитБук”, который стремится объединить все “толстые” русские литературные журналы. Есть страничка журнала и на официальном сайте Южнорусского Союза Писателей ursp.org».

Алексей Омельченко

25.04.2012. Одесса, кафе «Промсвязь». Третья встреча в литературном салоне «Среда».

Очередная встреча одесских писателей и читателей состоялась в последнюю неделю апреля в традиционном месте. В поэтическом вечере приняли участие три одесских автора – именно такой формат показался организаторам наиболее подходящим и именно современную женскую поэзию решено было представить на этот раз гостям салона. Свои новые стихотворения читали молодые одесские поэты, члены ЮРСП Тася Алек, Ксения Александрова и Владислава Ильинская.

«Три автора – три одновременно женских и, вместе с тем, непохожих друг на друга взгляда на жизнь, на творчество и искусство. Энергичные, убедительные стихи Владиславы Ильинской о судьбе человека, умеющего чувствовать и видеть – и Вселенское одиночество, и Вселенскую красоту. . . Философия отношений между мужчиной и женщиной, “пытка взросления” – в стихотворениях Ксении Александровой. . . Крик, мольба, протест – в творчестве Таси Алек. . . Середина весны и продолжение жизни, нескончаемый разговор об известном».

Евгения Красноярова

02-05.05.2012. Одесса, улица Дерибасовская. 16-ая Международная выставка-ярмарка «Зелёная Волна».

В программе выставки-ярмарки – презентация специальной экспозиции, посвященной 35-летию Одесского литературного музея, VIII конкурс «Искусство книги», IX конкурс «Одесса на книжных страницах», литературно-музыкальный вечер «Дух Грузии» и многое другое.

«В рамках работы Международной выставки-ярмарки “Зелёная Волна” проводится Первый Международный литературный конкурс “Есть город, который я вижу во сне...”, в котором могут принять участие поэтические и прозаические произведения писателей всего мира, касающиеся одесской тематики. В работе жюри литературного конкурса принимают участие члены ЮРСИ Вера Зубарева, Ольга Ильницкая и Людмила Шарга. После подведения итогов конкурса, в августе 2012 года, намечается награждение лауреатов конкурса и презентация специального выпуска газеты “Всемирные одесские новости” с работами победителей».

Анна Веригина

ББК 84 (4 Укр-4 Оде) 62я45
Ю 195
УДК 821.161.1'06 (477.74) – 94

На 3 стр. обложки:

фото № 1 – Обложка книги «Кавалерийские победы»
В.С. Бабаджана (Одесса, 1917);
фото № 2 – В.С. Бабаждан. Автопортрет;
фото № 3 – В.С. Бабаждан. Этюд (графика).

Підписано до друку 17.05.2012 р.
Формат 60x70/8. Гарнітура Garamond Narrow.
Папір офсет. Друк офсет. Ум. друк. арк. 20,2.
Зам. 2895. Тираж 500 прим.

Видавництво КП ОМД (свід. ДК № 774 від 17.01.2002 р.)
Надруковано в КП «Одеська міська друкарня»
65012, Одеса, вул. Пантелеймонівська, 17